

Независимый альманах

# КОНЕЦ ВЕКА

---





Литературный  
альманах  
**"КОНЕЦ ВЕКА"**  
учрежден молодыми  
писателями Москвы. В  
1991 году выйдут шесть его  
номеров. Мы возвращаем  
запрещенные цензурой имена и  
открываем новые таланты.  
Желающие читать **"КОНЕЦ ВЕКА"**  
N 2! Наш расчетный счет N 609871 в  
Дзержинском отделении ЖСБ г. Москвы,  
МФО 201638. Перечислив 9 рублей на наш счет  
(цена номера, стоимость справочных материалов о  
будущих номерах и книжных приложениях, а также  
почтовых расходов по доставке), копию сбербанковской  
платежки высылайте, пожалуйста, по адресу: 103055,  
Москва, К-55, аб. ящик 95. К сведению деловых людей!  
Искусственный бумажный "голод" тормозит выход очередных  
номеров альманаха **"КОНЕЦ ВЕКА"**, мешает сделать его  
периодическим! Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество! Помогая  
защищать свободу слова, вы защищаете право на свой выбор! Приглашаем к  
сотрудничеству книготорговые организации!

ISSN 0868 - 8591

Независимый литературно-художественный и общественно-политический альманах "КОНЕЦ ВЕКА".

Выходит с января 1991 года.

Над номером работали:

Юрий ЗАБОЛОТСКИЙ

Юрий КАЛЕЩУК

Александр НИКИШИН

*(главный редактор альманаха)*

Александр РОСЛЯКОВ

Игорь ШЕИН

*(главный художник)*

Виктория ШОХИНА

К сведению уважаемых авторов! Наш адрес: 103055, Москва, К-55, абонентный ящик 95. Рукописи, представленные к рассмотрению, не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на "Конец века" обязательна.

© Независимый альманах  
"Конец века". 1991.

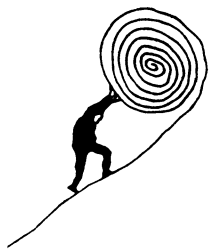
---

*К ЧИТАТЕЛЯМ. Народ, как говорят, устал от обещаний, поэтому в начале нового издания - минимум слов. Мы не считаем, что нынешняя заваруха не дала ничего порядочного человеку. Печатная продукция - тоже товар, и, предлагая в его нарастающих объемах свой, считаем эту пищу правильной. Слишком толстых людей у нас все еще избыток. А слишком умных - не в смысле, отшивающем от касс, - едва ли. Как знать, может, и нынешний принудительный пост на пользу: сытое к ученью глухо. Конец века - это расчетный час за весь постой. Те, кто хочет улизнуть в благоустройство будущего безвозмездно за разведенные грехи и мразь, вдруг себе и людям. Так не бывает. Кто требует сегодня, хоть на каких условиях, бывлой колбасной пайки, - в комплект входили и кровавая мясорубка Афганистана, и позорное ярмо на пол-Европы, и атомные погрелушки. То была масленица одурелых и глухих к чужой крови котов. Только конец ее может стать сколько-то годным завтрашним началом. Прорваться вперед с непомятым и наглым криком "Мы ни при чем!" уже, по-видимому, и к счастью, не удастся. Так мы считаем. Остальное - в текстах.*

Независимый альманах

# КОНЕЦ ВЕКА

---



ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ

# В поисках

# Грустного **БЕБЫ**

Роман об Америке

*Об авторе этой книги не надо говорить много, он любим и почитаем в СССР. Саму книгу оценят читатели. Два слова о моих взаимоотношениях с В. Аксеновым. В 75 году латвийская газета "Советская молодежь", в которой я работал, начала публикацию его книги "Круглые сутки нон-стоп", вызвавшей гнев цензуры, за которыми последовало требование прекратить печатание "антисоветщины". Книга была урезана до трех куцых страниц, и воспрепятствовать надругательству не посмел никто из тогдашней редакции газеты, в том числе и я, за что приношу Василию Аксенову мои искренние извинения.*

*"Грустный беби" написан в США в 1987 году. Переведенный на английский, вошел в список бестселлеров, доказав, что русские писатели-эмигранты не льжом шить. В Союзе был осмеян "Крокодилом", превративши "грустного беби" в "меланхолическую малышку". Роман печатается в первозданном виде. Отдельной книгой выйдет в издательстве "ТЕКСТ".*

А. Никишин

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

- Неужели вы всерьез собираетесь жить в Америке? - спросил Клаус Габриель фон Дидерхофен.

- Почему бы нет? - сказал я.

Он пожал плечами.

- Не любит Америку, - подмигнул Серджи Бугаретти. - И знаете, почему?..

В этот момент режиссер захлопал в ладоши и попросил приготовиться к съемке. Все участники беседы приосанились, то есть немец водрузил на короткий нос пролетарские очки в железной оправе, итальянец откинул со лба седые пряди, чтобы быть еще ближе, еще понятнее своим читателям, русский эмигрант, иными словами, сорокавосемилетний писатель, только что выпихнутый из Москвы, еще точнее, - я, автор этой книги, - попытался изобразить легкость, приветливость, международный лоск, не очень-то уместные в его нынешнем положении.

Мы сидели на раскладных парусиновых креслицах на вершине идеально круглого и идеально зеленого холма. Внизу, на разных уровнях, в складках предгорья пестрели строения городка, название которого звучит, как флейточка - Кортина-д'Ампеццо. Вокруг, по всему окоему, торчали гребнями, башнями, клыками и круглились глазированными боками Доломитовые Альпы.

В то лето 1980 года я был итальянской знаменитостью. За несколько месяцев до выезда из СССР в Милане вышел итальянский перевод "Ожога". Итальянские журналисты нашли меня в Париже. Муниципалитет Кортины пригласил нас с женой на отдых в свои блаженные края. Сейчас телевизионщики приволокли меня на беседу с участием своего знаменитого соотечественника и знаменитого немца из Гамбурга. Все это смахивало бы на рекламу курорта, если бы не наши подержанные лица и кисловатые мины. Немцу явно не нравилось то, что говорил я. Меня слегка воротило от высказываний немца. Итальянцу нравилась родная речь. Меня не оставляло ощущение, что мы слегка засоряем окружающую среду.

После съемок прохладжались в маленькой траттории. Немец вернулся к американской теме. Уехать из России и отправиться в Америку? Из одного ада в другой? Да вы, дружище, попросту не понимаете происходящего. Итальянец улыбался: не любит Америку, потому что она опровергает теорию Шпенглера. Они были очевидными друзьями, и им, очевидно, было наплевать на меня.

Собственно говоря, я не понимал ни того, ни другого. У меня еще голова кружилась после последних московских недель, когда ежедневно являлись прощаться друзья, группа за группой, вперемешку со стукачами. Эмиграция отчасти похожа на собственные похороны, правда, после похорон вегетативная нервная система все-таки успокаивается.

Что он несет про Америку, этот знаменитый немец? Ведь я же там был каких-нибудь пять лет назад. Вот там мы тогда дали шороху! Даже книжку написал - "Круглые сутки нон-стоп"! Какое сравнение с СССР, если там за сутки включаешься лишь пару раз по полчаса, да и то все вокруг заполнено неподвижным грохотом и воем?

- Ну, и немец! Вот когда смотришь на такого, приходит в голову, что Европе все равно было бы несладко, победы на выборах не Гитлер, а Тельман.

- А итальянец? Тоже хорош. Ты заметил, что у него вся шея оплетена золотыми цепочками? Запястья тоже. Эстетика Габриеля Д'Аннунцио. Загадочность этого неороманского декаданса. Что он говорил о Шпенглере?

- Черт его знает. Не очень-то хорошо помню, кто такой этот Шпенглер.

Так, равнодушно обсуждая наших недавних компаньонов, мы с женой как бы избавлялись от них и от их - к нам - равнодушия. Конечно, мы были неправы. Никаким там фашизмом или коммунизмом и не пахло. Оба писателя были почтенными грешниками, философскими неряхами. "дарлинггами" Европы и бесконечными страдальцами мужского климакса; словом, талантами. На Америку им было, конечно же, наплевать, как и на наш туда предположительный отъезд.

Пересекали океан самолетом компании TWA. Все почему-то казалось недоброкачественным. Ленч - синтетический, фильм - бредовина, стюардессы - усталые и неприветливые (клячи), сродни советским.

Что происходит? Пять лет назад я пролетал той же самой трансконтинентальной компанией над тем же самым океаном, и все было наоборот: жратва ароматная, стюардессы секси, фильм шедевральный...

Вспомнился рассказ Бредбери об экскурсии в доисторическое прошлое. Туристов предупреждают не ступать ни шагу с искусственной тропы, иначе возникнет опасность нарушения среды прошлого, а это может привести к непредвиденным последствиям в будущем, то есть в том времени, откуда они приехали и куда намерены после экскурсии возвратиться.

Герой рассказа, однако, зазевался и наступил на бабочку, сидевшую на обочине. Ну, думает, ничего страшного, - что изменится из-за какой-то бабочки, жившей миллион лет назад? По возвращении в свое время, он нашел, что и в самом деле ничего не изменилось, за исключением того, что избирательная кампания, в которой он ждал победы разумных положительных сил, приобрела какой-то необъяснимый иррациональный характер, а язык газет, ставший вдруг малограмотным и хамским, полон каких-то неясных угроз.

Я подумал, что с первого дня прибытия на Запад и потом, во время трехмесячных скитаний по Европе, и сейчас, в американском самолете, меня не оставляло вот это ощущение "раздавленной бабочки". Раньше все бы-



ло лучше, казалось мне, просторней, красивой; больше здравого смысла; меньше пахло потом и дезодорантами.

Может быть, ухудшение это мне лишь кажется, может, всегда так было, может быть, просто мизантропические миазмы пресловутого mid-life crisis одолевают? А может быть, "раздавленной бабочкой" западной цивилизации оказалось эмбарго 1973 года, и вот сейчас все еще тянутся его последствия в виде каких-то мелких, вроде бы почти незаметных ухудшений, что, будучи собранными вместе, как раз и дают запашок сомнительных качеств, халтуры?

Есть идеальная фраза для описаний путешествий, я вычитал ее в русской книжке конца восемнадцатого века, которая называлась "Приключения модистки с Кузнецкого Моста и приказчика из Каретного Ряда" и не была обременена ничем посторонним, не исключая и имя автора. Звучит эта фраза так: "Марш теперь в Сокольники, и вот мы уже в Сокольниках!" Это ли не перл? Увы, современная проза, как свинья, равнодушна к россыпям подобных сокровищ.

Итак: марш теперь в Америку, и вот мы уже в Америке!

К сожалению, подобный лаконизм застревает в аэропорту Джона Фицджералда Кеннеди. Огромные очереди к паспортному контролю, несметные толпы вокруг багажных каруселей, мельтешение трех лучших из миров (с преобладанием третьего) в зале таможни.

На пограничных постах, дорогой господин Клаус Габриель фон Дилерхофен, все-таки чувствуется разница между СССР и США. Если первый гигант свирепо не выпускает людей из своих "священных пределов", второй лишь вяло и чаще всего безуспешно отбивается от желающих проникнуть под звездно-полосатую сень; а хочешь уехать - катись!

### *НЕНАВИСТЬ К АМЕРИКЕ*

Сейчас, после четырех уже лет жизни в этой стране, я все еще задаюсь вопросом, что вызывает у многих людей в Латинской Америке, в России и в Европе антиамериканские чувства такой интенсивности, что их иначе, как ненавистью, и не назовешь?

Эти чувства всегда носят какой-то особый, несколько истерический характер, как будто речь идет и не о стране, а о женщине, изменившей с другим, унизившей мужское достоинство.

Отставим в сторону (до поры) антиамериканскую пропаганду, входящую в стратегический план противоборствующей стороны, то есть Советского Союза и его идейного штаба Агитпропа.

К эмоциональной сфере эта так называемая война идей относится в той же степени, что и бактериологическая с антраксом бомба. Будем говорить лишь о чувствах, комплексах и подсознательной неприязни.

Один советский поэт однажды спросил у Эрнесто Че Гевары, почему тот столь пылко и искренне ненавидит Америку. Че разразился тирадой по

поводу "империализма янки", закабаления экономически слабых стран жадными монополиями, экспансионизма, подавления народно-освободительных движений и так далее. Поэт, надо отдать ему должное, не удовлетворился этим уроком политграмоты и поинтересовался, нет ли чего-нибудь личного в этих чувствах. Революционер осекся, замолчал, покручивая в руках бокал своего неизменного "дайкири" и глядя в сторону Флориды (вообразим, что разговор происходил на борту яхты "Гранма"), потом начал рассказывать любопытную историю.

Не знаю, вошла ли эта история в различные биографии Че, которыми пестрят витрины книжных лавок, пересказываю ее со слов поэта.

Подростком в своей Аргентине Эрнесто культивировал Соединенные Штаты как страну своей мечты, напропалую смотрел голливудские вестерны и напевал джазовые "хиты". Страсть к путешествиям мальчик удовлетворял бесконечными поездками на велосипеде вокруг Буэнос-Айреса.

Однажды на загородном аэродроме он увидел, как в транспортный самолет грузят скаковых лошадей для отправки в Америку. Революционные задатки юнца сработали немедленно, он решил пробраться в самолет и таким образом бесплатно оказаться в стране мужественных ковбоев и дерзких блондинок. Сказано - сделано, и вот он в самолете, и вот он в Америке.

Лошадок разгружали где-то в Джорджии. Стояла стоградусная жара. Обслуга обнаружила аргентинского искателя приключений, отпустила ему, разозлившись, хорошую порцию тумачов и заперла в пустом самолете.

Три дня провел парень без еды и питья в раскаленной железной коробке. Потом его отправили восвояси.

"Этого самолета, - тихо сказал Че нашему поэту, - я *или* никогда не забуду". Потом снова воспламенился: "Ненавижу всех "гринго", их развязные голоса, их наглую походку, самоуверенные взгляды, похабные улыбки..."

Не исключено, что у многих латиноамериканских революционеров-антиамериканистов, скажем, у сандинистов в Никарагуа, был в прошлом вот такой "самолет", пусть и не столь раскаленный, как у Че Гевары, были еще более случайные и скоротечные, но все-таки удары по самоллюбию, шлепки унижений, которые можно было отнести к блондинистому гиганту на Севере. Провинциальные комплексы неполноценности сыграли огромную роль в распространении марксистских идей.

Смешно сказать, но во многих случаях, если не в большинстве, речь идет о чистейшем недоразумении. После четырех лет жизни здесь можно твердо сказать, что американцы не любят унижать людей. Их "развязные голоса" - это просто манера их речи, "наглые походки" - просто-напросто выработанная в поколениях фигура передвижения тела в пространстве. "самоуверенных взглядов" и "похабных улыбок" - в массе не встречается, а с-

---

\* Презрительная кличка американцев в странах Латинской Америки.

ли они и встречаются, то по большей части происходят от простодушного следования какому-нибудь кино- или телеимиджу.

Ко всему прочему, сейчас этот образ американского супермена все дальше уходит в прошлое, оттесняется на окраины. Интересно и печально было в этой связи наблюдать американских морских пехотинцев, окопавшихся на окраине Бейрута. Советская пропаганда вопила на весь мир, изображая этих ребят как захватчиков, насильников, а они были скорее похожи на простых молоденьких работяг. Вот вокруг них, на улицах разрушенного города и на холмах Ливана, шуровали как раз самые что ни на есть "американцы" в ковбойских шляпах, в джинсах и жилетках - арабские головорезы и террористы демонстрировали "развязные голоса", "наглые походки", "похабные улыбки".

Ненависть к американцу - это по сути дела ненависть к устаревшему стереотипу, фантому целлулоидной пленки.

Интересно было бы проследить корни антиамериканских чувств, возникающих в идеологизированных обществах. Геббельс с искренним изумлением докладывал Гитлеру о допросах первых американских военнопленных, взятых в Сахаре. В них нет никакой идеологии, мой фюрер; то есть по сути дела они лишены каких бы то ни было человеческих качеств.

Я думаю, что и нынешних западногерманских левых бесит отсутствие у американцев идеологического начала. Когда какой-то лидер "Зеленой партии", собрав пробирку собственной крови, выплеснул ее на мундир американского генералу, со страниц газет дохнуло ранним гитлеризмом, какими-то заклятиями Нюрнберга.

Берусь утверждать, что у русских, несмотря на десятилетия пропаганды, до сих пор еще не выработался антиамериканский комплекс. Недоверие к Америке как к явлению цивилизации существует (или существовало?) у русской послереволюционной интеллигенции, в принципе, как у части общеевропейской "левой". Уместно, может быть, вспомнить упомянутую синьором Бугаретти теорию Шпенглера: Америка и в самом деле опровергает тезис о закате Запада.

Первым русским революционным писателем, посетившим США, был Максим Горький. Страна вызвала у "буревестника революции" неслыханное раздражение. Нью-Йорк он назвал "городом желтого дьявола", а джаз определил - со столь свойственным ему отсутствием эстетического чутья - как "музыку толстых".

Великолепнейший прозаик двадцатых годов Борис Пильняк написал после своего путешествия в Штаты "американский роман" под названием "Окей". Увы, этой книге больше бы подошло другое слово из четырех букв - "shit"\*. Антиамериканизму Пильняка позавидовал бы любой служака из Агитпропа. На каждом перекрестке, бия себя в грудь, этот истинный мастер прозы с неожиданной пошлостью заявлял: я советский человек! Все в

---

\* Дерьмо.

Америке отталкивало его. В панике он убежал от голых ножек мюзик-холла. "Не может советский писатель выступать перед голопупыми девками!" - ошеломляющее ханжество для писателя, бесстрашно внесшего в пуританскую русскую литературу натурализм и секс!

Конечно, можно предположить, что Пильняк пытался этой книгой замолить свои прежние грехи перед Сталиным, но все-таки чувствуется и доля искренности в этих эмоциях.

Маяковского в его американском путешествии раздирали восхищение и неприязнь. Футуристическая, художественная часть его природы ликовала при виде небоскребов и гигантских стальных мостов. Бродвейская "лампиина" бодрила творческие железы. Левореволюционное троцкистское сознание между тем подыскивало негативные аргументы:

Я в восторге от Нью-Йорка-города,  
Но кепчонку не стяну с виска:  
У советских собственная гордость,  
На буржуев смотрим свысока.

В пророческом откровении поэт предположил, что Соединенные Штаты, возможно, станут последней в мире "крепостью капитализма" перед лицом "атакующего класса".

Примерно те же чувства выразили знаменитые советские сатирики Ильф и Петров в книге 1936 года "Одноэтажная Америка".

Я думаю, все дело тут заключалось в том, что эти русские (читай, левоевропейские) художественные путешественники были ошеломлены полным равнодушием Америки к величайшему потрясению их жизни, Октябрьской революции.

Одни из них могли принимать ее полностью, как Маяковский, другие, как Пильняк, могли испытывать к ней противоречивые чувства, среди которых преобладало отвращение, но и для тех и других она, Революция, была сродни новому потоку. Великий очистительный процесс, мучительное рождение нового общества.

В истории, казалось, все прояснилось после Революции. Теории заката Европы и гибели западной цивилизации пришли в действие. Пусть реакционные правительства Англии и Франции еще упорствуют, все равно и они чувствуют, что приходит новый век, что солнце на востоке уже встало. Пусть многие из нас в душе еще скорбят по старому миру с его элегантно-стью, вежливостью и избытком, все равно мы присоединяем свой шаг к громовой поступи атакующего класса, наш голос - к симфонии Будущего... И так далее.

И вдруг выясняется, что за океаном существует огромное общество, которое даже не очень-то отчетливо понимает, о чем идет речь, когда витийствуют пророки нового потока, а на грандиозное космическое событие революции взирают как на местную российскую заварушку. Общество это, Соединенные Штаты Северной Америки, возмутительно не принимает в

расчет ни Маркса, ни Шпенглера, ни Ленина. Оно вовсе и не собирается закатываться, разлагаться, впадать в декаданс. У него просто времени на это нет. С бешеной энергией оно делает деньги, деньги, деньги, и в результате этого недостойного, безобразного дела вырастают невиданные в старом мире небоскребы, страна опоясывается невероятной сетью шоссе, рабочие, вместо того чтобы делать революцию, покупают автомобили.

Пильняк, Маяковский. Ильф и Петров подсознательно, очевидно, почувствовали, что в Америке речь идет об альтернативе насильственной революции. Отсюда и возникало вполне искреннее раздражение. Великое дело, к которому они были причастны, оказывалось под вопросом.

Сейчас, в сумерках коммунистического мира, это ощущение еще более обостряется. Думаю, что многим крупным деятелям Советского Союза нынче стало ясно, что они представляют отнюдь не "новый мир", но мир отсталый. Революция с позиций сегодняшнего дня кажется древним актом насилия и бессмыслицы, по сути дела продуктом первично-буржуазного европейского декаданса. Американский же капитализм с его идеей благотворного неравенства на гребне технологической революции вкатывается в какой-то поистине новый, еще неведомый, не вполне достоверный, но *новый* либеральный век.

### ЛЮБОВЬ К АМЕРИКЕ

В 1952 году девятнадцатилетним провинциальным студентом случилось мне попасть в московское "высшее общество". Это была вечеринка в доме крупнейшего дипломата, и общество состояло в основном из дипломатических отпрысков и их "чувих". Не веря своим глазам, я смотрел на американскую радиолу, в которой двенадцать пластинок проигрывались без перерыва. А что это были за пластинки! Мы в Казани часами охотились на наших громоздких приемниках за обрывками этой музыки, а тут она присутствовала в своем полном блеске да еще сопровождалась портретами музыкантов на конвертах: Бинг Кросби, Нат Кинг Кол, Луи Армстронг, Пегги Ли, Вуди Герман...

Девушка, с которой я танцевал, задала мне страшный вопрос:

- Вы любите Соединенные Штаты Америки?

Я промычал что-то нечленораздельное. Как мог я открыто признаться в этой любви, если из любого номера газеты на нас смотрели страшные оскаленные зубы империалиста дяди Сэма, свисали его вымазанные в крови свободолюбивых народов мира длинные пальцы, алчущие все новых жертв. Недавний союзник по второй мировой войне стал злейшим врагом.

- Я люблю Соединенные Штаты Америки! - девушка, которую я весьма осторожно поворачивал в танце, с вызовом подняла кукольное личико. - Ненавижу Советский Союз и обожаю Америку!

Потрясенный таким бесстрашием, я не мог и слова вымолвить. Она презрительно меня покинула. Провинциальный стилижка "не тянет"!

Сидя в углу, я смотрел, как передвигаются по затемненной комнате за-

гадочные молодые красавцы. Разделенные на пробор блестящие волосы, белозубые сдержанные улыбки, сигареты "Кэмел" и "Пэл-Мэл", словечки "дарлинг", "беби", "летс дринк". Парни были в пиджаках с огромными плечами, в узких черных брюках и башмаках на толстой подошве.

Наша компания в Казани тоже изо всех сил тянулась к этой моде. Девушки вязали нам свитера с оленями и вышивали галстуки с ковбоями и кактусами, но все это было подделкой, "самостроком", а здесь все было настоящее, американское.

- Вот это класс! - сказал я своему товарищу, который привел меня на вечеринку. - Вот это стилиаги!

- Мы не стилиаги, - высокомерно поправил меня товарищ. Он явно играл здесь второстепенную роль, хотя и старался всюю "соответствовать". - Мы - штатники!

Это был, как выяснилось, один из кружков московских американофилов. Любовь их к Штатам простиралась настолько далеко, что они попросту отвергали все неамериканское, будь то даже французское. Позором считалось, например, появиться в рубашке с пуговицами, пришитыми не по-американски, не на четыре дырочки, а на три или две. "Эге, старичок, - сказали бы друзья-штатники, - что-то не клево у тебя получается, не по-штатски".

(Замечу в скобках, что в Америке встречались мне эмигранты из тех молодых "штатников". Сейчас они отвергают все американское, ездят в "фольксвагенах", а одежду покупают у итальянцев).

Та вечеринка завершилась феерическим буги-вуги с подбросами. Я, конечно, в этом не принимал участия, а только лишь восторженно смотрел, как взлетают к потолку юбки моей недавней партнерши. Под юбками тоже все было настоящее! Впоследствии я узнал, что девчонка была дочерью большого кагэбэшника.

В разгар "холодной войны" Соединенные Штаты и не подозревали, сколько у них поклонников среди правящей советской элиты. Мы недавно фантазировали с одним западногерманским кинорежиссером на тему его будущего сатирического фильма. В большом европейском отеле несколько месяцев подряд идут советско-американские переговоры по разоружению. Главы делегаций сидят напротив друг друга. Это мужчины лет пятидесяти. "Они полностью не понимают друг друга, - говорил режиссер, - люди разных миров, совершенно разный "бэкграунд". - "Не совсем так, - возражал я, - возможно, в молодости оба танцевали под рок-н-роллы Элвиса Пресли".

В "низах" проамериканские чувства базировались на более существенных материях. В памяти народа слово "Америка" связано было с чудом появления вкусной и питательной пищи во время военного голода. Мешки с желтым яичным порошком, банки сгущенки и консервированной ветчины спасли от смерти сотни тысяч советских детей.

Коммуникации поддерживались американскими "студебеккерами", "дугласами", "доджами". Без них Советской Армии пришлось бы наступать не два года, а десять лет. Америка посреди тотальной смерти связывала с жиз-

ню, да еще с такой жизнью, о какой советские люди и не мечтали. Присутствие вблизи "американского союзника" будило в массах какую-то смутную надежду на перемены "после войны".

До войны в народе по сути дела не было никакого ощущения Америки. Бытовали какие-то дикие куплетики, относящиеся не столько к Америке, сколько к странностям и сюрреализму народного юмора.

Америка России подарила пароход.  
Огромные колеса и ужасно тихий ход.

Или еще пуще:

Один американец  
Засунул в жопу палец  
И думает, что он  
Заводит патефон.

Любопытно отметить, что при почти полном отсутствии "ощущения Америки" оба эти "шедевра" имеют какое-то отношение к технике. Америка всегда соединялась с чем-то вращающимся, с какой-то пружиной.

Во время войны возникло стойкое ощущение Америки как страны сказочного богатства и щедрости. Встречи в Европе на волне победной эйфории породили идею о том, что мы, то есть русские и американцы, "очень похожи". Если бы вы попробовали уточнить, в чем же мы так похожи, в большинстве случаев ответ бы звучал так: "Они, как мы, *простые* и любят выпить". - "И побезобразничать, что ли, любят?" - попробуете вы еще больше уточнить. "Ну, не то что побезобразничать, но пошуметь не дураки", - будет ответ.

Десятилетия послевоенной антиамериканской пропаганды не поколебали этой уверенности в "похожести". Русские, как ни странно, до сих пор относятся к американцам как к своим. Вот к китайцам они относятся, как к инопланетянам. Происходит нечто парадоксальное. Идеи коммунизма пришли в Китай через Россию, однако русские в глубине души уверены, что уж если кто и приспособлен к коммунизму, так это китайцы, а не они.

В 1969 году, во время боев на советско-китайской границе, мне случилось быть поблизости, в Алма-Ате. Однажды в ресторане гостиницы я оказался за одним столом с офицером-ракетчиком. Он был вдребезги пьян и плакал как ребенок. "Война начинается, - бормотал он, - а я только что мотоцикл купил. Отличный такой мотоцикл "Ява". Пять лет деньги копил на мотоцикл, а теперь китайцы придут и отберут такую машину..." - "Боишься китайцев?" - спросил я. "Да не боюсь я их, - слюнявился он, - мотоцикла только жалко". Я тут не удержался от "провокационного вопроса": "А американцев ты не боишься, старший лейтенант?" Офицер как-то на мгновение протрезвел и произнес довольно твердым голосом: "Американцы уважают личную собственность".

Официальная цель советского общества - достижение так называемого коммунизма. При отсутствии религиозной идеи эта цель приобретает чисто прагматический и довольно идиотский характер самообслуживания - "удовлетворение постоянно растущих запросов трудящихся". Интересно, что советская производительная статистика на протяжении всего своего существования подтягивается к американской. В 1960 году Хрущев выдвинул две параллельные идеи: к 1980 году перегнать Америку и к этому же сроку построить коммунистическое общество, то есть, в понимании широких масс, общество полного изобилия. Обе цели, разумеется, провалились (обогнали, кажется, только по количеству танков), так что и сейчас торговые ряды супермаркета "Сэйфвей" далеко превосходят самое-рассамое коммунистическое воображение измученного очередами и нехватками советского гражданина.

Среди всех этих смутных послевоенных проамериканских эмоций и массивной антиамериканской пропаганды возникла и возросла группа советских людей, подсознательно, эстетически, эмоционально и даже отчасти идейно устремленных к Америке. Я имею в виду советскую интеллигенцию моего поколения.

Трудно объяснить все-таки выход этого поколения, так тщательно подготовленного к советской жизни (одни лишь аресты отцов в 1937 году чего стоят!), за пределы советского круга. В сущности, мы должны были стать еще более идеальными "новыми людьми", чем даже наши старшие братья, советские интеллигенты, уходившие *добровольцами* на Финскую войну, ибо и эту злодейскую вылазку они полагали продолжением великой революционно-освободительной борьбы. Все исходящее из Кремля казалось им благородным и светлым. Интеллектуалы из знаменитого Института философии и литературы оправдывали и "чистки" тридцатых годов, и "антижосмополитическую" кампанию сороковых. Разоблачение Сталина стало для них катастрофическим событием (несмотря на то, что многие с их коммунистическим энтузиазмом оказались в лагерях), а начавшаяся "оттепель" - мучительным процессом переоценки ценностей.

Для нас же это было просто начало карнавала. К черту Сталина! Давайте играть джаз! Как ни странно, мы были подготовлены к этому "about face" повороту еще в сталинские времена. В разгар "холодной войны", живя за нерушимым "железным занавесом", мы как-то умудрились развить прозападное направление ума, и в этом направлении, конечно, преобладал американизм.

После войны в Германии в руки советских властей попало немало число так называемых трофейных фильмов. В большинстве своем это был сентиментальный хлам или нацистские антибританские поделки, но было также несколько фильмов из американской классики тридцатых годов.

---

\* "Кругом!" (команда).



Странным образом власти в поисках источника дохода пошли на идеологический компромисс и пустили эти фильмы в прокат. Странность усугубляется еще и тем, что советская кинопромышленность в те времена сократила свое производство до трех-четырех лент в год как раз под давлением немислимого идеологического груза.

Прокат "трофейных" фильмов был незаконным в правовом отношении, поэтому они шли под другими названиями. "The Stage-coach", например, назывался "Путешествие будет опасным", "Mr.Deeds goes to Washington" - "Под властью доллара", "The roaring Twenties" - "Судьба солдата в Америке"... К этим слегка идеологизированным названиям добавлялась страничка-другая достаточно идиотских вступлений вроде того, что "Путешествие будет опасным" рассказывает о героической борьбе индейцев против империализма янки, обрезались все титры, так что мы не знали имени ни Джона Уэйна, ни Джеймса Кегни, и в таком виде фильмы выпускались на экран.

Я смотрел "Путешествие будет опасным" не менее десяти раз, "Судьбу солдата в Америке" не менее пятнадцати раз. Было время, когда мы со сверстниками объяснялись в основном цитатами из таких фильмов. Так или иначе, для нас это было окно во внешний мир из сталинской вонючей берлоги.

Кто-то первым записал песенку "Грустный беби" на рентгеновскую пленку, и с тех пор среди теней ребер и альвеол уже поселилось откровение о том, что: "Every cloud must have a silver lining..."\*

Один из моих сверстников, будучи уже высокопоставленным офицером советских ВВС, как-то сказал мне: "Большую ошибку допустил товарищ Сталин, разрешив нашему поколению смотреть те "трофейные" фильмы".

Джаз в те времена был и в самом деле американским "секретным оружием". Радиостанция "Голос Америки" в Танжере каждую ночь передавала двухчасовую джазовую программу. Мечтательные русские мальчики пятидесятых годов росли под звуки эллингтоновского "Take train A", и под бархатные перекаты голоса джазового комментатора Уилиса Кановера. Музыку записывали на допотопных магнитофонах, а потом играли сами на полуподпольных джазовых вечерах, нередко сопровождавшихся драками с комсомольской дружиной и вмешательством милиции.

Клочки музыки, обрывки информации создавали золотое свечение ауры, поднимавшейся над горизонтом на закате, над недоступным и таким желанным Западом и над самым западным западом, над Америкой. Одежда из Америки фетишизировалась. По Невскому проспекту в Ленинграде ходила толпа стилиг. Дергая конечностями (так, им казалось, должны были вести себя американцы на Бродвее; кстати, и Невский проспект они называли "Бродом"), они пели: "Я девушку встретил прекрасней зари, зовут ее Пегги Ли!" В самом первом фельетоне о стилигах говорилось о парнях, разгулива-

---

\* "Есть у тучки светлая изнанка..." (строка из песни).

ющих по Невскому в галстуках со звездами и полосами. Стиляги, можно сказать, были первыми советскими диссидентами.

Ленинград в этом западничестве в те времена был впереди. Система его каналов выводила на большую воду. Распространился тип ленинградского "всезнайки", у которого вы могли получить информацию по любому "американскому" вопросу, начиная от всех ранних советских и позднее запрещенных публикаций Дос Пассоса и Хемингуэя и кончая последним концертом Дizzy Гиллеспи, который состоялся в Гринвич Вилледж, в клубе "Половинная нота" в прошлую субботу... нет, вру, старичок, это было в пятницу, а в субботу-то там играл Чарли "Берд" Паркер, там был тогда сильный дождь... вообрази себе дождь в Гринвич Вилледж, старичок... уссаться ведь можно, правда?

Так возникал в воображении нашего поколения странный, немислимо идеализированный, искалеченный, но и удивительно истинный, если говорить о каком-то нервном, астральном ее контуре, образ Америки.

Анализом этого явления тогда мало кто занимался, да и сейчас, кажется, не очень-то занимаются. Не претендуя на анализ, а только лишь глядя с расстояния в тридцать лет, могу сказать, что культ Америки возник в нашем поколении благодаря его стихийной, поначалу совсем неосознанной антиреволюционности.

Так называемая романтика революции к возрасту юности нашего поколения почти уже испарилась. Звучит неправдоподобно, но уже начала возникать "романтика контрреволюции", глаза молодежи стали задерживаться на образе офицера-добровольца.

В отличие от Горького, Пильняка, Маяковского мы подсознательно отказывались видеть в революции некий очищающий вселенский потоп, потому что вместо очищения он приносил столь же кровавый, сколь и тоскливый быт сталинщины.

Америка возникала в тумане как новая альтернатива древнему и тошнотворному делу социальной революции, то есть восстанию рабов против господ.

Прошедшие тридцать лет развеяли многие мои иллюзии, но вот в этом я не поколеблен. Напротив, сейчас я гораздо яснее вижу, что в противовес тоталитарному декадансу в мире может возникнуть (или уже возникает) свежий мир либерализма и благородного неравенства. Слава Богу, во главе этого движения стоит могучая Америка.

### *ШТРИХИ К БУДУЩЕМУ РОМАНУ*

Никто естественнее и легче Пушкина не сказал о приближении к роману: "...И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще не ясно различал".

Даль моего "американского романа", как бы сплюснутая и растянутая широкоугольной оптикой, "различается" от странной точки (на нее же и проектируется), от урбанистического уголка Америки, где выпадающая

таинственным образом из числа пронумерованных улиц Бетховен-стрит проходит под бетонными кружевами ра-звязки фривея и обрывается в виде автомобильного паркинга, асфальтовой лужи над спящим пространством то ли Тихого, то ли Атлантического океана, где пара пальм... (или три?)... где три-четыре пальмы колышат свои потрескивающие под ветром ветви... хотя может оказаться, что пальмам здесь вовсе нечего делать... так или иначе герой моего романа стоит на краю паркинга и... Кто таков?

Герой Моего Романа, ГМР, Hero of my Novel, HMN, Her Majesty Navy...

Предусматривается брэнчание какой-нибудь старой американской музыки, и в связи с этим неожиданно выплывает название будущего романа - "Грустный беби".

Must every cloud have a silver lining?

Вдруг эта мелодия стремительно выносит нас в наше собственное прошлое, в "казанское сиротство", в волжский город под властью Сталина...

1952

Девушек с факультета иностранных языков называли "будущие шпионки". Иначе зачем учить иностранные языки, как только не шпионить?

В кассовом зальчике паршивого клуба Мехкомбината, где вечно пахло мочой (хулиганы мочились там прямо в углу), кучка девушек в очереди на "трофейный" фильм "Судьба солдата в Америке". Шпионки из малого состава местных "хороших семей". Одна, черноглазая веселая (через тридцать лет встреча в магазине "Блэк Си" на Брайтон-Бич), говорит:

- А знаешь, как этот фильм на самом деле называется? "Ревущие двадцатые".

Какой блеск, подумал ГМР. Похоже на "Ревущие сороковые широты". Хотите снимать кино, научитесь подыскивать названия.

Приходи ко мне, мой грустный беби! О любви, фантазии и хлебе. . (пардон, это уже несколько позднее - 1955-й, и не из той оперы). Будем говорить мы спозаранку - Есть у тучи светлая изнанка...

Есть ли у тучи светлая изнанка?

1980

Кондоминиум "Пацифистские палисады", где ГМР снимает так называемую студию за триста "баков" в месяц.

Сосед, опытный американец Гагик Саркисян, однажды заметил, что ГМР пересчитывает двадцатки: первая зарплата в "Колониал Паркинг".

- На вашем месте, - сказал он задумчиво, - я бы отдал эти деньги мне, то есть вложил бы их в надежный бизнес засахаренных фруктов. Что бы ни говорили врачи, люди любят сладенькое...

ГМР почесал в затылке.

- Под этим же девизом я потрачу их на "гавайский уик-энд".

Гагик вздохнул.

- Тоже правильно. Feel rich\*. В этой стране это очень важно.

1955-1980

Кронштадт - Оаху, Гонолулу.

Далекой молодости блики  
Перед грозой на Вайкики...  
Когда-то дерзок был и юн,  
Носился в молодежном раже.  
За дерзость сослан был в гальюн.  
Гальюн Морского Экипажа!  
Бунтарской жаждою томим  
На сто "очков" ангар за кухней.  
Входи смелей, гардемарин,  
Располагайся, словно Кюхля!  
В тот год Кронштадтский гарнизон,  
Границу запечатав глухо,  
Был всеми яйцами влюблен  
В красотку Машку-фармазон,  
С бензоколонки злую шлюху.

1956

Опорный пункт комсомольской дружины Васильевского острова. Мы тебе, падло, покажем американские танцы с польским ревизионизмом! Сейчас увидишь Дальний Запад, пятый угол! Мы тебя, плохой краснофлотец, научим родину любить!

## ГЛАВА ВТОРАЯ

- Нью-Йорк похож на чувака, который заботится о своей прическе, но не пользуется туалетной бумагой. Увы, мы живем у него не на макушке, а в заднице, - так говорил нам русский музыкант, с которым мы нередко прогуливались в первую неделю нашей американской жизни.

- Некоторое художественное преувеличение, Вова?

- Боюсь, что художественное преуменьшение. Обведи глазами этот потрясающий высотный силуэт, а потом спикируй взглядом на мостовую. Выбоины, ямы, лужи... Для полного сходства с Миргородом не хватает только пары свиней. Впрочем, взглядишь в толпу, ну, вот этот, например, джентльмен... чем тебе не свинья?

---

\* Чувствовать себя богатым.

Одно из самых сильных впечатлений первой недели. На Седьмой авеню, которую называют улицей моды и где выходящая из лимузина шестифутовая красавица манекенщица столь же обычное явление, сколь в Москве неизменная бабушка с сумкой-авоськой, возле потрескавшейся вазы с чахлым цветком остановился некто серокожий, расстегнул ширинку, вывалил свое хозяйство, отлил, заправился и дальше заколебался.

- М-да, Вова...

- А не напоминает ли тебе, Вася, поездка в такси по Медисон-авеню путешествие по бездорожью Рязанской области в поисках затоваренной бочкотары? Впрочем, такого тлетворного запаха там, наверное, не чувствовалось, а? А вот эти клубы пара неизвестного происхождения, валящие из трещин асфальта по соседству с бриллиантами "Тиффани"? Здесь говорят, что это нью-йоркские черти сигнализируют: "Мы здесь, мы здесь!" А грязь в углях на Пятой авеню? Ее уже брандспойтом не отмоешь, нужно скрести, но никто не скребет...

- Что же ты тут живешь, Вова? Ведь ты же после эмиграции и в Париже, и в Иерусалиме, и в Лондоне, и в Берлине, и в Риме, где только не побывал.

- Только в Нью-Йорке можно жить, - убежденно сказал критик антисанитарии. - Это как раз то самое место, куда я эмигрировал. Поездив по миру, я убедился, что жить можно только в Нью-Йорке... - После секундного молчания он добавил: - ...или в Москве... - после еще одной паузы: - ...но туда уже хода нет...

Вова снимет огромный "лофт" в доме с перекосившимся фасадом на одной из улиц Сохо. Он облюбовал эту улицу, прокопченную каким-то вековым пожаром, и дом, чудище коммерческой архитектуры конца девятнадцатого века, еще до того, как началась бурная мода на Сохо, и потому платит за свой "лофт" немного. Там у него стоит рояль рядом с газовой плитой, и в двух минутах ходьбы от рояля разбито лежбище из надувных матрасов, над коим по стене с подтеками выведена надпись: "Укрощение строптивых".

В Нью-Йорке осело немало советского артистического люда из новой эмиграции - и мастера, и подмастерья, и голоштанная богема. Образ жизни этих людей мало изменился в сравнении с Москвой или Питером, разве что не нужно с утра рыскать по городу в поисках пива. В прежнем стиле бытуют ночные кочевья из квартиры в квартиру, из мастерской в мастерскую, из подвала на чердак, который, правда, нынче именуется "пентхаус".

"Мы здесь иной раз и забываем, что переехали из Москвы, - признались нам как-то раз два молодых русских журналиста. - Знаете, то к Вовке едешь, то к Гришке, то к Аркадию, и девушки вокруг почти те же самые. Иной раз, правда, американцы оказываются в компании, но и в Москве ведь были американцы..."

В Бруклине на Брайтон-Бич образовалась большая русская колония "Малая Одесса", но артистический люд Москвы и Ленинграда предпочитает

Манхэттен. Есть несколько очажков, вокруг которых происходит концентрация, - редакции двух газет, галерея Эдуарда Нахамкина, культурный центр в Сохо, кафе "Руслан" на Медисон, ресторан "Кавказский" на Третьей авеню... С последним произошла забавная этническая накладка. Вывесили вывеску "Caucasian"\* и долго не могли понять, чего от них хотят возмущенные негры и китайцы.

Этническая пестрота Нью-Йорка в 1980 году меня поразила. То ли она усугубилась за пять лет, то ли в 1975-м в качестве советского визитера я ее просто не заметил. Может быть, это легче замечается, когда сам становишься этническим меньшинством.

Лицо Америки в Нью-Йорке - отсутствие общего лица. Крах при любой попытке обобщения. Десятки престраннейших акцентов, самый недоступный - филиппинский. Бесчисленное число сногшибательных имен совершенно непонятного происхождения вроде Джима Гангуззы и Ричарда Зиззы...

Милейший мадагаскарец скромно рекомендует: "Меня зовут Намелетронкуонтрантариса, но это, конечно, невозможно, поэтому называйте меня попросту мистер Дезире".

Пожалуй, самая обычная нью-йоркская фамилия - Плоткин. Имя Уитни вызывает уже просьбу сказать ее по буквам.

"Вот, по сути дела, где нужно жить в Америке литературному беженцу", - сказал я Майс. Она согласилась. "Наверное, ты прав. - Потом возразила: - Не хочу здесь жить". Мне и самому почему-то не хотелось основаться в Нью-Йорке.

Вроде бы хорошо не выглядеть белой вороной, болтаться среди своих, среди эмигрантского отребья, в городе, где половина жителей плохо говорит по-английски, как и ты сам... Не правда ли, здесь есть ощущение хоть и бивачного, но прочного быта, чувство опасности соседствует с уверенностью, что не пропадешь... Цепляемся друг за дружку по этническим, по возрастным, по профессиональным, по межполовым признакам...

- Почему русские писатели облюбовали Нью-Йорк? - спросил меня интервьюер из "Ньюсвик" мистер Вудворд. Мы ехали в такси в Колумбийский университет, и интервьюер, один из немногих попавшихся мне в первые нью-йоркские недели "настоящих" американцев, продолжал свою работу, то есть вострил карандаш.

Я начал было обдумывать свои соображения, когда таксист вдруг высунулся в окно и заорал на чистейшем ВМПС, то есть на "Великом-Могучем-Правдивом-Свободном", как мы вслед за Тургеневым называем наш русский язык:

- Еб твою мать! Распиздяй сраный! Взял мой зеленый!

---

\* В английском языке существует понятие "кавказская раса", т.е. белые.

Мы с Майей от неожиданности расхохотались до брызг, сползли с сидений.

- Вот вам ответ на ваш вопрос, - сказал я интервьюеру.

- А что он кричал, что он кричал? - спрашивал журналист.

Пришлось мне переводить американцу язык нью-йоркских улиц.

В принципе, присутствие такого люда, как русские таксисты, художники, магазинщики, музыканты, рестораторы, все это многонациональное варевое, немислимый город, полный блеска и мрака, любовных историй, чудодейственной наглости, смертей, неожиданных встреч, политических авантюр, греха и преступления, всевозможной жратвы и выпивки, - разве это не рай для писателя? Город, где все американские издательства и журналы кучкуются, как сообщил "Нью-Йоркер", в зоне действия даже не атомной, а простой тринитротолуоловой бомбы, - разве это не соблазн для писателя?

И все-таки мне чего-то важного не хватало в Нью-Йорке. Я не сразу понял, в чем ущерб, но тем не менее мы стали обдумывать план отъезда, углядения в континент.

Вообще-то на удивление мало русских писателей-беженцев осело в Нью-Йорке, вдруг сообразили мы. Взгляни, Майя, все рассеялись. В Большом Яблоке\* не возникло русской литературной столицы. Многие предпочитают Европу, другие разобрались по университетским кампусам... Конечно, основная причина рассеяния - экономическая, поиски заработка, однако нью-йоркских возможностей наши писатели почему-то почти не используют.

Мы объясняли сами себе наш отъезд из Нью-Йорка по-разному. "Знаешь, если останемся здесь, так и окажемся посреди Нью-Йорка в русской деревне. Засосет трясина. Даже английскому-то не научишься. К тому же: малопрочно жить в одном городе с "Х" и "У", двумя отвратными мегаломанами. К тому же: взгляни на эти цены - полторы тысячи за "двухбедренный апартамент"; дорого здесь ценится общество манхэттенских тараканов".

Итак, поедем! Сначала в Мичиган - там хотя бы есть озера и русское издательство "Ардис", - потом в Лос-Анджелес - там хотя бы океан и резиденция в Университете Южной Калифорнии.

Мы с Майей хоть все-таки что-то здесь знали, бывали раньше. Калифорния и Мичиган все же не были для нас пустыми красивыми звуками. Можно себе только представить замешательство тысяч людей, отправлявшихся из Нью-Йорка в разные концы США. Для них, впервые в жизни покинувших свои Мински и Двински, все эти американские названия звенели одинаковым высокопробным серебром: Кливленд - Огайо, Пеория - Иллинойс, Ричмонд - Виргиния. Потом многие взвыли в этих "пеориях" и "ричмондах".

Прошло порядочно времени, прежде чем я понял, что решение уехать

---

\* Символ Нью-Йорка - яблоко.

из Нью-Йорка было вызвано у нас прежде всего эстетическими причинами. эстетическим ущербом (то ли Нью-Йорка, то ли нас самих), а может быть, еще и глубже - непричастностью или малопричастностью к американской ностальгии.

### АМЕРИКАНСКАЯ НОСТАЛЬГИЯ

Никогда не мог подумать, что вид пожарных лестниц на кирпичной стене может погрузить в столь глубокое уныние. Кажется, печальней печали не найдешь, когда видишь кварталы старых квартирных домов в Бруклине, в Манхэттене, в Квинсе, в Филадельфии или Чикаго. Узкие оконца с поднимающейся наверх рамой - лицо за таким окном не может не быть лицом неудачника. Трудно представить себе в этих домах счастливую любовную пару, вкусный обед, заманчивую книгу. Их строили, чтоб деньги гнать, качать монету в полном пренебрежении эстетическими железами человека, то есть едва ли не в глумлении над ним.

Надо сказать, и вся прочая американская урбанистическая старина, все эти "браунстоуны" и "гаунхаусы" с высокими крыльцами и аляповатыми колоннами, массивные коммерческие билдинги конца прошлого века, первые небоскребы с шишечками и козьими ножками на карнизах, явно инспирировавшие стиль сталинских "архитектурных излишеств", мало что давала душе, кроме поводов для дальнейшего уныния.

Разобравшись в своих ощущениях, я пришел к выводу, что мне в Америке не хватает города, вернее, *моего* города, еще точнее - европейского города, исторически сложившегося и обязательно с прикосновением (хотя бы малым) "ар нуво".

Этого стиля или того, что перед первой мировой войной возник в Петербурге как "поздний русский модерн", в Америке вы почти не найдете. Тот эстетический период (столь важный для нас) здесь как бы и не существовал - в те времена Америка была (или так казалось мне) отдаленной периферией, эстетической пустыней, фабрикой жира и мыла, долларovým стойлом.

Мне нравилась современная американская архитектура, вся построенная на присутствии свободного тела в свободном пространстве; что-то еще шевелилось в душе перед домами эпохи "Великого Гэтсби", остальное, из более отдаленного, вызывало в лучшем случае молчание. С недоумением я смотрел, как в Вашингтоне при реконструкции Пенсильвания-авеню бережно сохраняют и реставрируют дом с двумя безобразными башенками, относящийся к 1910 году, когда даже в Казани или Нижнем Новгороде такого уroda купцы уже не решились бы построить.

"Здесь нет городской ностальгии, - говорил я себе, - к городу относятся чисто утилитарно, поэтому так пусты после заката солнца "даунтауны" Чикаго, Лос-Анджелеса, Детройта, поэтому так запущены мостовые Нью-Йорка".

Позднее я понял, что ошибался, а ошибка шла от поверхностного зна-



ния, от почти полного непонимания *американской ноты*, от непонимания грусти этой страны, ее провинциализма, склонности ее городов к быстрому загниванию.

Недавно пришлось мне смотреть "The American Pop", отличный рисованный фильм (кажется, его сделал Бакши). Я вдруг заметил, как подчеркнуто выписано там все то, что мне казалось недостойным внимания, все эти явления антиэстетики - пожарные лестницы на фасадах, унылые проулки с мусорными баками, "порчи" с пузатыми колоннами, поднимающиеся вверх рамы узких окон. Вспомнился какой-то американский роман. Герой возвращается из Европы после войны, с борта парохода видит на пирсе красные ящики с кока-колой, и вид этих ящиков вызывает у него патриотический пароксизм.

Чтобы почувствовать эту американскую урбаническую ностальгию, надо сделать ее частью своей жизни. Даже российские американофилы оказались здесь в отчуждении от местной поп-культуры; выяснилось, что мы все-таки европейцы.

Еврею нужно было уехать из России, чтобы оказаться "русским" в Тель-Авиве или в Нью-Йорке. Русскому нужно было предпочесть Штаты Парижу или Риму, чтобы ощутить себя европейцем.

Вот почему мы выбираем Вашингтон после годовых скитаний. Здесь на Капитолийском холме, между Конгрессом и Библиотекой, когда сквозь деревья со всех сторон просвечивают колоннады, ты можешь вспомнить Санкт-Петербург, перед раскрашенными фасадами Джорджтауна поймать ощущение отчужденной, но присутствующей Британии, в открытых кафе Дюпон-серкла нельзя не уловить дух Парижа и, наконец, среди новых стеклянных поверхностей "даунтауна" поймать пульсацию современной космополитической эстетики.

Чужая ностальгия особенно властвует в Лос-Анджелесе. Город без силуэта. Бесконечные торговые бульвары вроде Пико, Линкольна или Вентуры - улицы без архитектуры. Низкие, удобные, уродливые строения тянутся миля за милей, подпирают бесчисленные рекламные щиты. Странно застраивался этот город - будто и не существовало для его планировщиков никакого мирового опыта. Какие могли бы возникнуть грандиозные уступы на склонах холмов, какие линии шикарных отелей могли бы выстроиться вдоль океанских береговых линий; между тем здесь все разрозненно, утилитарно, случайно. Впрочем, может быть, и это отражает иную в сравнении с нашей урбанистическую концепцию, иную ноту, которую мы еще не слышим?

Поймать, ощутить, уловить - жалкие попытки выброшенного из своего мира беженца построить вокруг себя новую жизнь, хоть чуточку напоминающую старую.

## АМЕРИКАНСКИЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ

Однажды отправились в Бронксвилль (штат Нью-Йорк) в колледж Сары Лоренс на концерт русской камерной музыки. Получасовой путь от вокзала Гранд Сентрал до Бронксвиля достоин нескольких строк.

Поезд довольно долго тащится по каким-то бесконечным туннелям, а потом выныривает в... руинах Сталинграда. Это Южный Бронкс - зияющие окна обгоревших в неизвестно каких боях домов, поросшие бурьяном пустынные улицы, дикая кошка, пересекающая свалку, - содрогнешься, представив себе ее жизнь; мелькнет иной раз какая-нибудь жалкая лавчонка, косяя вывеска: "cold beer", скособочившиеся у входа разноплеменные "калики переходящие"...

Вот иллюстрация для самой оголтелой антиамериканской пропаганды. Вообразим человека в Советском Союзе, никогда не верившего ни одному слову этой пропаганды. Чудесным образом он вдруг переносится в Южный Бронкс, где ему и говорят: перед тобой Америка! В ужасе он закрывает глаза руками: значит, *они* не врали, значит, все так и есть, как *они* говорят?

Успокойтесь, милостивый государь: все-таки *они* врали. Через полчаса поезд прибывает в Бронксвилль, в реальную Америку ухоженных маленьких городов, идеальных бензозаправок и супермаркетов, пространных торговых "плаз" и белых дощатых домиков. Процветание страны сразу становится очевидным, когда покидаешь большие города. В России, между прочим, как раз наоборот: ее ресурсов, свободных от милитаризма, еле-еле хватает, чтобы поддерживать кое-какой уровень приличия в больших городах; провинция и село - сплошная гниль.

Южный Бронкс демонстрирует самым лучшим образом пресловутый и малопонятный русскому эмигранту "кризис городов", кроме того, он совершенно парадоксальным образом показывает странный провал советской антиамериканской пропаганды.

Дело в том, что, с точки зрения беженца из Советского Союза, такое явление, как Южный Бронкс, просто не может существовать (во всяком случае как реальность, а не фантом советской пропаганды); в равной степени не могут существовать никакие другие негативные явления американской жизни.

Советская пропаганда за десятилетия своего существования настолько завралась, что начинает давать обратные результаты. Советские люди определенного сорта, а именно к этому "критически мыслящему" сорту относились большинство эмигрантов, не верят ни одному ее слову - ни лжи, ни клочкам правды, необходимым для усугубления лжи. Поэтому они не верят ничему плохому об Америке из того, что сообщают советские газеты и TV.

К примеру, если речь идет о безработице в США (а эта речь, собственно говоря, ни на минуту не смолкает), критический советский человек обычно реагирует таким образом: эх, хорошо бы нам жить так, как живут эти американские безработные! Отчасти, между прочим, это соответствует действительности, отчасти не соответствует, но этой второй части для КСЧ

(критический советский человек) благодаря советской пропаганде просто не существует.

При упоминании трущоб в американских городах КСЧ скептически улыбается: хотел бы я посмотреть на эти трущобы! Дворцы, наверное, в сравнении с нашими "хрущобами"! Это уже совсем не соответствует действительности. Советские "жилплощади" в большинстве своем хоть и тесны, но вполне доброкачественны, оборудованы удобствами и в сравнение с Бронксом не идут.

Когда советская печать пишет о высокой преступности или наркомагии в США, КСЧ просто отмахивается: это все их враки, это все они нагло преувеличивают, лишь бы обосрать Америку!

В Москве стало уже привычным издеваться над советским телевидением, которое если и показывает какие-либо новости из США, то только лишь пожары, взрывы, авиакатастрофы, в лучшем случае стихийное бедствие. Люди не знают, что и американское телевидение именно такого рода событиями озабочено больше всего и меньше всего или совсем не заботится о "положительной информации". Ну, посмотрите на них, улыбается КСЧ в адрес советского экрана, по ним, так в Америке вообще ничего нет, кроме несчастий.

Таким образом в результате антиамериканской пропаганды в воображении КСЧ складывается образ Америки как идеального общества всеобщего процветания и романтики, он и едет сюда как в страну "Звездной пыли" и "Голубой рапсодии".

Тысячи советских эмигрантов, оказавшись в Америке, испытали жестокие разочарования.

Как-то мы с приятелем остановились перед красным светофором в восточной части Вашингтона. Влажность воздуха в тот день приближалась к ста процентам. Мутное солнце висело над обвисшими, словно грязные юбки, деревьями, над унылым рядом частично заколоченных, частично полуразрушенных "таунхаусов". Тротуары и палисадники были забросаны хламом. Медлительно в мареве перемещались фигуры негритянских подростков в баскетбольных чулках. Прошла немыслимой толщины женщина. Жуткий бродяга сидел на обочине. Меж мусорных баков проскочила крыса. "Знаешь, - тихо сказал мой приятель, - я просто не мог себе представить, что в США может существовать такое".

Многие русские не могли понять сути вооруженного грабежа. Иные при виде направленного на них пистолета поднимали возмущенный шум и получали паническую пулю. Иные атаковали в ответ и обращали непривычных к такому обращению бандитов в изумленное бегство.

Прошло немало времени, прежде чем русские научились не удивляться тому, что динамичный, цветущий район города может соседствовать с кварталом маразма и гниения, что из массы улыбающихся вежливых людей вдруг может выйти ублюдок с ножом.

Многие эмигранты признавались, что они были совершенно ошеломлены феноменом американской скуки. Я уже упоминал о том, каким серебром звучали для русских (так, кажется, и для многих европейцев звучат) названия американских городов. Скука - это была последняя вещь среди их опасений, если это слово вообще приходило в голову. Как может быть скучно в городе с именем Индианаполис или в штате со свистящим, словно ветер приключений, названием Миннесота?

И далее - полыхающие в ночи рекламами острова сервиса: PIZZA HUT, BURGER KING, EXXON, K-MART, GRAND UNION, огромные паркинги, редкие фигуры, идущие к машинам, движение светящихся фар, и вдруг высянется, что все это - рутина, глухомань, одиночество.

Лос-Анджелес - Калифорния, Голливуд, Сансет-бульвар... воображение, даже не особенно развитое, бьет копытами, готовится в полет, как конь Пегас, и вдруг опадает мокрой тряпкой - вымершие после заката улицы, "эффект нейтронной бомбы", уныние, рутина...

Люди в роскошном и полном чудес городе Ангелов вывешивают на своих домах предупреждения: "armed response"<sup>\*</sup>. Перед ними замкнутый круг: они избегают гулять по ночам, опасаясь нападений, потому что пустынные улицы - соблазн для преступников. Гуляйте же больше, черт возьми, и преступники ступают. Сидите в открытых кафе, как на Елисейских полях народ сидит, оживляйте свой город! Открытых кафе в Лос-Анджелесе нет (а где им еще быть, как не в Калифорнии с ее климатом), люди сидят во мраке в закрытых ресторанах, будто заговорщики (откуда взялась эта престраннейшая традиция ресторанного мрака?), а гуляют только между кинотеатрами Вествуда, будто по тюремному двору.

Одним из самых основательных сюрпризов для меня оказался американский провинциализм. Издалека, из-за "железного-то занавеса", думалось, что Штаты с их открытыми границами, с двенадцатью языками, с их мировой политикой - самый что ни на есть перекресток универсального космополитизма. Казалось, например, что сводка погоды на TV непременно сообщает о температуре воды в Ницце, о глубине снежного покрова на Килиманджаро, а в новостях рассказывается о новых ботинках испанского короля, о придворных интригах при ЦК компартии Китая, о продвижении марксизма в глубь Новой Гвинеи и т.д. Увы, если эти важные международные события и сообщаются, то лишь в конце программы, второпях, мимоходом, а главным событием дня становится признание миссис Керти в том, что она была девятнадцать лет назад соблазнена директором местной школы. Директор, пожилой носатый болван, решительно отвергает это обвинение, хотя и заявляет, что сексуальная практика в школах - вопрос недалекого будущего.

---

<sup>\*</sup> "Вооруженный ответ" - предупреждение о том, что грабителям будет оказано вооруженное сопротивление.

## АМЕРИКАНСКОЕ ОЧАРОВАНИЕ

Число этих последних, конечно, превышает число первых, то есть разочарований; и значительно. Русский эмигрант, особенно на первых порах, попадает, например, под грандиозное очарование еды. Это не значит, что он оказывается в плену американской кухни, каких-либо изысков вроде "Тибон стейк" с абрикосовым вареньем, початком кукурузы, куском арбуза, соперничающим с куском ананаса под соусом "Тысяча островов", он просто очарован изобилием и разнообразием имеющихся в наличии пищевых продуктов.

Американцы обычно не очень-то ясно представляют себе картину, когда читают в газетах сообщения о пищевых трудностях России. В зависимости от политической ориентации они воображают себе либо чистый голод, либо перебои в доставке свежих омаров. Ни того, ни другого не существует: голода нет, потому что кое-какие продукты все-таки есть, перебоев с омарами тоже нет, потому что советские люди в лучшем случае знают о существовании этого зверя из художественной литературы.

О положении с продуктами в СССР можно судить по такой истории, недавно приплывшей из Москвы, города с самым лучшим в стране снабжением. Некто просит своего влиятельного друга достать ему килограмм "швейцарского" сыра. Влиятельный друг вздыхает: "Сейчас, мой милый, уже не существует ни "швейцарского", ни "костромского", ни "голландского". Есть продукт, именуемый "сыр", и я постараюсь его тебе достать. А хочешь, раздобуду тебе и "синюю птицу", то есть курицу".

После этой скудости прилавки супермаркетов кажутся советскому эмигранту чудом, воплощением коммунистической мечты. Голова немного кружится, возникает стойкий комплекс вины по отношению к оставшимся там: они лишены всего этого.

С некоторыми продуктами русский эмигрант знакомится в США впервые, он даже не знает толком, что с ними делать. В одной киевской семье существовал миф о чудодейственном *орехе* "авокадо". Покупая в супермаркете эти плоды, они очищали их, выбрасывали мякоть и молотком разбивали твердую внутренность.

Только разобравшись и освоившись в мире изобилия, эмигранты вспоминают о деликатесах русской кухни, критикуют американцев за недостаток гурманства и выискивают в русских лавках *настоящий* творог и *настоящую* селедку. Потом уже начинают считать калории.

Другое грандиозное и одно из самых первых американских очарований — это автомобили. Машина в СССР — до сих пор знак жизненного успеха и даже в некоторой степени дерзновенности, какого-то вызова принципам коллективизма; недаром владельцев машин называют "частниками", как когда-то крестьян, не желавших вступать в колхозы, а ограбление автомобилей именуют "раскулачиванием".

Я до приезда в США десять лет водил машину и даже роман написал о превратностях российского автомобилизма. Майя, моя жена, в связи с про-

шлой принадлежностью к советской элите вообще больше двадцати лет провела за рулем, но мы - нетипичная пара; большинство прибывших машин не знают, руль держать в руках не умеют, и бесконечно текущие автомобильные реки Америки их ошеломляют.

В Лос-Анджелесе нам по приезде рассказали историю о том, как один русский парень купил большущий "Форд ЛТД" 1971 года выпуска, с грехом пополам научился нажимать педали, выехал на фривей Санта-Моника и... пропал. Боясь перейти со своей полосы движения на другую, не зная слова "exit"<sup>\*</sup>, да и вообще не умея читать по-английски, он катил в глубь Калифорнии до тех пор, пока не кончился бензин в баке. Так он оказался в маленьком калифорнийском городке, где последовательно: нашел работу, научился английскому, женился, купил дом, разбогател. Сейчас он подвизается на почве купли-продажи недвижимости и лихо пилотирует BMW.

К числу непреодолимых и почти неоспоримых очарований относится природная красота Америки. Разнообразие и сохранность этих красот до сих пор еще нас поражают. Осенние холмы Виргинии, Кентукки, Теннесси, береговая линия Флориды с деловито пролетающими пеликанами и застывшими в таинственном жеманстве цаплями, зеленые склоны Вермонта, напоминающие то Грузию, то Карпаты, огромные уступы Скалистых гор, секвойи Калифорнии, ее необозримые пляжи, миражные горизонты Аризоны, да и плоскость Канзаса - все это наполняет ощущением Большой Благодати.

Мы дважды пересекли страну на машине, и всякий раз, когда перед нами открывались новые дали, мы вспоминали американских пионеров, для которых продвижение в глубь континента было сродни открытию новой планеты. Это ощущение "новой планеты", как ни странно, еще живо на просторах Америки.

Поражает малозаселенность материка, даже его восточной части. Северная Пенсильвания, где на протяжении пятидесяти миль мы не увидели ни одного дома, напомнила нам Сибирь. Берусь утверждать, что Америка меньше заселена и уж гораздо меньше загрязнена, чем Россия в ее европейской, кавказской, среднеазиатской и южносибирской частях. О Северной Сибири говорить нечего, там, можно сказать, и нет никого, но вот Украина (однажды я пересек ее с юго-востока на северо-запад на машине) загрязнена тяжелой индустрией, химией, продымлена бесчисленными грузовиками так, как не снилось в дурных снах ни Мичигану, ни Массачусетсу.

К очарованию американского пейзажа относится и открытость американских границ. Боюсь, что американцу этого не понять, но советский человек наполняется особым чувством, когда, глядя на горизонт, понимает, что за ним во все стороны открытое пространство. никто тебя не сторожит, можешь идти на все четыре стороны.

---

\* "Выход".

Закрытость, непроницаемость государственных границ тоже сообщает пейзажу особую краску, но это уже из другой оперы; русская классика вне темы этой книги.

Говоря о великом обществе, подобном американскому, трудно оперировать обобщениями. Только обобщишь что-нибудь, как тут же сядешь в лужу. Любое обобщение только на первых порах напоминает красиво сшитую подушку. Не успеешь подсунуть ее себе под голову, как начинают выпирать углы, сыпаться какая-то труха, высовываются то нос, то хвост противоречий.

И все-таки можно сказать об американском населении, что оно очень приветливо. В России преобладают сумрачные лица, что несудивительно. В Америке до сих пор царит улыбка. Если человек не улыбается, его могут спросить: "What's wrong?"<sup>\*</sup> Иные мизантропы утверждают, что американская улыбка формальна. В этих случаях мне вспоминается, как моя мать однажды сказала в ответ на подобное же утверждение в адрес французов: "Лучше формальная любезность, чем искреннее хамство".

Рискуя опять же впасть в сомнительные обобщения, скажу, однако, что американцы любезнее французов. Во всяком случае по отношению к чужакам. В Париже однажды (впрочем, в плохом районе) буфетчик начал передразнивать мой ломаный французский, причем в такой отвратной манере, что пришлось обложить его русским матом. Между прочим, подействовало - извинился.

В Америке такое просто немыслимо. Иностранный акцент никогда не вызывает здесь раздражения, но только лишь желание полять. Ну, скажет скептик, это вовсе не от добрых свойств характера идет, а просто от специфики - ведь все происходит от приезжих, и в недалеком поколении. Так или иначе, но новоприбывших это подкупает и очаровывает.

Как-то раз я расплачивался кредитной карточкой в большом магазине. Продавец заинтересовался: "Польское имя, сэр?" - "Ов" - это русское окончание, - сказал я. - Для поляков типичнее "ский". Продавец и трое его коллег вежливо удивились - надо же, какие на свете бывают имена!

"А вы кто будете?" - спросил я своего продавца. "Я - Густаво Салазар", - сказал он. "На испанца вы не похожи", - сказал я, имея в виду его раскосые глаза. "Я - филиппинец, с вашего разрешения", - сказал он.

Коллеги его оказались - один иранец, вторая - из Тобаго, третий, наконец, урожденный американец сицилийского происхождения. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись.

Так мы здесь и живем, беженцы со всего мира. Один от голода драпанул, другой от пули, третий от литературной редактуры. Этническая пестрота Америки не имеет равных в мире. Мы к ней привыкли. Иной раз даже в Европе кривили нос - экая, мол, здесь этническая монотонность. Очень важно ощущать, что ты прибил к этим берегам не один, что вас много.

---

\* "Что случилось?"

что вы - "комьюнити", еще важнее чувствовать, что местные люди не ворчат в ваш адрес: "Проклятые иностранцы, мы вас тут всех кормим".

У Америки есть много недостатков (иногда они вдруг оборачиваются достоинствами), есть и достоинства (иной раз они кажутся вздором), но в целом эта страна от ксенофобии отдалена больше, чем любая другая, в целом она все еще ревностно придерживается своей традиции давать приют и защиту изгнанникам и беженцам всего мира.

Это ли не очарование - прибывший после разного рода мук потный и суматошный беженец оказывается в обществе приветливых, умеренно благожелательных, физически весьма здоровых и чистых людей. Стирка и чистка - национальные "перистуум-мобиле": "джогинг" и "аэробик"\* придают любому американскому городу сходство с тренировочным лагерем. Нация красивых, отменно стройных... У-у-п-с, опять расплзается подушка обобщений, потому что нигде, пожалуй, не увидишь такого количества ожиревшей молодежи, но об этом ни слова в этой подглавке.

Иные скажут, что в тренировочной одержимости американцев сказывается их прагматизм, заземленность, гедонизм, нарциссизм и т.д.; я не исключаю в этой страсти и религиозного начала: тело - транспортное средство души.

Очаровывает, вернее, просто восхищает отсутствие у американцев брезгливости к ущербному телу. Забота о калеках - уникальное свойство нации.

В этом же ряду восхитительной и очень земной религиозности я вижу и отношение к старикам. Чудесно уже и то, что их называют "синьор ситизен". Яркость старческих одежд, все эти знаменитые клетчатые штаны и шляпки с цветочками, то, что европейцы полагают американской безвкусицей, может быть, тоже имеет религиозно-ренессансное значение.

Как-то в Сиэтле мы наблюдали бал стариков. Они танцевали фокстроты и джиттербаги и явно наслаждались жизнью. Вспомнилась очередь в ленинградском магазине молочных продуктов. На бабушку, пытавшуюся взять без очереди бутылку молока, тетки помоложе стали орать: "Тебе на кладбище пора, бабка, а ты по магазинам ходишь!"

О, Господи, барахтаясь в обобщениях, как бы нам избежать параллелей, хотя бы такого рода.

Церкви всех существующих на земле религий - вот грандиозное американское очарование. Основная масса прибывших из СССР людей вследствие советского воспитания оказалась полностью нерелигиозной. С усмешкой старомодного позитивизма они смотрят, как по молебственным дням заполняются синагоги, мечети, соборы. Потом они начинают задавать себе вопросы - быть может, на религии здесь все и стоит?

Позитивисты настаивают: это вздор! Все здесь, господа, держится на экономике, на бизнесе, на долларе.

---

\* Jogging - бег; aerobic - комплекс спортивных упражнений.



Не вдаваясь в этот спор, отмечу нечто, имеющее отношение и к духовному, и к материальному. Американское общество, слается мне, построено на принципе благотворного неравенства. "Реакционность" моя зашла уж так далеко, что я пою хвалу неравенству!

Обратите внимание, социалистические начинания в этой стране очень быстро приводят в загниванию. Они противоречат основной американской идее "романтического неравенства". В неравенстве всегда динамика, страсть, в равенстве - отсутствие надежды на изменение жизни.

В Советском Союзе в своей сфере ты обречен влачить жизнь государственного служащего, и, если ты не вор, ничего никогда в твоей жизни не изменится, ибо все равны (за исключением, разумеется, тех, кто равнее равных). В Америке, в обществе неравенства, в хаосе экономической свободы где-то ждет тебя твой шанс. Пусть ты его не поймашь никогда, но его присутствие всю жизнь твою окрашивает иначе.

- Взгляните, - говорит эмигрант, - раньше я жил в городе Ворошиловграде, в Ленинском районе на улице Дзержинского - какая безнадежность. А сейчас, взгляните, я живу на Земле Мэри, у Серебряного Ручья, по улице Сад Роз - какие паруса!

### *ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"*

1980

- Good morning!

Она не отвечает. Бернадетта Люкс, сногсшибательная баба на двести фунтов (плюс фунт презрения), полдня шеголяющая в бигуди и кружевном пеньюаре. С ее данными ей бы воплощать вековечный советский идеал Матери-героини, но она управляет кондоминиумом "Пацифистские палисадны".

Отчего же такая суровость и неподвижность в мой адрес, удивлялся ГМР. "Good morning", - говорю я ей в лифте или в лобби. Молчание. Повторяю приветствие. Поль внимания.

Наплевать, конечно, но все-таки всякий раз при виде героической женской фигуры, либо статично просвечивающей сквозь пеньюар, либо возбуждающей волнообразно, в стиле соцреализма, движение тканей, становится чуть-чуть тошновато.

Однажды решил попробовать новшество, соединив два братских земных наречия:

- Good morning, Жопа-Новый-год!

Бернадетта Люкс в ответ на этот тип приветствия неожиданно расплывается. "Доброе утро, сэр! Приятная погодка сегодня, не так ли? Не угодно ли жменю жевательного табачку-с?" Вот что значит неформальный подход, даже и на незнакомом языке.

Кто таков наш Her Majesty Navy и как он оказался в Америке? Сделаем его писателем, господом? ГМР - русский писатель в изгнании. Б-р-р, а не получится ли, господом, что мы как бы пишем сами о себе, а ведь мы никогда не были такими гордецами и зазнайками...

Пусть он будет театральным режиссером, о'кей? Недурной ход - вроде бы и не писатель получается, а? В СССР он был страшно известным, а в Америке его никто не знает.

Гордец никому не навязывается. Обидев ранее немало женщин, сейчас живет в одиночестве. Работает "аттендантом" в "Колониал Паркинг". Скопив несколько сотен на чаевых, отправляется на Гавайи.

...Только бы не подумали, что мы отождествляем этого пятидесятилетнего мужика с образом "грустного беби". Хорош беби - с плешью и с этой вечной миной сарказма.

Может быть, все-таки взять героя помоложе? Пятидесятилетние мужики основательно надоедают окружающим. Еще в Союзе (типично эмигрантское "еще в Союзе") он заметил вдруг, что здорово всем надоел. Надоело все, что относилось к нему, без исключения - и его примелькавшаяся в "творческих кругах" фигура, и его дерзкие постановки, не говоря уже о "творческих замыслах", "безукоризненном вкусе", "профессионализме высшей пробы"... Надоел, и все!

Однако, если мы сделаем героя помоложе, наша хронология тогда не сойдется, испарится и тема "грустного беби", дребезжащее пианино. Придется ему остаться пятидесятилетним, хотя и стыдно в этом возрасте работать "аттендантом" на автостоянке возле ресторана "Эль Греко".

Мерзейшая ирония заключалась в том, что ресторан гордился датой своего основания - 1955-й, когда ГМР уже служил в советской морской пехоте, тренируемой для высадки на американском побережье именно в этом месте.

1955

Кронштадт. Урок штыкового боя в морском экипаже

Учитесь штыковому бою!  
Втыкайте, пацаны!  
От русского штычка завоют  
Имперьялисты-сатаны!

Америка, наш враг коварный,  
Весьма, товарищи, богат,  
Хотя койфициент товарный  
У ей захапал плутократ.

Куда ты тычешь штык. Петруша?  
Ведь Джек высок и знает бокс!  
Ты тычь его пониже, в грушу!  
Вот это будет самый сок!

За океаном не в почете  
Марксизм, наука всех наук.

Борцы за мир все на учете,  
А ЦРУ - большой паук!

Чем глубже ткнешь ты на ученье,  
Тем веселей тебе в бою!

.....  
В морской пехоте развлеченье  
Один лишь мат. Египтвою!

1980

В ночной лавке на Вествуд-бульвар можно купить майку с изображением Ленина. Трюк заключается в том, что вождь и сам изображен в майке с надписью KAZAN UNIVERSITY. Вновь, как зубная боль, возникает вопрос - почему юноша выпал из своей alma mater? Спросите об этом у продавца маек. Он подмигнет:

- Мы тут, сэр, пока что начинающие.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Итак, мы отправились на Запад, то есть со Среднего Запада на Дальний, из Анн-Арбора, Мичиган, в Лос-Анджелес, Калифорния. Дело было в январе.

Незадолго до отъезда мы совершили наш первый американский патристический поступок. Речь шла о покупке колес. Выбор стоял между "вольво" и "омегой". Первая была мечтой всех московских жуликов, а потому и нам была известна. О второй никакими сведениями мы не располагали, за исключением того, что она принадлежит к семейству "олдсмобилей" и сколочена компанией "Дженерал Моторс" в черный год американской автоиндустрии 1980-й (вперед на 1981-й) по европейскому стандарту, то есть не в виде огромного крокодила.

"Надо поддержать американскую промышленность, - сказал я Майе, - ты же видишь - она задыхается". - "Странное соображение, - сказала она. - Неужели ты думаешь, что покупка одной "омеги" что-нибудь здесь изменит?"

По телевизору каждый день рассказывали об огромных увольнениях, о кризисе компании "Крайслер", об ужасных убытках.

"Наша "омега" может оказаться решающей каплей, - сказал я. - С падением этой капли система качнется в другую сторону, и начнется медленное выздоровление".

Так и получилось, между прочим. Мы вошли в магазин "Олдсмобиль Дилершип", выписали изумленному торговцу чек на полную стоимость (о

"моргейджах" мы тогда и понятия не имели) и сели в милое авто. Я до сих пор уверен, что наша "капля" (четырёхдверный, шестцилиндровый автоматик) оказалась решающей, и никто меня в этом не разубедит.

Мичиганская зима мало чем отличается от русской; странно, что в этом штате до сих пор не построили коммунизм. Не для того мы эмигрировали, в конце концов, чтобы барахтаться в снегу. Решено было бежать порезвее к югу - Иллинойс, Миссури, Канзас, Оклахома, Техас - и пробираться дальше самым южным путем через Нью-Мексико и Аризону вдоль государственной южной границы с единственной целью - обойти стороной снега в горах.

Ну вот, мы едем через Америку. В "омегу" вместились все, чем мы здесь располагаем, включая и недвижимость - рукопись неоконченного романа "Скажи "изюм".

Сколько раз уже описана по-русски эта дорога! Еще в 1936 году Илья Ильф и Евгений Петров пересекали США в маленьком сером "фордике". Уже тогда существовали эти тысячемильные бетонные линии с двухполосным односторонним движением в обе стороны, бензозаправки, где протирают стекла машины, шкафы с холодными напитками, мотели и кафе. В России же и тогда автомобильных дорог не было, да и сейчас ее дороги в контекст цивилизации еще не вписываются.

Советскому читателю, если таковой у этой книги когда-нибудь найдется, могу предложить к списку чудес, описанных Ильфом и Петровым, еще одно - поджопное бумажное полотенце. В кабинках задумчивости на канзасских зонах отдыха я это диво встретил впервые - экий декаданс! В добавление к пипифаксу проезжающим предлагается достаточной ширины лист с перфорацией в форме груши. Невольно вспомнишь станцию Зеленый Гай на Днепропетровщине по дороге к волшебному Крыму, где водители грузовиков вольготно располагаются "орлами" вокруг заколоченного в прошлую пятилетку сортира.

На юге штата Иллинойс снега кончились, и больше мы их в ту зиму не видели. Надо сказать, что никаких особенных сентиментальных чувств к этому виду осадков мы и не испытывали. Снег в его эстетическом чистом виде существует за всю зиму в Москве каких-нибудь несколько дней, все остальные шесть месяцев это снег-уродина, свалывшийся, грязный, надоевший, как вся советская власть.

Едем, едем, едем... ровное движение впереди, по бокам от нас, позади, навстречу. Мы меняемся за рулем. Майя жалуется: "Меня усыпляет это вождение". - "Ну и спи! Посмотри, все вокруг давно спят".

Очень скоро мы стали знатоками мотелей. Набоковского "Приюта зачарованных охотников" в пути не попалось, зато мы по достоинствам оценили и "Говарда Джонсона", и "Вестерн", и "Холидей Инн", и "Рамада". Мы даже спорили об их достоинствах. Майя почему-то отдавала предпочтение "Джонсону" - дескать, там и завтраки лучше, и в телевизоре больше программ, и вот еще то-то и то-то. Я почему-то держался "Холидей Инн", уве-

ря, что эта фирма бьет все рекорды. Случай подвернулся, чтобы доказать упрямому приверженцу "Г. Джонсона" свою правоту. На окраине Сент-Луиса мы остановились в "шикарнейшем" "Холидей Инн". Окна номеров выходили в гигантский закрытый патио с искусственным светом, где журчали фонтаны и низвергались водопады, где по романтическим мостикам путешественники могли прямо от огромного бассейна перейти к внушительной аркаде видеоигр. Принюхиваясь к запаху хлорки и прислушиваясь к посвистыванию электронных жучков, мы уже больше не спорили: Майя молча признала поражение, я благородно молчал.

Границу Техаса мы пересекли ночью, не заметив ее, и остановились в городе Сладководске (как еще иначе переведешь Sweetwater-city) в мотеле "Говард Джонсон". Утром мы вышли к завтраку, не подозревая, что мы в Техасе. Подавальщица притащила нам "наши яйца" плюс целую поленницу бекона, плюс блинчики с джемом, по куску арбуза и грейпфрутовый сок. В салат-баре мы отоварились еще овощами. Майя ничего не сказала, только лишь со скромным торжеством озирала стол: таков, мол, мой старый "Говард".

"Посмотри лучше вокруг, - сказал я. - Какая отменная здесь собралась публика. Того и гляди, начнут сейчас стрелять в пианиста или за неимением такового - в проезжего русского писателя".

Вокруг нас сидели настоящие персонажи вестернов, краснолицые, голубоглазые, в огромных шляпах, кожаных жилетках и сапогах на высоком каблуке, техасцы.

Нынче, всяческими способами убегая от клише, мы иногда удивляемся, как точно некоторые явления им соответствуют. Вот ведь при слове "техасцы" именно такая картина возникает в воображении, но, когда ее видишь воочию, поражаешься - могут ли так совпадать реальные люди (в данном случае в основном водители грузовиков) с образцами кино?

Подавальщица вдруг спросила нас:

- Интересно, фолкс\*, на каком это таком языке вы между собой разговариваете?

- А вы как думаете, что это за язык? - спросил я в ответ.

- Звучит как немецкий, - сказала она.

- Нет, это русский, - сказал я.

- Вот я и слышу что-то похожее на русский или немецкий, - сказала она.

- Однако это совершенно разные языки, - сказал я. - Немецкий и русский не похожи друг на друга.

- В самом деле? - искренне удивилась она. - Вы, стало быть, русские из Германии?

- Нет, мы из России.

- Немцы из России?

---

\* folks - здесь: братва, братцы.

Для этой средних лет техасской дамы "русские" и "немцы" были соединены какими-то нерасторжимыми связями. В двух словах мы объяснили ей противоречивость немецко-русских связей, историческое преобладание византийской над готической культурой (или наоборот) и подчеркнули, что, несмотря на изобретение немцами крана к русскому самовару, в России до сих пор бытует поговорка: "что русскому хорошо, то немцу плохо"...

В замешательстве покачивая головою, она отошла к "ковбоям" и, как бы убирая что-то со стола, рассказала им, какие странные в мотеле оказались постояльцы - из России, но не немцы.

"Ковбой" пошевеливали большими плечами, иногда чуть поворачивали головы, чтобы глянуть на нас, однако, столкнувшись с нашими взглядами, деликатно отводили глаза, как бы интересуясь лишь погодой за окном.

Тут подавальщица снова приблизилась, лицо ее выглядело озачарованным.

- У нас тут, оказывается, в газетах много пишут о России, и все какие-нибудь гадости. Наверное, врут?

- Увы, не врут, - сказали мы.

- Вот ребята говорят, фолкс, будто в России такое правительство, которое не позволяет книжки писать, какие хочешь. Это тоже правда?

Я даже подскочил - вот так вопрос в городе Сладководске! Может быть, кто-то из них видел мой портрет в "Вашингтон пост" или в "Нью-Йорк таймс" и узнал? Но это просто немыслимо - пара-другая снимков, промелькнувшая в потоке тысяч и тысяч?.. Так или иначе, но вопрос оказался более чем по существу.

- Увы, мэм, это тоже правда. Я как раз являюсь писателем, и именно за сочинение негодных книг меня выгнали из моей страны. Именно поэтому мы и оказались здесь, мэм!

Подавальщица из Сладководска вдруг широко раскрыла руки и сказала с такой теплотой, которую и сейчас, четыре года спустя, я вспоминаю как одно из лучших американских очарований:

- You are welcome to America!

Ковбой сдержанно улыбались.

### *ДЕНЬ, КОГДА Я ПОТЕРЯЛ ГРАЖДАНСТВО*

Последний день этого путешествия стал довольно важной вехой в моей биографии: 21 января 1981 года после захода солнца я узнал, что не являюсь больше гражданином СССР.

Проснулся я в тот день еще гражданином СССР в мотеле города Юма, что на стыке границ Аризоны, Калифорнии и Мексиканских Штатов. С достоинством, как и предписывает инструкция Управления виз Моссовста, пронес высокое звание гражданина Страны Советов в столовую. После

---

\* Добро пожаловать в Америку!

завтрака мы взяли старт на Лос-Анджелес, куда рассчитывали прибыть к вечеру.

Аризонская пустыня сменилась калифорнийской, которая в этих местах лежит ниже уровня моря. Горизонт еще больше раздвинулся. Пески и кактусы по обе стороны прямого, как линейка, хайвея. "Омега" что-то сильно разошлась, обгоняла чуть ли не все попутные машины. При обгоне очередной я увидел рыжие усы патрульного офицера. Положив локоть на борт, он внимательно и серьезно смотрел на меня. Потом привычным движением поставил себе на крышу пульсирующий красный фонарь. Несколько секунд я еще делал вид, что не понимаю, что это значит, что ко мне это вроде не очень-то относится, потом пошел к обочине. Патрульный "кар" встал сзади. Мы вылезли из машин - я и стройный офицер в униформе цвета хаки с пистолетом на боку. В ярком пустынном небе над нами, словно наши alter ego, парили два орла.

Я подумал: сейчас начнется цирк! У меня нет ни одного американского документа. Как оказался советский гражданин посреди калифорнийской пустыни рядом с мексиканской границей? Если бы американца изловили в Туркмении, в двух шагах от Ирана, подняли бы по тревоге весь КГБ. Представляю себе реакцию патрульного на советский паспорт, а потом и на еще большее чудо - советские водительские права! Как все это ему объяснить? Не рассказывать же в самом деле историю романа "Ожог" и независимого альманаха "Метрополь". Пока что попробую придуриваться, как в России делал в подобных обстоятельствах.

- Скорость? - спросил я.

Патрульный кивнул. Я начал хныкать в той манере, которую выработал в общении с московскими гаишниками.

- Клянусь, офицер, я всегда вожу в рамках правил. Вот только тут... знаете ли... в пустыне...

- Да, здесь трудно держать лимит, - согласился он.

Я обрадовался: кажется, клюет! Согласно московскому опыту нужно выделить его участок как особый, ни на что не похожий, исключительно опасный и важный - такова психологическая задача. В случае успеха офицеру и мои исключительные советские обстоятельства не покажутся столь уж подозрительными.

- Впервые еду через пустыню! - воскликнул я. - Удивительное ощущение! Сам не замечаешь, как скорость поднимается до шестидесяти пяти миль в час!

- До семидесяти пяти миль в час, - сухо поправил он, посмотрел на номерной знак и пробурчал. - Ага, Мичиган...

Что это значит? Может быть, с Мичиганом тут у них особые счета? Может быть, здесь мичиганцам круче приходится, чем советским? Так или иначе, нужно раскрывать национальную принадлежность. Ведь не может же его не насторожить мой акцент!

- Вообще-то мы из России, офицер, из Советского Союза... Это особая история...

- Ваше имя, сэр, - прервал он меня.

Я сказал и добавил вполне нелепо:

- Это, понимаете ли, русское имя. Мы здесь оказались при необычных обстоятельствах...

- Как спеллингуете свое имя? - в ровном тоне патрульного мелькнула легкая досада. Очевидно, мои "обстоятельства" мешали ему осуществлять закон.

Я заученно протараторил свое имя по буквам. О, эти американские "спеллинги", сколько эмигрантских языков вывихнуто было на них!

Офицер на минуту отвлекся от своей записи.

- Значит, из России приехали, сэр?

- Да, мы из Советского Союза, но мы оказались здесь в силу совершенно особых, исключительных обстоятельств, которые я мог бы объяснить, если бы...

- А вы знаете лимит скорости в Америке? - снова прервал он меня.

- Пятьдесят пять миль в час.

- Вот именно, - сказал он. - Водительскую лицензию, пожалуйста.

Я уныло полез за своей выдавшей виды "корочкой". Необычный вид документа наверняка возмутит патрульного, ведь советские права отличаются от американских не менее разительно, чем "Правда" от "Нью-Йорк таймс". Наверняка он признает мои права недействительными.

- У меня пока еще советская лицензия, - мямлил я, - однако, если учесть особые обстоятельства, о которых я упоминал выше, то при известной спиходительности...

Он невозмутимо рассмотрел мои права и, не задав никаких вопросов, записал семизначный номер. Я присел на горячий капот его "шевроле". Неясное ощущение судьбы витало в воздухе пустыни. Рыжий молодчик, похожий на киногогеря, которому абсолютно наплевать на мои советские "обстоятельства", осуществляет американский закон об ограничении скорости. Многозначительное парение двух орлов над нашими головами.

- А вот в СССР нет ограничения скорости, - зачем-то соврал я, хотя уже и понимал, с каким бесстрастным центурионом имею дело.

Тут вдруг патрульный сильно обиделся, оторвался от бумаги и посмотрел на меня выцветшими голубыми глазами.

- Вы ведь сейчас не в России, сэр, правда? Вы сейчас в Америке, так? А у нас здесь скорость ограничена, о'кей?

Точно так же когда-то на меня ворчал киевский милиционер: "Здесь вам не Москва... тут Киев, понятно?... Здесь работают киевские правила, так?"

- Оштрафуете меня? - спросил я.

- Не я вас оштрафую, а суд вас оштрафует, - он протянул мне копию бумаги. - Так и быть, поставил вам шестьдесят пять вместо семидесяти пяти. Поосторожнее в дальнейшем. Всего хорошего!

Он отвернулся, потеряв ко мне малейший интерес, и до меня наконец



дошло, что я для него вовсе не подозрительный иностранец, а просто нарушитель скоростного режима, то есть человек как человек.

Есть некоторая все-таки странность в том, что этот знаменательный для меня день начался с волнений по поводу моего сомнительного гражданства и ненадежных водительских прав. Продвигаясь дальше к Тихому океану, я думал о том, что теперь надо ждать еще какой-нибудь гадости (закон парности) и что вторая гадость будет в том же роде, то есть связанная с бумагами, с какими-нибудь провалами, с недостатком каких-нибудь прав или с полным их отсутствием; ведь не с избытком же прав, этого сейчас нигде не допросишься.

К вечеру мы достигли гостеприимного дома в Санта-Монике, и хозяин после первых же приветствий сказал:

- Тебя весь день разыскивают журналисты. Прошу прощения, но Указом Президиума Верховного Совета СССР ты лишен советского гражданства.

После ужина мы пошли на мой любимый еще с 1975 года Океанский бульвар и остановились там в молчании под королевскими пальмами. Внизу, под обрывом, катились огни прибрежного шоссе.

Почему госмужи СССР так поступили со мной? Неужто сочинения мои так уж сильно им досадили? Разве я на власть их покушался? Пусть обожуртся они своей властью.

Я подумал о друзьях в Москве. Сегодня они услышали эту новость по "Голосу Америки" или по Би-би-си - какая реакция?

Старинный друг мой, внутренний эмигрант Фил Фофановф, которого в Москве называют помесью Печорина с Обломовым, вероятно, утешил бы меня таким образом:

- Не фетишизирую красную картонку с плотной розовой бумагой внутри, ничего священного и символического в этой дряни нет, простое "средство полицейского контроля", согласно словарю Брокгауза и Эфрона. Бедняга Маяковский, которому очень хотелось еще раз в Париж, пропел серенаду советскому паспорту, а между тем, сам сознался, что носит ее в штанах... "Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза"... Разве нечто любимое, священное, гордое носят в штанах по соседству с гениталиями?

Так, вероятно, упражнялся бы в остроумии московский шутник Фил Фофановф. А все-таки идеологические дядьки-аппаратчики не только ведь книжечки говенькой меня лишили. Это они в своих финских банях постановили родины меня лишить. Лишить меня сорока восьми моих лет, прожитых в России, "казанского сиротства" при живых, загнанных в лагеря родителей, свирепых ночей Магадана, державного течения Невы, московского снега, завивающегося в спираль на Манежной, друзей и читателей, хоть и высосанных идеологической сволочью, но сохранивших к ней презрение.

"Дружище, - сказал бы устало Фил Фофановф, - фактически они нас всех давно уже лишили советского гражданства, потому что его просто не существует. Здесь нет гражданства, а есть подчинение. Честь мы бережем не для гражданства, а для родины". Иногда он может шутить и таким образом.

В темном небе тактично гудел "джет", возвращающийся из Японии. Шелестела ветками огромная пальма. Пахло своими плодами лимонное дерево. Рождалась новая луна. Калифорнийской ночи было наплевать на мое советское гражданство в не меньшей мере, чем патрульному на "интерстейт" N 8.

Возвращаясь к хозяйскому дому, мы увидели, что он полон людей. Оказалось, что многие старые друзья из Калифорнийского университета, где я в 1975 году на семинаре красноречивыми недомолвками подчеркивал свою принадлежность к Совдепу, приехали нас приветствовать. За шесть лет, что прошли после моего месячного визита в 1975-м, они совсем не изменились, и немудрено - Калифорния, в ней не только кинозвезды консервируются, но и профессора университетов.

Законсервировались мои друзья и в своих так называемых левых взглядах. Для советских делишек у них в лучшем случае припасена ироническая улыбочка, нападать на СССР на очень-то рекомендуется, иначе ведь и не заметишь, как примкнешь к "правым".

В разгаре шумной и спонтанной, вполне в русском стиле, вечеринки из Нью-Йорка позвонил Крэг Уитни, бывший московский корреспондент, а в тот момент заведующий иностранным отделом "Нью-Йорк таймс". Он хотел узнать, как я себя чувствую после лишения советского гражданства, есть ли у меня эмоции в адрес советской власти. "Пошли бы они все к черту!" - заорал я. Крэг захохотал, и в утреннем выпуске "Нью-Йорк таймс" появилось:

"Having been informed about the Soviet government's decision Aksyonov said: "To hell with them!"

Окончив этот разговор, я вернулся в гостиную и обнаружил там основательную ссору. Русские интеллектуалы ругались с американскими интеллектуалами, причем речь шла даже не о России, а об американских заложниках в Тегеране, которые в это время были освобождены и направлялись домой.

- Теперь все это будет превращено в националистическое шоу, устроят огромный шовинистический шабаш, - говорили американские друзья.

- Ваши дипломаты были захвачены бандитами, - кипятились русские друзья. - Нарушены были все международные нормы!

- Во время революций всегда бывают эксцессы, - отвергали этот аргумент американцы. - Посольство и в самом деле занималось шпионажем.

- Все посольства занимаются шпионажем, разве дело в этом, - зывали русские. - Неужели вы не понимаете, что Америка противостоит тоталита-

ризм, что это последняя крепость свободного мира, что любое унижение Америки идет на пользу коммунизму?..

- Вы говорите, как наши "ред нек", - возражали американцы. - Как наши крайние правые, реакционные люди.

- А вы, - парировали русские, - говорите, как либеральные олухи, порабощенцы, вы не понимаете, с кем имеете дело. Опомнитесь в советском концлагере, господа!

Тут один из американских друзей не выдержал и слегка позеленел, что бросилось всем в глаза, потому что прежде во время таких споров он только розовел.

- Мои предки, - закричал он не своим голосом, - приплыли в эту страну четыреста лет назад!.. (Тут все быстро в уме пересчитали, могло ли такое случиться, и выходило, что почти могло.) Мы... (далее следовало имя, содержащее и "th" и "gh")... здесь живем из поколения в поколение, а тут приезжают всякие из стран, не знавших даже запаха свободы, и берутся нас учить, как защищать демократию!..

Тут он смутился, все краски на лице смешались, и стал извиняться за свою вспышку: он вовсе никого не хотел оскорбить, просто и в самом деле немного нелепо получается.

Нелепость некоторая, увы, налицо. В Советском Союзе мы считались "левыми", смутьянами, ненадежными элементами, а нам противостояли несметные полчища "правых", официальных коммунистических пропагандистов и аппаратчиков. В Америке же мы с нашим антикоммунизмом оказались ближе к "правым". Левая, правая, где сторона? Улица, улица, ты, брат, пьяна...

### СЕНО И СОЛОМА

Однажды, уже в Вашингтоне, прогуливая в садике на Колумбия-роуд своего щенка Ушика, я познакомился с хозяйкой сенбернара Джулией - дамочкой, приятной во всех отношениях. Она жила неподалеку, на одной из маленьких улиц, пересекающих Коннектикут-авеню. С того дня мы встречались нередко, наши собаки стали друзьями, и в конце концов Джулия пригласила нас с Майей на ужин.

Мы пришли в ее элегантную квартиру и нашли там весьма симпатичное общество, персон эдак около пятнадцати. Старшим там был муж Джулии, красавец с седыми кудрями и плавными движениями. Если бы не роко-чущая американская речь, его можно было бы отнести к известному российскому типу адвоката-краснобая. Кстати, он и оказался адвокатом, как потом выяснилось. Гости были моложе хозяина дома, нам почему-то показалось, что это в основном друзья Джулии по университету, хотя мы и понятия не имели, училась ли она когда-нибудь в университете. В общем, это был народ от тридцати пяти до сорока, красивый, одетый небрежно, лица неординарные, жесты свободные, однако без киношного нахальства. В об-

щем, они были похожи на людей нашего круга в Москве, если исключить из него заведомых стукачей.

Очевидно, они давно не видели друг друга. Каждого новоприбывшего встречали веселыми восклицаниями. Разговор (поначалу за коктейлями) шел довольно сумбурный и "внутренний", нас он мало касался - что-то о переменах в работе, в жилье, в семьях, все как будто принадлежали к тому типу, что нынче называют "яппи"\*.

Потом вдруг стала мелькать тема Сальвадора. Кто-то из них, оказывается, там недавно побывал. делал какое-то исследование для какой-то частной организации. Вот, кажется, повод вставить пару слов, чтобы не сидеть тут чуелом в качестве "хозяина друга нашей собаки".

"Сальвадор, - сказал я глубокомысленно, - это очень серьезно".

Все со мной охотно согласились.

"Очень уж близко к дому", - углубил я свою мысль.

Все вновь с энтузиазмом поддержали меня. Сальвадорская тема разгорелась. "Близко, очень близко, слишком близко уж к нашему дому..." - говорили гости, как вдруг я заметил, что они совсем не то, что я, имеют в виду. Я-то имел в виду, что вот-вот еще одно тоталитарное марксистское государство возникнет на этот раз слишком близко к американскому дому, а они, гости Джулии, вели речь о том, что Пентагон и ЦРУ втягивают страну в "новый Вьетнам", на этот раз слишком близко к американскому дому.

Дальше - больше. Мы вовлекались в разговор, и раз за разом наши ремарки оказывались по меньшей мере неуместными в этой компании. Кто-то из присутствующих, например, упомянул имя сенатора К., а меня будто кто за язык потянул. "Третьего дня, - говорю, - этот К. напугал меня до смерти".

Несколько человек повернулось ко мне: как так?

"Да вот, - говорю, - проснулся утром, включил телевизор и сразу увидел сенатора К., и первая фраза, которую он произнес, то есть первая фраза, которую я услышал в то утро, звучала так: "Если я стану президентом США, первое, что я сделаю, позвоню Юрию Андропову!" Согласитесь, господа, можно перепугаться".

- А почему же? - недоуменно спросил близко сидевший ко мне молодой почти красавец в рубашке с галстуком и в ковбойских сапожках.

- Ну, ведь это все равно, господа, что услышать, будто кто-то собирается звонить Берия, - сказал я.

- Что же вы против переговоров, что ли? - спросила подруга почти красавца, совершеннейшая красавица.

- Нет-нет, простите, я вовсе не имел в виду никаких переговоров, я просто хотел сказать, что вот это желание позвонить Андропову не относится к числу тех эмоций, с которыми хочется начинать день.

---

\* young professionals.

Те из гостей, что услышали этот разговор, переглянулись. Кто этот человек с таким неопределенным акцентом? - говорили их взгляды.

- Простите, сэр, мы здесь все друг друга знаем. - сказал почти красавец, - а вот вас видим впервые. Откуда вы?

- Из Советского Союза, - сказал я, и тут уже чуть ли не вся гостиная повернулась ко мне с неподдельным интересом.

Далее последовал разговор с нарастающим количеством вопросительных знаков.

- Как вы очутились здесь?

- Меня выгнали из Советского Союза.

- Выгнали из Советского Союза?? За что???

- Ну, понимаете, я писатель...

- Писатель, которого выгнали из Советского Союза??? За что???? Он Earth???

- За книги.

- ???????

Тут вдруг поток вопросительных знаков иссяк; не пошел на убыль, а просто оборвался. Тема изгнания писателя из СССР "за книги" больше не развивалась, и на протяжении всего ужина мне об этом больше не задали ни одного вопроса.

Я начинал догадываться, что мы оказались в обществе самых что ни на есть "левых". Джулия во время наших прогулок в обществе взрослого сенбернара и щенка-спаниеля, видимо, как-то неправильно меня вычислила, почему-то решила, что я принадлежу к "их кругу".

Интересно, догадалась ли Майя? Я оглядел комнату и увидел ее в дальнем конце. Разгоряченная, она что-то доказывала хозяину, а тот как-то от ее доводов обмяк, седые кудри замочалились. Красивой ладонью он как бы пытался размешать густоту Майиных аргументов.

- ...однако вы же не будете отрицать, что он выдающаяся личность, - услышал я.

- Он выдающийся подонок! - атаковала Майя. - Я там была и видела, как они, эти вожди, там живут, в какой роскоши посреди пустоты, я и его самого видела - наглый тиран!

- Они там ликвидировали проституцию, безграмотность, всем дали жилье... - говорил адвокат.

- Как в концлагере, - парировала Майя с излишней, о, несколько московской пылкостью.

Речь шла об одном диктаторе одной островной страны.

"Вечер может кончиться тем, что нам укажут на дверь", - подумал я и тут же сморозил еще одну бестактность, высказавшись по поводу марксизма, что он хорош только для установления диктатур на задворках мира, а в цивилизованных странах устарел...

Мне было бы неловко высказывать эти, с московской точки зрения, общие места, если бы не изумленные взгляды гостей Джулии.

Марксизм устарел?

Нет, нас не выставили за дверь, однако несколько гостей довольно выразительно посмотрели на хозяйку дома (кого, дескать, привела?), и Джулии ничего не оставалось, как пожать плечами.

В дальнейшем ужин проходил и завершился вполне светски. Употреблялись хорошие вина, креветки, сыры и салаты, обсуждались новые фильмы и книги, политики во избежание новых недоразумений больше не касались ни свои, ни чужие.

В светской беседе, между прочим, выяснилось, что у доброй половины этих американских интеллигентов дедушки и бабушки, а то и родители прибыли на этот материк из России. "В каком-то смысле, - подумал я, - их марксистские убеждения - вещь наследственная. Дедушки и бабушки привезли с собой свою антиимперскую и антибуржуазную "крамолу", и здесь она как бы законсервировалась. Как же можно усомниться в марксизме, если и папа в него верил, и дедушка?"

Глядя на этих приятных людей, внешне вроде бы таких уж "наших", а на самом деле совершенно глухих к нашим проблемам (как, возможно, и мы кажемся им глухими к их проблемам), я думал о той хитрой ловушке, в которой оказалась интеллигенция всего мира, об этой пресловутой "левой - правой" примитивке, разделившей людей по дурацким категориям, о наглом ее давлении, как бы полностью исключаящем всякую возможность негори-зонтального движения.

В конце семнадцатого века русский царь Алексей Михайлович начал формирование армии европейского образца. Вдруг выяснилось, что рекруты, деревенские пареньки, не знакомы с такими понятиями, как "левое" и "правое". Что делать, как направлять движение марширующих колонн? Какой-то фельдфебель придумал: на левое плечо солдатам под погон засовывали пучок сена, на правое - пучок соломы. "Сено!" - кричал фельдфебель, и рота поворачивалась налево. "Солома!" - и рота исправно двигалась в правом направлении. Таким образом абстрактные в контексте вселенной понятия получили вещественное наполнение. "Левая" и "правая" в современном мире лишены какого бы то ни было вещественного наполнения.

Однажды в Вашингтонском международном научном центре имени Вудро Вильсона мне случилось быть на докладе о польской "Солидарности". Это было за месяц до военного путча. Царил энтузиазм. Докладчик, только что вернувшийся из Варшавы, рассказывал о руководителях удивительного профсоюза, кто из них профессор, а кто сварщик, как они проводят дискуссии, и просто, как они живут, как одеваются и т.д.

Я тогда задал вопрос: а кем они себя считают, левыми или правыми? Вопрос этот озадачил докладчика, аудиторию да и меня самого.

В самом деле, кто они? Коммунистическая пресса называет их "правой контрреволюцией". Стало быть, те, кто им противостоит, "левые"? Эти партийные бонзы, окруженные стражей, перевозимые в бронированных лимузинах?

Покажите на кампусе американского университета и тех, и этих и задайте загадку: кто здесь "левый"? Не сомневаюсь, руки студентов потянутся к тем, кто похож на них самих, - к парням в замызганных джинсах и паршивеньких свитерах, дерзко смеющимся, с традиционной рогулькой V над головой.

Позвольте, позвольте, но какие же это "левые"? Молятся, кладут кресты, причащаются на коленях перед священником... Мда-с, не вполне марксистской веры эти товарищи... чем-то от них пахнет чуждым...

В Центре Вудро Вильсона разгорелся спор, в ходе которого решили, что "Солидарность" все-таки следует считать "левыми" или, точнее, "левыми правыми", хотя, может быть, и не столь "левыми", сколь "правыми" по сути... и "левыми"... тоже по сути. Тут время дискуссии истекло.

В мире в виде фона для вполне отчетливой и наглой политики царит терминологическая, семантическая, лингвистическая и эстетическая неразбериха.

В шестидесятые годы в СССР гуляла двусмысленная песенка: "Левый крайний, милый мой, ты играешь головой" - вроде бы про футболиста. Противостояли нам сталинцы во главе с Кочетовым, Грибачевым, Софроновым. Их почему-то называли "правыми", как бы объединяя таким образом с республиканцами в США и с "тори" в Англии, как бы ставя рядом жутчайшего банщика Грибачева и вполне приличного сэра Антони Идена. Московскому "левому" обществу Софронов казался правее генералиссимуса Франко. Мало кому приходила в голову абсурдность этой диспозиции, никто почему-то не думал, что для Франко сталинцы - "левые".

На Западе изгнанники с Востока нашли не так много друзей среди "левых". Привычно, из поколения в поколение, и отчасти комфортабельно в условиях демократии сопротивляясь капитализму, эти люди морщились, когда мы говорили о нашем жизненном опыте в антикапиталистическом обществе.

Неужели западный левый интеллигент уже частично втянут в систему тоталитаризма? Мы не хотели в это верить, не хотелось терять привычный романтический образ свободомыслящего чудака, бросающего вызов предвзвешенным рассудкам и филистерству. Все-таки в комплексе "левизны", казалось нам, идея личной свободы и чистой совести должна преобладать над идеологическими стереотипами...

Парижские "новые философы" оказались первыми среди тех, кто преодолел круг заклинаний. Все они пришли с баррикад Латинского квартала 1968 года для того, чтобы назвать себя "детьми Солженицына" и заявлять, что слово "справедливость" для них дороже двухмерного измерения.

А вашингтонские молодые консерваторы?.. Строгие костюмы с хорошо подобранными галстуками, пуговики вниз, волосики на пробор, наследственная "реакционная" мимика... "правые", тут уже не ошибешься, однако то,

что движет сейчас этим направлением ума, а именно отрицание тоталитарного цинизма, роднит наших "preppies" с парижскими бунтарями, да и с нами, изгнанниками.

Ситуация, может быть, слегка прояснилась бы, если бы стало ясно, что ЦК - КГБ не имеет отношения ни к "левым", ни к "правым". Ошибетесь, судари мои, если и к "центру" их отпишете. Они находятся в других измерениях. Казалось бы, это очевидно, однако ситуация не проясняется.

Ситуация настолько темна, что позавидует "театр абсурда". Почему "левые" и "правые", а не "верхние" и не "нижние", не "внутренние" и не "внешние"? Почему мы всегда должны танцевать от печки, то есть от расположения кресел в каком-то старинном зале для заседаний? Может быть, даже забытое сейчас деление на "материалистов" и "идеалистов" внесло бы больше ясности. Пока что свифтовские "остроконечники" и "тупоконечники" спорят, а население спрашивает: где же наши яйца?

С темой "революции" в современном мире ежегодно происходят удивительные парадоксы, трансформации, перевертывание идей, понятий, зрительных образов. Символ левого движения, вдохновенный лик Че Гевары (после пяти рюмочек "дайкири" на борту конфискованной яхты) оборачивается растленной физиономией Муамара Каддафи или кабаньим рылом Иди Амина. Постоянно приходится сталкиваться с тем, что в американском языке с приятной точностью называется blockhead\*\*. Благородное слово "либерал" нынче изрядно испохаблено марксистскими доктринерами. Стыдясь этого слова, левый интеллигент бодро прошагал в область "строительных общественных теорий", от которых за версту разит если не концлагерем, то казармой. В походе этого некогда свободного человека засквозила солдатчина.

Вот, скажем, нобелевский лауреат Габриель Гарсиа Маркес, талант и левак, левее некуда. Левее, если перегнуться, можно увидеть только живот его личного друга Фиделя Кастро.

Нобелевский комитет, награждая и определяя заслуги Маркеса, заявил, что он всегда "политически на стороне бедных", а также "против внутренних репрессий и иностранной экономической эксплуатации".

Казалось бы, как тут не поаплодировать, а про увлечение террористами можно и забыть: мало ли чем может увлечься романист? Хочется забыть... но, увы, вспоминается... экран московского телевизора и на нем Г.Г. Маркес, полный провинциального высокомерия.

- Я дал зарок, - вещал он, - ничего не печатать из своих художественных произведений, пока не падет жестокий режим Пиночета в Чили.

Аплодисменты. Кому приятна военная диктатура? И все-таки, товарищ Маркес, не лишайте человечество столь большого удовольствия, как чте-

---

\* выпускники частных школ.

\*\* тупица.



ние ваших романов. Он улыбается. Дальнейшее показало, что зарок был не так уж тверд.

В те дни десятки тысяч вьетнамских беженцев, "boat people", тонули в море, пытаясь спастись от новых коммунистических хозяев. Весь мир шумел об этом, и Маркес был спрошен московским телевизионным человеком:

- А что вы скажете, товарищ Маркес, по поводу шумихи, раздуваемой буржуазными средствами информации в связи с проблемой вьетнамских беженцев?

(Не исключаю, между прочим, лукавства со стороны советского телевизионщика: они не так просты.)

У Маркеса на лице появляются следы марксистского анализа. Он объясняет советским телезрителям:

- Это естественный процесс классовой революции. Проигравший класс должен исчезнуть, уступить свое место победителям.

Не правда ли, привлекательно звучит эта фраза в устах "политического сторонника бедных" и врага "внутренних репрессий"?

В Москве, помнится, многие тогда дали зарок ничего не читать марковского до падения коммунистов во Вьетнаме. В шутку, разумеется. К чести наших "либералов", надо сказать, что они еще не развили в себе марковской "звериной серьезности".

Все-таки нужно обладать какой-то особенной вульгарностью, для того, чтобы быть настолько заблокированным дешевой и *устаревшей* левой идеей. Увы, иногда такая вульгарность может сочетаться с художественным талантом.

Достоевский сказал, что ради "слезинки ребенка" можно пожертвовать счастьем человечества. Может быть, эта метафорическая "слезинка" как раз и есть то, что отведет писателя наших дней и от левой, и от правой самоцензуры...

### ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ

Недавно мне удалось совершить путешествие в недалекое прошлое, а именно в милое всему нашему поколению десятилетие шестидесятых годов. Увы, это были все-таки не наши, не советские шестидесятые, а здешние, американские, но тем не менее все это было очень близко и даже лирично, напомнило мне поездку в Англию осенью 1967 года и другие поездки на Запад.

Я говорю о массовом празднике с куклами, который каждый год устраивается на холмах Северного Вермонта и называется "Bread & Puppet Show", что, собственно говоря, в переключку с римской традицией означает "Хлеба и зрелищ". Народ сюда стекается со всей Новой Англии, из Бостона, Нью-Йорка и Вашингтона, можно заметить даже машины с номерными знаками далекого Юга и Дальнего Запада. Любопытно, что в толпе слышна не только английская, но и французская речь. Сначала я подумал, откуда

здесь так много французских туристов, потом догадался - это были канадцы из франкоязычной провинции Квебек.

Мы отправились на праздник большой компанией: вермонтский житель, писатель Саша Соколов, его жена Карен, их соседи Барбара и Скип, израильяне Нина и Александр Воронель и мы с женой. Прошу прощения, забыл упомянуть двухлетнего спаниеля по имени Ушик.

Собак вообще было множество, и вели себя они в толпе вполне непринужденно. Еще более непринужденно чувствовали себя здесь крошечные дети. Иные из них ползали нагишом, ибо стояла жара. Собак кормили повсюду. Расползающихся детей передавали из рук в руки поближе к родителям.

В толпе преобладали те, кого очень условно можно обозначить термином "левая интеллигенция". Все напоминало обстановку подобных сборищ в конце шестидесятых и начале семидесятых годов: джинсы, длинные волосы, значки, гитары... Устаревшие идейные хиппи, надо сказать, довольно живучи в США и благополучно соседствуют с безыдейными панками. Молодежь, стареющая молодежь и совсем уже старая молодежь... Очень быстро возникла типичная для подобных ситуаций обстановка естественных, так сказать, отношений. К нашему пикнику подошла девушка и сказала:

- У вас тут, братцы, я вижу очень много пива, а у нас не хватает. Можно я возьму несколько банок?

Периодически приближался некий странствующий рыцарь и запросто, не спрашивая, прикладывался к нашей галлонной бутылки красного вина, одаривая окружающих вслед за тем смутной улыбкой, поблескивающей из зарослей его лица. Хлеб здесь всей многотысячной толпе выдают даром, это традиция праздника, и хлеб, надо сказать, очень вкусный, деревенский, из муки крупного помола. Бесплатно выдается также поджаренная кукуруза.

Праздники эти начались как раз на стыке шестидесятых и семидесятых, когда германский кукольник Питер Шуман осел в Вермонте. За это время его труппа "Хлеба и зрелищ" приобрела даже некоторую международную известность. Они гастролируют и в Европе, и в Латинской Америке, и в Индии, но штаб-квартира их по-прежнему остается на зеленых холмах Гловера, которые образуют здесь как бы естественный амфитеатр, в то время как подступающие к долине роции образуют как бы естественные кулисы.

Когда приближаешься к месту действия и видишь эту долину, и многоцветную толпу, собравшуюся на склонах, и хвостатые флаги, расставленные на шестах, невольно думаешь: вот так в средние века, должно быть, выглядело поле боя перед какой-нибудь битвой Алой и Белой Розы.

Между тем то, что нас ждет, по отношению к войне носит совсем противоположный характер. Кукольные представления в Вермонте - это грандиозная пацифистская демонстрация. В устройстве ее принимают участие такие американские пацифистские организации, как "Корни травы", "Зеленый мир", да и сама труппа Питера Шумана известна как активная пацифис-

стская колонна. Согласно раздававшимся информационным листочкам они как раз планировали серию выступлений в Европе против размещения там "першингов" и "крузов".

Вначале была чисто развлекательная, идеологически ненагруженная программа. Римский цирк - император, патриции, рабы, гладиаторы, дикие звери, пляски масок, кувыркания, песнопения, смешные декламации. Долина обладает удивительными акустическими качествами - без всяких микрофонов немудрящие тексты разносились по огромному пространству.

Затем, когда солнце стало уже склоняться к холмам, началось основное, антивоенное действо. Из леса появилась процессия в белых одеждах. Она несла огромную, этажа в три, куклу, символизирующую как бы солнце, то есть мирную жизнь. Кукла была установлена в центре амфитеатра, и вслед за тем фигурки в белых штанах и рубахах как бы улетали в соседнюю рощу. Из-за холма появился и спустился в ложбину большой духовой оркестр, тоже все в белом. В округе разлилась мирная деревенская музыка, и на проселочной дороге появилась другая процессия, несущая гигантскую супружескую кровать. В кровати, оказалось, возлежат Дед и Баба, трехэтажные мирные пейзажи. Мало-помалу эти фигуры-символы стали подниматься из кровати и двигаться к центру долины, где белые фигурки уже устанавливали огромный стол, стул для Бабы и кресло-качалку для Деда. Засим появился чугунок, величиной с избу, в котором Баба начала варить Суп. Фигурки, танцую, изображали картошку, лук, перец, порей, петрушку, пастернак, помидор, капусту и т.д. Все было мирно и чудно, когда началось нечто зловещее - вторжение абсурдных сил милитаризма. Из леса вывели стилизованное чучело сверхзвукового истребителя-перехватчика, верхом на котором сидел стилизованный человек-робот, военный бандит. Вспомнилась боевая советская песня тридцатых годов:

Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится,  
Тяжелый танк не проползет, там пролетит стальная птица.

Символ войны приблизился к символу мира и вторгся в мирную жизнь. Самолет и летчик разговаривали друг с другом неразборчивыми машинными командами на непонятном языке. Задним числом это напомнило демонстрировавшиеся в Совете Безопасности пленки электронного прослушивания, на которых ночные мазурики, пилоты SU, принимают команду сбить пассажирский самолет с двумястами шестьюдесятью девятью мирными людьми на борту.

От вторжения милитаризма Дед заскучал, а потом упал носом на стол, как будто от хорошей бутылки самогона. Баба тоже отключилась, и Суп (с большой буквы) протух. Наивно, но убедительно, ничего не скажешь. Стальная птица продолжала разговаривать сама с собой, никаких эмоций не выражая. В этом, кстати говоря, видна характерная черта современных агрессоров: захватывая какую-нибудь очередную страну, они даже как бы и не радуются, как будто знают заранее, что на пользу не пойдет.

Злодеяние завершилось как раз перед заходом солнца, но вот, едва оно закатилось за круглые холмы, в ранних сумерках появились легкокрылые посланцы доброй воли - правильно, голуби мира! Один из них, как бы походя, сунул под стальную птицу толику огня, и чудовище сгорело, крикая, ухая и все еще продолжая отдавать механическим голосом команду самому себе.

Сумерки еще сгустились, и тут начался апофеоз - ленты, шары, светящиеся мотыльки. Проплыл торжественный Ковчег, символ спасения человечества.

Толпа побрела к своим бесчисленным автомобилям, запаркованным на несколько миль в округе. Все были довольны - и воздухом подышали, и искусством насладились, и сами были как бы участниками какого-то старинного действия, и посильный вклад внесли в дело предотвращения войны. Мы смотрели вокруг - неплохие в самом деле лица: ни жадности, ни хитрости, ни лукавства не написано на них. Скин и Барбара встретили одного знакомого из труппы "Бред энд паппит", молодого бородатого паренька. Паренек был возбужден. "Скоро едем в Европу протестовать против размещения "першингов" и "крузов", - сказал он. "А против других моделей ракет вы не собираетесь протестовать?" - спросили мы его. Он несколько смешался, но потом сказал, что протесты против восточных типов ракет - это дело восточной общественности. "Мы на Западе протестуем против западного милитаризма, а восточная общественность протестует против восточного милитаризма, - сказал он. - В Советском Союзе тоже существует большое движение сторонников мира". Мы посмотрели на его славное лицо и подумали, что от идеализма такого рода в наши дни уже пахнет какой-то мерзостью. "Дорогой Ник, вы смело можете считать советское движение сторонников мира частью вашего западного движения сторонников мира, потому что оно никогда не протестует против восточных ракет и ядерных боеголовок, а только лишь и всегда против западных ракет и боеголовок".

Ник был поражен. Неужели в Советском Союзе не существует независимого пацифизма? Мы тоже были несколько удивлены. Что же вы, Ник, дружище, газет не читаете? Ничего не знаете о "Группе за установление доверия", которую осмелилась организовать московская молодежь вне рамок тоталитарного и целиком подчиненного ведомству пропаганды Совета мира? Ничего не слышали, как навалилась на них каменным брюхом советская политическая полиция, как в течение короткого времени из полтора десятков основателей несколько человек оказались в "психушке", несколько в тюрьмах, иные принуждены были "раскаяться", иные эмигрировать?

Молодой человек был обескуражен и подавлен. "Неужели никогда в Советском Союзе не было вот такого, как наше, независимого от правительства "ралли"?" - спросил он.

Не нужно было особенно напрягать память, чтобы ответить на этот вопрос. Независимые от правительства "ралли" и митинги в Советском Союзе немислимы, как цветы на Северном полюсе.

Вдруг кто-то из нас воскликнул: "А ведь было однажды! Вспомните, братцы, сентябрь 1974 года и парк Измайлово!" И мы все вспомнили тут немыслимое событие в жизни Москвы, день, пробудивший столько надежд и вдохновений.

Тогда, после знаменитой "Бульдозерной выставки", на которой комсомольские дружины под охраной милиции жгли картины художников-неконформистов, а бульдозеры в лучшем стиле сталинских танкистов наступали на зрителей, власти вдруг уступили и разрешили независимую выставку на поле служебного собаководства в парке Измайлово.

Стоял блаженный день бабьего лета, и несколько тысяч человек - неофициальная артистическая Москва - собрались на зеленых холмах, слегка напоминавших вот эти вермонтские, чтобы смотреть картины, шутить и ободрять смельчаков-художников.

Незабываемый день. Больше он никогда не повторился. Сейчас по крайней мере половина тех художников, устав от бесконечного тупого преследования, переселилась за границу, да и из толпы, наверное, треть отправилась туда же. И все-таки нельзя забыть то удивительное состояние доверия и надежды, что царило тогда в Измайлово.

Вот это, пожалуй, и был единственный истинный акт в защиту мира в Советском Союзе, сказали мы Нику, хотя на нем не упоминались ни атомные бомбы, ни ракеты. Что же касается всех этих тщательно разработанных и обеспеченных целой армией стукачей и агентов маршей, митингов и велопробегов, то они направлены на совсем противоположные цели - перехват пропагандистской инициативы и в конечном счете обман.

Вермонт... пейзаж... лица... что я могу этим людям доказать? Парадокс в том, что без их присутствия Америка не была бы Америкой.

### *ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"*

1980

Бойфренд Бернадетты, агент страховой компании Рэндолф Голенцо, прослышав о новом жильце, задумался о России, которую - он знал это достоверно - называют еще Советской Грузией. "Это страна огромной мощи, она расположена между Китаем и Германией. Не все русские - грузины, моя дорогая. Грузином был Никита Хрущев. Грузины - это элита страны, вроде как наши "осы" (WASPs)\*. Но жалят сильнее, ха-ха-ха! В своих партийных синагогах они уже целое столетие обсуждают вопрос о грузинофикации Африки. Наивные люди возмущаются оккупацией Афганистана, но я не поручусь, что этот вопрос не был окончательно решен на совещании в Атланте, моя дорогая".

---

\* Игра слов: аббревиатура, обозначающая "белые англосаксонские протестанты", совпадает по написанию со словом "осы".

Водопроводчиком и надзирателем холодильных установок в "Пацифистских палисадах" работает беглый вьетнамский генерал Пхи весом не более ста фунтов. Гирлянда ключей и отверток побрякивает у него на поясе, который он носит по-ковбойски, на бедрах. Бернадетта Люкс сочувствует генералу. "Маленький Пхи отступал с оружием в руках", - говорит она своему Рэнди. Тот явно ревнует. "С оружием в руках надо наступать, ханни".

Часто можно видеть генерала в вестибюле возле стилизованного глобуса. В задумчивости он вращает миниатюрным пальчиком это чучело нашей планеты. Внимание его сосредоточено на Арктическом бассейне, что отчасти понятно.

Нельзя сказать, что окопавшийся в "Пацифистских палисадах" ГМР не сталкивается с жизнью "реальной Америки". Сталкивается ежедневно и ежедневно черпает определенную "пищу для обобщений". Вот несколько примеров.

...Однажды утром сосед Robert Redford-look-alike\* сказал своей жене Victoria Prinsipal-look-alike: "Всем ты хороша, дорогая, но запах изо рта у тебя невыносим. Ну-ка, прими таблеточку "Клорет". Видишь, действие мгновенное и надежное. Теперь твой ротик пахнет ароматом экзотических цветов, как тогда на Бермудах. Задерни шторы".

...На паркинге после делового дня сталкивается соседка Linda Evance-look-alike с соседкой Joan Collins-look-alike. "Вы что-то выглядите утомленной, душечка". - "Ах, слишком напряженный день. Сначала, разумеется, мой босс, потом двое приехали из Огайо, за ленчем встретился партнер по теннису, а после работы я нередко заезжаю к французскому кондитеру..." - "Ах, душечка, вы устаете оттого, что не пользуетесь тампонами Freshcotton. Взгляните на меня - я совершенно свежа после семи "аппойнтовменов!"

...Смеркается. Обитатель пентхауса Burt Lancaster-look-alike со своим "лонг дринком" на своем балконе. Ласково, пожалуй, даже нежно, посматривает в глубь спальни, где его жена Schirley McLain-look-alike убагцовывает дивное лицо свое благоуханным кремом Oil of Ole. "Время подчиняется этой тайне, - думает он. - Жаль только, что я сам не могу приобщиться к этой благодати".

...Пара холостячков бодро, как мальчики, встречаются поутру. "Все в порядке, Даг?" - спрашивает Burt Reynolds-look-alike. "Все в порядке, Стив! Сначала, как всегда, чесалось по-страшному, а после того, как последовал вашему совету с этим дивным Ргер-Н\*\*", все сошло, готов к новым подвигам!"

---

\* Точная копия Роберта Редфорда. Здесь и далее названы имена знаменитых американских актеров.

\*\* Мазь от геморроя.

...Торговец автомобилями Lee Iacocca-look-alike по пятницам впадает в какое-то странное состояние.

- Все распродам по дешевке, когда я в таком странном состоянии! - кричит он.

- Ты нас разоришь, когда ты в таком странном состоянии! - кричит супруга.

- Не исключено! - ревет он. - Спешите покупать мои автомобили, когда я в таком странном состоянии!

1955

Кронштадт, морская пехота

Морская крепость. Склянок звоны.

Гудит стальной левиафан.

Забыты дни, когда с амвона

Взывал Кронштадтский Иоанн.

Собор вместил дворец культуры,

Программу просвещения масс,

И гарнизонные амуры

Гнездятся в помещеньях касс.

Афиш парад под вечер мглистый.

Любитель знаний входит в раж.

Вот лекция "Имперьялисты

Готовят атомный шантаж".

Обзор успехов Казахстана...

Животный мир полярных вод...

Певец приехал Глеб Романов,

Лауреат и патриот.

Седьмая рота Экипажа

В награду за большой успех

Черна, как утренняя сажа,

Парадом претя в зал потех.

Эх, зарубежной песни ноты!

Певец поет, как патефон.

Про то, что "беби" без работы

Паучьим долларом пленен.

Седьмая рота Экипажа,

К седьмому небу воспаря,

Забыв казарменную лажу,

Сосет водяру втихаря.

Сей культпоход за доблесть плата,

За службу верную, без дум,

За усмирение штрафбата

Крутыми пулями "дум-дум".

Здесь к покаянию с амвона  
Весь мир священник призывал,  
Но гвардии матрос Семенов  
Про это дело не слыхал.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В июне 1981-го мы снова собрались в путь и снова через всю страну, своим ходом - из Лос-Анджелеса в столицу нации. Срок моей "резиденции" в Южно-Калифорнийском университете истек, а тут как раз Институт Кеннана при международном центре Вудро Вильсона пригласил на годичный "феллоушип".

Честно говоря, мы уже устали от скитаний. Хотелось осесть, можно было найти какой-нибудь заработок и в Калифорнии, однако мы почему-то даже и представить себе не могли, что останемся насовсем в этом блистательном городе, где "ягуары" и "роллс-ройсы" столь же заурядное явление, сколь мотоциклы в Москве или сколь норковые шубы в Нью-Йорке, последние в свою очередь столь же в ходу, сколь кроликовые "под ондатру" шапки в Новосибирске, которые там так же привычны для глаз, как, скажем, велосипеды в Пекине, встречающиеся в этом городе, конечно же, не реже, чем "ягуары" и "роллс-ройсы" в Лос-Анджелесе; благодарю за внимание к этой замысловатой фразе.

Помимо глубинных эмоций вроде упомянутой уже "городской ностальгии", было нечто и более поверхностное, что отвлекало нас на Восток. Станным образом в этом городе (Лос-Анджелесе), где аккумулировано немало творческого потенциала, возникло ощущение отрыва от культуры, да и вообще от современной жизни. В 1975 году, когда я попал сюда впервые и ненадолго, я был увлечен мифологией Южной Калифорнии, не успел заметить ее реальности. После нескольких месяцев быта я стал ловить себя на том, что всячески стараюсь избежать прискорбной мысли - "живем в глубинке".

Даже кинообщество не убедило нас в обратном. Случайно попав два-три на голливудские "парти", мы были удивлены какой-то странной томительной деловитостью собравшегося артистического народа, которому вроде бы полагалось быть легким, раскованным, "заводным". Где же весь этот голливудский карнавал? Даже эрос как будто был отчужден от этих сборищ. В глазах читался один лишь немой вопрос - бюджет.

В таких случаях, впрочем, всегда стараешься себя убедить, что ты не на ту "парти" попал, не на основную, что основные дела где-то идут своей дорогой. Я уже говорил о том, как трудно в Америке сшить подушку из обобщений. Не сошьешь себе подушки и из Лос-Анджелеса.



Так или иначе, собрались в дорогу и двинулись. Двинулись и пересекли: Калифорнию, Аризону, Юту, Колорадо, Канзас, Миссури, Иллинойс, Огайо, Западную Виргинию и Мэриленд. Пересекли и прибыли - в неотмеченный звездочкой на флаге дистрикт Колумбия. Въезжая сюда, мы еще не предполагали, что наша американская цыганщина завершается, что именно здесь мы и поселимся с претензией на оседлость.

Майя родилась в Москве, а я двадцать пять лет жил в столице, прежде чем меня из нее выгнали. В Лос-Анджелесе нам говорили: только не думайте, что Вашингтон - настоящая мировая столица. В некотором смысле это просто небольшой южный город. Сочувствуем от всей души, целый год провести в такой глухомани.

Не без содрогания мы представляли себе место, которое выглядит глухоманью по сравнению даже с вымершими улицами Лос-Анджелеса, на которых слышится лишь шорох тысячных шин, да из окон доносится бульканье "джакузи"\*.

Как ни странно, мне понравился Вашингтон с первого же дня. Какой-то комплексочек из эмигрантского букета комплексов был удовлетворен. Уж не столичный ли призыв, не причастность ли к империи?

Иные московские друзья плавают, как трепанги и каракатицы, в болотной воде нью-йоркского Сохо. Что касается меня, то я всегда подозревал в себе нехватку богемности. В официальных кварталах Вашингтона я вдруг обнаружил странную гармонию, которой мне как раз не хватало.

"Может быть, тебя тоска грызет по родной империи?" - спросил нью-йоркский приятель. В перспективе сбалансированных современных контуров мне нравилось увидеть готику Святого Доминика. "Родную империю" это как-то мало напоминало. "Родная империя" скорее предпочла бы развалиться, чем поставить между своими министерствами и святынями абстрактные скульптуры, иные даже загадочно двигающиеся с некоторым застенчивым призывом к философскому восприятию жизни, то есть к отказу от безобразных имперских претензий.

Любопытно развивалась в Вашингтоне наша "городская ностальгия". В поисках жилья мы поначалу отвергли престижный Джорджтаун. Викторианские домики нам тогда еще ничего не говорили. Мы поселились на Юго-Западе. Что ж, это разумно, говорили нам наши здешние друзья, разумно с точки зрения близости к Вильсоновскому центру. В самом деле, разумно, когда ищут жилье поблизости от Вильсоновского центра, хуже, когда Вильсоновский центр находят по принципу близости к дому. Задним числом, однако, мы поняли, что нашли этот район по принципу его безликости, то есть по принципу его похожести на иные жилые районы Москвы. Мы даже стали называть этот район на советский лад "Звездным городком", так он напоминал офицерское поселение под Москвой, где обитают космонавты; мно-

---

\* Водяное устройство для массажа.

гоквартирные дома, чистые пустые улицы, клумбы, эдакая функциональная жилая зона.

Круг вашингтонских знакомых тоже напоминал нам московскую жизнь: дипломаты, журналисты, специалисты по славистике и по изучению Советского Союза, то есть как раз те, кого мы у себя дома привыкли называть "американцами" или "иностранцами". Русские эмигранты, между прочим, во всех странах рассеяния полагают коренное население "иностранцами". С комплексом великой нации самих себя вообразить чужеродным элементом - выше всяких сил.

В Вашингтоне, пожалуй, больше, чем где бы то ни было, американцев, говорящих по-русски. людей, тем или иным образом связанных с "русской темой". В обществе принято даже щеголять русскими словечками (как в Москве английскими), вставлять в разговор разные "mezhdy rochim" или "chudesno". Обозреватель Стив Розенфельд в статью о текущей политике, напечатанную в "Вашингтон пост", вставил красивое слово "задница", набранное кириллицей. Без преувеличения можно сказать, что это был праздничный день для всех русских читателей этого влиятельного органа.

На вашингтонских "парти" иной раз происходили удивительные встречи. Высокий дипломат вдруг обращается, словно старый московский приятель:

- Привет, Вася! Помнишь 1966 год?

- Помню, помню, это как раз тот самый, что наступил после 1965-го и закончился 1967-м?

- Неужели ты не помнишь, как в 1966-м весной мы пошли большой компанией на пасхальную службу в Новодевичий монастырь, а за нами все тащился бородатый субъект, и мы называли его к-г-битник?

Памятный год занимает свое место, и выплывает имя старого приятеля - Билл, сколько лет - сколько зим! Бесконечные "парти" наших первых месяцев в столице почти слились в одну сплошную "многопартийную систему". По гостеприимству вашингтонцы бьют даже калифорнийцев и приближаются к Грузии со столицей в Тифлисе (не путать с Атлантой). Грузинские же хлебосолы еще в отдаленные времена покорили меня заздравным тостом:

- Выпьем за нашего знаменитого писателя Напомни-Мне-Свою-Фамилию-Дорогой!

Вашингтонцы пока что постоянно напоминают друг другу, что они живут в столице нации, однако город развивается столь энергично, что вскоре, вероятно, не будет нужды в этих напоминаниях. Пока что близость Нью-Йорка придает теме "столичности" некоторую особую чувствительность. Однажды на большой "парти" общество было озадачено, когда один из гостей сказал, что на его вкус Нью-Йорк провинциален в сравнении с Вашингтоном. Ну, это уж слишком, сэр, попытались было урезонить дерзкого вашингтонца. Нью-Йорк все-таки мировой перекресток, там вся наша литература, весь театр, там рождаются моды, там все кипит... Дерзкий вашингтонец только лишь улыбался: скоро все поймут, что я имею в виду...

Соперничество двух столиц - знакомая русскому тема. Москва и Петербург долгое время были непримиримы. В 1905 году московские миллионеры даже подняли восстание (известное теперь как первая русская революция) против петербургских аристократов. Восстание было подавлено гвардейскими полками, но соперничество не прекратилось. Большевики предпочли Москву, поскольку она подальше от границы. Помпезность великого византийского города соединилась с крикливой безвкусицей коммунистического самовосхваления. Нынче, впрочем, многие ученые считают, что обратный перенос русской столицы из Москвы в Петербург неизбежен.

В Америке, к счастью, до таких метаний дело не доходит. Спор идет, как я понимаю, лишь о переносе столичного настроения.

В Вашингтоне на самом деле есть места, где напоминаний - не напоминаний, все равно не поверишь, что находишься в столице Америки, а стало быть, и всего "свободного мира", а стало быть, и всего современного человечества. Полуразвалившиеся низкие домишки, свисающие над ущербной мостовой вялые ветви пыльных деревьев... пыльный ржавый блюз Богом забытого Юга... Все это, однако, отодвигается все дальше и дальше от сердца города, уступает место новой столичной архитектуре, столичному ритму, меняющему даже походку горожан.

Изменения происходили на наших глазах. В даунтауне выростали дома с зеркальными стенами. Вдруг исчезали целые районы трущоб. Прибрежный район Джорджтауна день за днем превращался в стильный, полный какого-то особого, может быть, даже приключенческого духа "плейграунд" наподобие Гринвич Вилледж (только лучше) или Латинского квартала (пока еще хуже). Вокруг "Дюпон-серкла" плодились кафе парижского стиля со столиками на тротуарах.

На глазах менялся и образ жизни города. Объехав много американских городов, могу сказать, что в Вашингтоне нынче самая оживленная уличная дневная и вечерняя жизнь. Как-то мы оказались после десяти вечера в даунтауне на перекрестке М-19 вместе с поэтом Биллом Смитом. Билл несколько лет назад жил в Вашингтоне, будучи штатным поэтом при Библиотеке Конгресса. Теперь он стоял на перекрестке и разводил руками. Не могу узнать этот город. В прежние времена по ночам тут только кошки бегали, да изредка темные тени появлялись и прятались, боясь друг дружку. А сейчас, позвольте, да это же просто Сен-Жермен де Пре...

И впрямь, по проезжей части двух улиц медленно двигался поток машин, по тротуарам поток людей. Все столики в открытых кафе были заняты, а в singles-bar "Rumours"<sup>\*</sup> стояла большая очередь молодежи. Это местечко, где еще недавно мухи дохли на лету от скуки, стало настолько популярным, что открыло филиал несколькими кварталами ниже. Между главными "Слухами" и дополнительными, минуя десятки других ресторанчиков, курсирует "шатл".

\* Бар для неженатых и незамужних "Слухи".

В принципе достаточно построить в городе хоть одно здание с такими острыми углами, как у восточного крыла Национальной галереи, чтобы в нем стала расцветать космополитическая столичность.

Не хватает еще своих Елисейских Полей, но и они на подходе: завершается реконструкция Пенсильвания-авеню - плиточные тротуары, фонтаны, стекло, реставрированная старина вроде Старой городской почты или отеля "Виллард".

Для парадов достаточно будет места, но вот удастся ли вдохнуть в эту улицу, столь великолепно завершающуюся Капитолием, "елисейскую" жизнь, - это пока что под вопросом.

Пока что можно сказать, что от прежнего провинциализма в Вашингтоне в основном остался только его отвратительный климат, провинциально липкая влажность воздуха. Увы, для столицы в свое время была отведена самая влажная, глухая и заросшая часть нового континента. Может быть, и в климате теперь прибавится космополитического ветерка.

Разумеется, все в Вашингтоне пахнет политикой, даже чужак очень быстро улавливает ее запах. Среди "джогтеров", трясущих вдоль Мола, нет-нет да замечаешь лица TV-звезд, политических комментаторов и конгрессменов. Деятели такого масштаба в Москве без штанов не увидите: они предпочитают перемещаться в лимузинах с задернутыми кремовыми шторами окнами. Любопытно наблюдать, как в толпе перед концертом в Центре Кеннеди происходят политические перемещения. Второй помощник, скажем, третьего подсекретаря элегантно дрейфует по направлению к старшему заместителю младшего менеджера. В китайском ресторане за соседним столиком вы рискуете услышать разговор об экономических санкциях против режима Ярузельского. На "парти" в джорджтаунском доме разговор может легко соскользнуть на сравнительную стоимость американского танка (в рублях) и советского (в долларах). В этом последнем случае к вам обязательно обратятся как к эксперту, и вам ничего не останется, как посоветовать интересующимся джентльменам либо взять на вооружение курс черного рынка, где за один доллар идет четыре рубля, либо пересчитать сравнительную стоимость танков по стоимости джинсов.

Таков этот город. Вот дом, где обсуждают полеты Space Shuttle, вот дом, где печатают доллары, вот дом, где все эти доллары считают, вот отель, ночной сторож которого может записать на свой счет захват трех стран и избиение коммунистами одной трети населения Камбоджи, вот стена крупной каменной кладки, прижавшись к которой подозрительный "Ромео" новой формации ждал президента...

My God, катя по фривею, ты видишь дорожные знаки "Пентагон" или "ЦРУ". В Советском Союзе этими словами пугают детей, а здесь это всего лишь выходы с фривея.

## СОСЕД

Жизнь в Америке развивает в человеке особого рода дух соседства, связанный, очевидно, с пилигримской традицией, с форпостами европейцев на незнакомом континенте. Вот и я научился симпатизировать тем, кто живет поблизости. Есть тут у меня сосед, можно сказать, притча во языцех по всему миру. Повсюду его вспоминают, и не всегда добрым словом: несдержан, мол, на язык, жестковат, ничего, мол, удивительного - ковбойское прошлое. Мистеры Г. и Ч. в отдаленных краях, те так просто ярятся при его имени. А вот для меня он прежде всего сосед, а это важнее всего остального.

Вот иной раз под вечер некая Морин Баньян, особа известная в околотке тем, что ежедневно в 6 часов рассказывает "что, где, как, зачем", но никогда не говорит "почему", то есть не обобщает, сообщает про нашего соседа, что он только что вернулся из очередного путешествия. Сосед выходит из самолета и первым делом смотрит, откуда на него направлена кинокамера; профессиональная привычка - вторая натура. Мы с женой, конечно, как и все остальные обыватели, пытаемся сделать выводы - еще больше постарел или еще глубже помолодел? Сосед никогда не забудет бросить на ходу по дорожке от самолета до вертолета пару оптимистических фраз; вот этим он мне определенно нравится.

Мы едем в кино по улице Конституции, а он как раз перелетает эту магистраль по направлению к своему дому. Живот его вертолета скользит над нами, а если вовремя загорится красный свет, можно увидеть, как летательная машина садится на зеленую траву возле белых колонн. Сосед выходит, салют всему миру, и домой - на боковую! Работа у него нелегкая, но "лаун" перед домом, надо признать, всегда в хорошем состоянии.

Вопрос такого соседства, как ни странно, весьма интересует моего московского друга, внутреннего эмигранта Фила Фофановфа, с которым мы переписываемся из Москвы в Вашингтон и обратно посредством почтовых голубей.

Знаешь, пишет мне Фил, мой сосед очень зол на *твоего* соседа. Понимаешь ли, он разолился сразу же после того, как твой сосед перешел в нынешний дом, что нынче по соседству с тобой, и заявил во всеулышание, что мой сосед всегда все врет, что ему нельзя верить на слово, что он резервирует за собой право на любое хамство. Такого раньше про моего соседа никто не говорил (странно, неужели не замечали?), и потому он ужасно обиделся, как будто был оскорблен в лучших чувствах, и теперь всему миру несет, что твой сосед - грубый, нехороший человек, реакционер.

Мы здесь, в Москве (надеюсь, не забыл) привыкли к тому, что нас уже давно и стойко тошнит от нашего соседа. Как еще относиться к тому, кто вечно вваливается в твою личную жизнь и командует, какую картину на стенку повесить, какую книгу читать, а какую нельзя, каких гостей принимать, а каким от ворот поворот. А вот скажи, Василий, как обстоит дело в Америке, где, как ты говоришь, столь развит дух соседства?

Мне мой сосед, отвечаю я другу, вообрази, Фил, совсем не мешает.

Ну, хорошо, пишет Фофановф, внутренний советский эмигрант, а не мешает ли тебе этот "дух соседства" смотреть на твоего соседа критически? Замечаешь ли ты, например, что он довольно жилист, довольно стар?

Эх, признаюсь, отвык я уже от московской диссидентщины. Что ж, отвечаю, Фил, готов признать, что мой сосед немолод и довольно морщинист, и пуля у него побывала в боку, однако на лошади, смею уверить, скачет он довольно лихо.

Проходит первый вашингтонский год, и мы все больше убеждаемся, что этот город в нашем вкусе. Мы оставляем наше временное пристанище на Юго-Западе и переезжаем в более постоянное, в двухэтажный пентхаус на холм Адамс-Морган с видом на крыши столицы. Вся американская демократия перед нами - Капитолий, Монумент Вашингтона, памятник Линкольну. Лучшего места не найти для созерцания фейерверков 4 июля.

Что ж, говорим мы себе, ничего особенного не произошло: как жили в столице, так и живем в столице, в самом деле ничего особенного, просто-напросто - Capital Shift\*.

#### FLAG TOWER (ФЛАГ-БАШНЯ)

Смитсоновский замок в центре Мола не показался мне незнакомым. Он, очевидно, относится к тому типу зданий, что застревают в памяти при разглядывании почтовых открыток и туристических буклетов, хоть и не обращаешь на них особого внимания. Я только лишний раз подумал о поворотах судьбы: если бы мне сказали еще пару лет назад, что я буду здесь работать, да еще и сидеть в главной башне этого странного сооружения, идея показалась бы мне не менее вздорной, чем предложение написать роман в Спасской башне Кремля.

В Вильсоновском центре работают ученые и писатели со всего мира, каждому здесь дают кабинет, пишущую машинку, помощницу для исследований и достаточное количество долларов для умеренного пропитания во время работы. Народ трудится, спектр тем широк: ну, например, "Зависимость колебания цен на табак в Австралии от устойчивости цен на рис в Бразилии" или "Сравнение общественного поведения и моды молодежи в России шестидесятых годов прошлого века с шестидесятыми годами этого века в Америке". Иной раз попадают в научную среду и романисты, привносящие в исследовательский процесс еще большую иррациональность. Я, например, подал заявку на проект под названием "Бумажный пейзаж", роман о том, как под влиянием бумажных делопроизводств у жителя советской империи Велосипедова, помимо его физического тела, его астральной сути и его души, возникло еще четвертое, *бумажное* тело, которое и расположилось в кулуарах бумажного пейзажа. Явившийся с таким проектом в науч-

---

\* Смена столиц.

ное учреждение в принципе не должен ни удивляться, ни обижаться, если ему укажут на дверь. Вместо этого меня отправили в башню: терпимости американского академического мира нет границ.

В этом узком сооружении с часами и флагом один над другим располагались три офиса. Мой был в середине, подо мной сидел француз, надо мной китаец. Я не знал, о чем они пишут, но предполагал, что что-нибудь близкое "Бумажному пейзажу", что-нибудь о построении социализма во Франции и капитализма в Китайской Народной Республике.

Передвижение вверх и вниз осуществлялось при помощи древнего лифта с раздвижными дверцами. Сидящая у подножия башни Лиз Диксон уверяла, что это самая надежная машина в своем роде, однако каждый раз, поднимаясь на лифте в свой офис, я думал о ядерной войне. На всякий пожарный случай в полу каждого офиса и соответственно в потолке каждого нижеследующего был проделан люк, то есть в случае ядерной войны китаец должен был свалиться мне на голову, а потом мы с ним вместе на голову французам.

Шутки в сторону, год, проведенный в Институте Кеннана при Вильсоновском научном центре, оказался приятным, плодотворным и интересным. Замечательно находиться там, где ты никому не жмешь на мозоль, где и тебя никто не теснит, приятно быть целый год в обществе милых, интеллигентных людей, в меру любопытных, но никогда не нахальных, привыкших к космополитической пестроте вокруг и к звучанию имен, диковатых англоуму персоналу.

С директором центра историком Джимом Биллингтоном мы были, как ни странно, знакомы уже шестнадцать лет. В 1965 году в тридцатиградусный мороз в Москве появился высокий краснощекий профессор в тонком черном пальто, оксфордском шарфе и светлой кепке, которую он называл "всесезонной" и которая, кажется, и в самом деле подходила для всех сезонов, кроме текущего.

Морозный пар сопровождал наши прогулки по Москве. Я отдал Джиму одну из своих бесчисленных меховых шапок, он подарил мне свою кепку. Уезжая, он показал мне большой чемодан и сказал, что там лежит рукопись его капитального труда по истории русской культуры "Икона и топор". Чтобы не быть голословным, он открыл чемодан и вытащил ворох страниц. Порыв морозного ветра вырвал ворох из его рук и закружил в воздухе над памятником основателю научного коммунизма Карлу Марксу. Мы прыгали с Джимом, пытаюсь спасти труд, вырвать его из пасти безжалостной русской зимы. Марджори Биллингтон и трое маленьких детей с интересом следили за этой, пожалуй, символической сценой.

Любопытна судьба головного убора, который я в духе того десятилетия называл "Всепогодной Кепкой имени Джеймса Биллингтона". В самом начале Пражской весны, когда только-только еще началась капель с крыши, я подарил ее пианисту в пражском баре "Ялта" - очень уж хорошо играл. Пианист подарил ее скандинавскому саксофонисту, тот кому-то еще, кепка

побывала в нескольких странах, прежде чем вернулась ко мне в Москву с запиской от японского борца дзюдо. Потом ее сорвало у меня с головы ураганном ветром на острове Сааремаа в Балтийском море.

Ни Джим, ни Марджори за истекшие шестнадцать лет не постарели, а вот трое их детишек подверглись сильному воздействию времени, превратившись в высоких и умных студентов.

Институт Кеннана при Вильсоновском центре занимается "продвинутым изучением России и Восточной Европы". Три комнаты и библиотека с овальным столом; в наличии все эмигрантские и советские издания. Чтение "Правды", как сказал парижский писатель Виктор Некрасов, - это хорошее лекарство от ностальгии. Еще лучшее средство от этой напасти - визиты советских научных гостей и дипломатов с их скованными осторожными повадками. Один из них, мой в прошлом неплохой приятель, сидел на семинаре в двух метрах от меня, однако не замечал меня до такой степени, что я даже стал ощущать некоторую бесплотность.

Директор Института Кеннана в тот год, профессор Глисон, что ни неделя, собирался в дорогу, "поднимать фонды", иными словами, кланчить деньги. Это довольно привычное для любого американского начинания дело оказалось для меня сущим сюрпризом. В СССР выпрашивание денег представляется, разумеется, делом зазорным. Впрочем, там и кланчить-то не у кого, только лишь у государства. Разветвленная система частных фондов, грантов, пожертвований - явление совершенно необычное для пришельца из СССР, и я, честно говоря, не без изумления наблюдал, как иные из бывших соотечественников быстро к этому явлению приспосабливались.

В мою бытность в Вильсоновском центре мир социализма был представлен двумя персонами, причем обе были окружены какими-то облачками двусмысленности. Одна из персон, профессор Варшавского университета, после военного путча в декабре 1981 года, пребывал в некоторой растерянности - кем себя считать, по-прежнему обычным визитером или политическим эмигрантом.

Второй соцперсоной был мой сосед по Флаг-башне, видный работник министерства иностранных дел КНР. Что с китайцами нынче происходит - ума не приложу! Вчерашние "синие муравьи" азиатского коммунизма цивилизуются в темпе "Великого скачка". Своего соседа я впервые увидел на коктейле. Облаченный в элегантный костюм от "Братьев Брукс", он с конфуцианской невозмутимостью попивал шерри "Бристольские сливки". Директор представил ему меня и заметил, что я был лишен советского гражданства за мои книги. Похоже, что он ставил некоторый эксперимент: проверим, мол, какова будет реакция китайца. На невозмутимом лице соцперсоны появились следы благородной эмоции. Дипломат и, конечно, крупный партиец, он выразил мне сочувствие, а попутно и недоумение в связи с бессмысленным актом, словом, он повел себя так, будто у него за плечами Британский парламент или по крайней мере Российская Государственная Дума третьего созыва.



Ритуал распития шерри в "Ротонде" - составная часть вильсоновского процесса. Ежедневно в полдень сотрудники и коллеги - "феллоуз" - собираются здесь, образуя более-менее кругловатую (что более-менее естественно для "Ротонды") толпу. В центре этой сравнительно круглой толпы имеется отчетливо круглый столик, на нем - бутылки шерри и пластиковые стаканчики.

Русский ученый-эмигрант, случайно оказавшийся на одном из таких сборищ, в изумлении спрашивает меня, что все это означает. "Час шерри", - отвечаю я и на правах старожила объясняю новичку британскую традицию употребления напитка шерри.

"Вот так они доупотребляются шерри", - с философским пессимизмом вздыхает бывший советский специалист. Еще недавно он работал в каком-то институте АН СССР и исправно посещал партсобрания, на которых шерри явно не подносят, а теперь крепче антикоммуниста не найдешь. "Вот так они доиграются!" - продолжает он. - В такое тревожное время, когда тоталитаризм надвигается на нас отовсюду, они стоят себе, болтают и попивают шерри". Успокойтсь, судзьрь, увещеваю я его, ведь это в самом деле всего лишь маленькая традиция, далеко не столь существенная, как первомайская демонстрация трудящихся СССР. Кончится час шерри, и вся компания немедленно разойдется по кабинетам чистить дедовские карабины. Тоталитаризм не пройдет!

Надо сказать, что критиканское и даже несколько пренебрежительное отношение к американской академической жизни имеет хождение среди эмигрантов-интеллектуалов, особенно среди тех, которым еще недавно за железным занавесом все американское казалось образцом экстра-класса.

Я говорю в данном случае о славистике и об изучении политики Советского Союза и коммунизма. Иные эмигранты думают, что американцы "ни черта не понимают", что они "дико наивны", что у них даже не хватает сообразительности прислушаться к их, эмигрантов, мудрым советам.

Между тем за год, проведенный в Институте Кеннана, да и вообще будучи постоянно связанным с "комьюнити" американских славистов, я пришел совсем к другим выводам.

Что касается американской славистики, то она по своему размаху, безусловно, является сильнейшей в мире, включая, как это ни странно звучит, и Советской Союз. Далеко не всегда эта разветвленная структура "славянских" департаментов при университетах, языковых школ и центров может похвастаться глубиной исследований или качеством преподавания, но по своей широте она не имеет равных в мире. Съезд всеамериканской ассоциации славистов AAA SS в вашингтонском отеле "Кэпитал Хилтон" напоминал конвент Демократической партии.

Среди эмигрантов (да и не только среди них) распространено мнение, что американская советология ниже уровнем по сравнению с советской американистикой. Я склонен предположить обратное.

На протяжении года я каждую среду слушал в Вильсоновском центре доклады о делах Советского Союза. Московскому Институту США и Кана-

ды можно только мечтать о разносторонности американских исследований, не говоря уже об их беспристрастности. Толковые "всезнайки" из этого института скованы идеологическими ограничениями, невозможностью путешествовать (иные из них никогда по причине неполной благонадежности не посещали США), а главное - необходимостью подготовки *той* информации, какую от них *ждут* в Центральном Комитете.

Главным ограничением для американских исследователей Советского Союза является стоящая на грани идиотизма советская секретность. Буквой "N" в прессе СССР обычно обозначается то, что не разрешается называть по имени. Сатирики Ильф и Петров когда-то писали: "Мы сидим в Ялте, на берегу N-ского моря". Американские исследователи умудряются все же проникать и в эти N-ские сферы, а самое главное, что и "секретность" сама по себе становится темой академического изучения.

В принципе можно считать, что ни одна сторона ничего не знает о другой, но американское незнание все-таки выглядит активнее по сравнению с советским.

Итак, я провел год в этом несколько загадочном здании из красного кирпича с витражами, башенками и пущенным по стенам плющом. В конце концов китаец завершил свою работу и уехал в Пекин, француз отправился в Париж, и я, поставив точку в "Бумажном пейзаже", стал собирать свои манатки, предполагая покинуть центр, но остаться в Вашингтоне на оседлом местожительстве. Тут как раз секретарша центра Френи Хант сказала мне, что в Флаг-башне постоянно находится еще один обитатель. Его "офис", если можно так выразиться, располагается выше всех других, на чердаке башни. Это, собственно говоря, старая сова, сказала миссис Хант. Говорят, что она прилетела сюда с юга, когда это здание построили, то есть сто пятьдесят лет назад, и с тех пор покидает башню только по ночам, чтобы полетать над Вашингтоном.

В самом деле, ночью, когда флаг сильно хлопает под южным ветром, можно увидеть старика, выбирающегося из амбразуры и плюхающегося в воздушный поток. По всей вероятности, это самый "продвинутый" мыслитель международного центра, а может быть, и всего дистрикта Колумбия.

### МНОГОПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА

В пятницу вечером мы, как обычно, отправляемся на "парти": на этот раз в Джорджтаун, на улицу "О". Мистер и миссис Бенджамен Реджинальд Купер-Кларк (!) запрашивают удовольствие, выражающееся в нашем присутствии на их вечере.

Майя обычно замолкает, когда я начинаю искать парковку в пятницу вечером. Чтобы вдребезги не разругаться, лучше молчать, говорит она. Все-таки в какой-то момент она обычно не выдерживает и говорит: "Почему нельзя было вызвать такси?" Как раз в этот самый момент я нахожу какую-нибудь "дырку" и паркуюсь.

По кирпичикам улицы "О" под столетними деревьями цокали каблучки дам и щелкали подошвы кавалеров. В поле зрения было по крайней мере три ярко освещенных проезда, в которых принимали гостей. Группа людей в смокингах заворачивала за угол. Повсюду "парти"! Мы нашли "нашу" и попали сразу в гостеприимные руки хозяев. "Добро пожаловать!" - "Как поживаете?" - "Выглядите отлично!" Хозяин, взяв под локоть, отвел меня в сторону: "Ну, как вам все это нравится?" - спросил он, подмигивая и бровями показывая направление - куда-то на юго-восток, кажется, в правительственные сферы. "Невероятно", - сказал я. "Вот именно", - сказал он. Разговаривая, он все время смотрел мимо моего уха. "Сейчас я вас представлю нашему таланту". Тут вошли новые гости, он извинился, и мы встретились с Майей.

- Ты уверен, что мы на *нашей* "парти"? - спросила она.

- Конечно, - сказал я. - Вон, посмотри, стоят Грэг и Найди, вон Мэл жует, а вот и княжна Трубецкая пьет пиво!.. Это, конечно, наша "голпа", только мы многих здесь еще не знаем.

Гости, очень плотно заполнив гостиную, столовую и кухню, работали дружно, коллективом не менее шестидесяти персон. Стоял концентрированный и напористый, не ослабевающий ни на минуту гул.

Мы выпили белого вина, положили себе на тарелки крекеры, сыр, морковь, порей, редис, картофель, салат, шлепнули по ложке соуса и стали дрейфовать к стене, чтобы там, обезопасив себе хотя бы один фланг, спокойно употребить указанные выше продукты.

Едва мы прикоснулись плечами к стене, как к нам приблизился пожилой элегантный господин и сказал, что он чрезвычайно рад наконец-то с нами познакомиться.

- Вы, наверное, будете удивлены, как я вас узнал. Однако нет ничего проще, сэр. Я видел ваше фото в журнале, и оно мне запомнилось. Прекрасный был снимок, очень впечатляющий, а ваша собака - просто прелесть.

- Собака, сэр? - я пришел в некоторое замешательство.

С одной стороны, наша собака Ушик вполне заслужила слово "прелесть", но с другой стороны, я еще не фотографировался с ней для журналов. Может быть, любезнейший американский джентльмен просто ошибся?

- Нет, нет, - запротестовал он. - Прекрасно помню, у вас была собака на коленях.

Мы заговорили с женой на свойственном нам языке. "У тебя на коленях, кажется, была книга, - сказала она. - Может быть, на обложке книги была собака?"

Наш собеседник с уважением внимал звукам незнакомой речи. Тут кто-то еще подошел, и он представил нас как уважаемых голландских гостей... м-м-м... фамилию малость подзабыл.

Пришлось его обескуражить.

- Прощу покорно извинить, сэр, но я не голландец, а русский.

Теперь его смущению не было конца.

- Позвольте, но вы говорили с вашей женой по-голландски, не так ли?

- Ни в коем случае. Мы и разговариваем по-русски. Она тоже относится к этому племени.

- Но почему же я вас принял за голландцев? - продолжал недоумевать наш собеседник.

- Ничего удивительного. У русских с голландцами много общего. Во-первых, наши языки отличаются от английского, а во-вторых, они научили нас строить корабли.

В этот момент в глубине гостиной бухнули дубинкой в гонг, хозяин призвал гостей к вниманию, и сразу все выяснилось. Оказалось, что это прием в честь голландца...

- Вот почему я вас принял за голландца, - с милейшей улыбкой шепнул мне на ухо недавний собеседник.

Голландец Эразм Роттербум, лауреат премии нефтяной компании "Эссо", оказался почетным гостем этого вечера.

Поднявшись на маленькую платформу, он поблагодарил за внимание, потом стал рассказывать о своих достижениях и слегка поиграл на скрипке.

Майя бросала на меня боковые взгляды.

- Удивительная все-таки страна, эта Голландия, - сказал я ей. - Хотя и расположена ниже уровня моря, а какой огромный внесла вклад в историю цивилизации: мельницы, коньки, каналы, тюльпаны, торговля, мореплавание, вот этот наш скрипач, наконец... Ведь именно в Голландии нашего Генерального секретаря Петра Великого обучили разным наукам, по слухам, и "наукам страсти нежной"... Достоин сожаления, что русско-голландские связи за последние 250 лет так ослабли. Когда-то ведь наши земляки ездили туда не реже, чем нынче в Венгерскую Народную Республику.

- Все это так, - сказала Майя, - но какое это имеет отношение к *нашему* приему?

Дождавшись очередных аплодисментов в адрес Эразма Роттербума, мы вышли на улицу "О".

- Наверное, произошла ошибка в нумерации, - сказал я. - Должно быть, наш прием происходит вон в том доме с двумя маленькими колоннами и двумя крылатыми псами на крыльце. Видишь, как раз туда направляется наш знакомый контр-адмирал Т.

Мы прошли сотню ярдов вниз по улице "О" и вошли в дом. Здесь среди гостей преобладали дамы бальзаковского возраста. Казалось, в воздухе пахнет кружевным полотном. Мы успели к выносу главного блюда - жигу с бобами в отменном французском стиле. Я поинтересовался у соседней дамы, где же здесь мистер и миссис Купер-Кларк.

- Зови меня Лу, друг, - сказала дама и похлопала меня по плечу. - Право, не знаю, где сейчас старина Купи и крошка Клэр.

Похолодев, я подумал - уж не попали ли мы опять на *не ту* "парти"? Жена призналась, что испытывает такое же чувство, и если бы не присутствие контр-адмирала Т., а также Грэга и Найди, Мэла Дершковица и княжны

Трубецкой, то есть все-таки людей из "нашей толпы", она бы в панике убежала домой.

- Что же? - сказала Лу. - Все остается в силе, фолкс?

- Пока что тянем, - неопределенно промычал я.

- Давай, давай, друг, без всяких "пока что", - дерзко, как девушка эпохи буги-вуги, подмигнула она. - Клянусь, не пожалеете! Будем купаться голышом! А как там у вас, в Квебеке?

Жуя жантильное жиго, мы заметили на левой груди нашей собеседницы карточку с надписью: "Лу Смайли. Поцелуй в Лыхайне!" Оглядевшись, мы увидели, что подобные карточки украшают груди и других дам: "Дорис Гарбовски. Смотри в оба, люби до гроба", "Нэнси Тарантайн. На перевале судьбы", "Кэнди Амбиваленштейн. По зову сердца"... Что-то совсем уже комсомольское. Прислушавшись, мы поняли, что находимся среди участников всеамериканской конференции писателей романтического направления.

...На третью "парти" мы успели к десерту. Здесь мы сразу поняли, что попали *не туда*. Было очень тихо. Общество утопало в креслах. Один лакей катал тележку с тортами, другой обносил ликером. Люди "нашей толпы", Грэг с Найди, Мэл Дершковиц, княжна Трубецкая и контр-адмирал Т., жуя "чиз-кейк", облизывая муссы и заглатывая взбитые сливки, толпились поближе к выходу.

- Это опять не наши, господа, - говорил, потряхивая седыми бровями, адмирал. - Пехота. Общество покорителей Килиманджаро с восточной стороны.

Сдается мне, что мы все запутались в алфавите. Нам нужна не улица "О", а улица "Q"... Точно такой же кружок, но сбоку у него болтается хвостик.

### ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1975

Сочи. Будущий калифорниец Лева Грошкин "еще в Союзе" решил: никогда не постарею! Глупо как-то получается - из молодого превращаться в старого. Буду против этого бороться, заброшу все, но не постарею, потому что это несправедливо - терять молодость!

"Главное - четко следить за своими рефлексам, ни одному рефлексу не позволять загнивания", - объяснял Лева герою романа "Грустный беби", с которым вместе бегал вдоль сочинской набережной под лозунгом Брежнева "Здоровье каждого - здоровье всех!" Два будущих американца совершали ежедневный забег посреди сугубо советской толпы.

- Здесь я в принципе не задержусь, - откровенничал на бегу Лев. - Слиняю в Америку. Там люди умеют не стареть. Профессор Соутуспик, например, женился на правнучке своего одноклассника, и она родила ему двух малышей.

- А вам сколько лет, Лева?

- Это неважно. Главное, чтобы рефлексы не ржавели.

- Борода у вас случайно не седеет?

Случайный удар по больному месту. Лева раздраженно хмурится, сразу как-то стареет, однако берет себя в руки и улыбается усредненно молодой улыбкой.

- Никаких сведений о бороде, попросту не видел ее никогда. Усы вот густы и пшеничны.

- Are you comfortable in English?\*

- Это лишнее! - махнул рукой Лева.

1980

Отвечающему за охлаждение воздуха в кондоминиуме "Пацифистские палисады" генералу Пхи менеджер Бернадетта Люкс иногда представлялась чем-то вроде Гренландии, а в те моменты, когда ему удавалось пристроиться к ее тылу, размеры могучей дамы как бы уже выходили за грань обычной физики и принимали символический характер.

Нуклеарным холодком веяло из шахт и кулуаров, склоны поверхностей золотились, будто глетчеры под лучами вечернего солнца, тяжелые "маммари"<sup>\*\*</sup>, ложась в тонкие ручки генерала, жгли смуглую кожу, как лед. "Кулинг, - приговаривал он, - джаста кулинг"<sup>\*\*\*</sup>... Пхи принадлежал к международному поколению "обожженных" и очень нуждался в прохладе.

Рэнди Голенцо с трубкой в зубах с галереи созерцал это в целом-то совсем неплохое дело. Почему, черт, не произошло такой гармонии на поле брани?

1953

Март. Студенческая местность близ "Казань юниверсити". Двадцатилетние оболтусы Филимон, Спиридон, Парамон и Евтихий на койках в наемной комнате своего дикого быта.

Вчера полночи бились на рапирах, в поединках и двое-надвое. Электричество давно уже отключено за неуплату. Источники света, стеариновые свечи, торчат из порожней посуды. Дикие тени мечутся по стенам и потолку. Лязг холодного оружия и лошадиный хохот прорываются через замерзшие окна на улицу. Ночной прохожий оборачивается - что за странная радиопостановка?

Стены расписаны в "футуристическом духе". Еще месяц назад вьюноши называли себя футуристами, теперь в связи с новым бзиком - фехтованием - стали "мушкетерами".

А вот и "чувихи" с факультета иностранных языков, шпионки. Рапиры и маски - в угол! Надрачивается "старенький коломенский бродяга-патефон". Самодельная пластинка из рентгеновской пленки вспучивается, однако при-

\* У вас хороший английский.

\*\* Грудь.

\*\*\* "Прохлада, такой прохлада".

давленная железной кружкой, начинает вращаться, извлекая из замутненных альвеол анонимной легочной ткани кое-какие звуки.

Come to me, my melancholy baby!

Задув свечи, парочки расползаются по углам. Дерзновенные проникновения под лифчик, под рубашечку, головокружительные рейды в штанишки. Позже один из четверых горько жалуется: "Что делать, чуваки, такое отчаяние, солопина мой, собака, мягкий, как колбаса". Двадцатилетнему человеку палец покажи, обхохочется, а тут - "колбаса"! Вторая половина ночи проходит в полном изнеможении.

Утром все делают вид, что будильник, сволочь, сломался, потом кто-то вспоминает, что семинар в университете сегодня "полуобязательный", потом начинают переругиваться, кому сегодня топить печку, в конце концов, разыскав на столе отвратительные "чинарики", футуристы-мушкетеры курят среди убожества своих чахлах одеял.

Тем временем за дверью, в коридорчике коммунальной квартиры, начинают раздаваться громкие рыдания соседок. "Что же теперь делать-то будем, граждане хорошие, братья и сестры? Как жить-то будем без него?" Главная скандалистка Нюрка бьется в истерике. Дядя Петя сапогом грохочет в дверь к студентам. "Вставайте, олухи царя небесного! Великий Сталин умер!"

Долгая пауза - сколо-мэнэ - у двоих из четверых отцы, между прочим, загорают в лагерях за контрреволюционную деятельность...

1970

Хемингуэй и Фил Фофановф

Пятерку "Ф" своих лелея,  
Советский презирая быт,  
Ф-ф читал Хемингуэя,  
За что бывал нередко бит  
В дискуссиях крутых друзьями.  
Которые, уж отшумев  
Свои фиесты и усами  
Обзаведясь и поумнев,  
Читали Фолкнера. Все злее  
Славянофильский ветер дул.  
Нам всех коррид твоих милее  
Простой йокнапатофский мул!  
И все ж. как встарь, благоговей,  
Чудак, пьянчуга, бонвиван,  
Ф-ф читал Хемингуэя,  
Врастая задницей в диван.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Не без чувства усталой гордости я представил в Вашингтонский отдел иммиграции толстый пакет со всеми бумагами, необходимыми для получения "зеленой карты" постоянного обитателя США. Это был уже пятый визит в эту контору. На сей раз я был полностью уверен в содержимом пакета: все наконец-то собрано, подколото, заверено; ни сучка, ни задоринки. Гордость мою поймет всякий иммигрант, потому что этому моменту предшествовало множество унылого бюрократического вздора, который в Америке со столь неожиданной для выходцев из стран социализма красноречивостью зовется "красной лентой".

Все началось еще в Лос-Анджелесе. После того как стало известно о лишении меня советского гражданства, не оставалось ничего иного, как просить у Америки политического убежища. В лос-анджелесском Управлении иммиграции нас привели под присягу, заполнили все бумаги, а потом... просто-напросто их потеряли. Больше года мы ждали в Вашингтоне калифорнийских бумаг, они так и не прибыли. Пришлось снова запрашивать "политического убежища", уже в Вашингтоне. Потом, съездив на европейские каникулы с беженскими документами, мы стали проходить следующую фазу бумажной адаптации в новом мире - оформлять вид на постоянное жительство.

Ирония (она, куда ни кинь, сопровождает нас повсюду) здесь состояла в том, что в Вашингтон я приехал с целью написать роман "Бумажный пейзаж", книгу о том, как барахтается маленький советский человек в волнах бумажного моря.

В течение года мы время от времени отправлялись на Е-стрит, высиживали там по несколько часов в очереди своих собратьев - беженцев и эмигрантов, - предъявляли наши бумаги и отправлялись домой, не солоно хлебавши: всякий раз чего-то не хватало или что-то было сделано неправильно; то медицинского свидетельства не доставало, то оказывалось, что оно не там было проведено, где положено, и т.д. и т.п. И вот наконец все препятствия устранены, все бумаги собраны, придаться, кажется, не к чему. Теперь-то уж они примут наши заявления.

Теперь при всем желании к нашим бумагам невозможно придаться: совершенство! бюро-шедевр!

И все-таки по мере приближения к Е-стрит все больше сосало под ложечкой: какой-нибудь капкан и на сей раз, наверное, ожидает. Всю жизнь я был "тяжел на ногу" в бюрократических делах, ни одна процедура такого рода не проходила для меня без заковырок, недоразумений, попросту опе-

---

\* Документ, получивший это название по своему цвету, свидетельствует, что его владелец имеет статус постоянного резидента США.



чток. Там все списывалось за счет их проклятой системы, здесь, в Америке, оставалось только почесывать затылок.

Кто-то посоветовал мне сделать копии со статей обо мне и моих книгах в американских журналах и присвокупить их к документам. Я был несколько смущен: что ж, саморекламой, что ли, предлагаете заниматься? Ты не понимаешь американской жизни, объяснили мне. Глупо не использовать такую *позитивную* информацию.

Первое, что сделала делопроизводительница Управления иммиграции, когда мы после нескольких часов ожидания предстали перед ней, - отбросила эту "позитивную информацию" в сторону, не читая. Затем она с некоторым, как мне показалось, сладострастием погрузилась в пухлую стопку бумаг, время от времени поднимая на меня взгляд, мягко говоря, лишенный каких бы то ни было одобряющих флюктуаций. Это была красивая черная женщина с большими золотыми серьгами.

- А где же у вас форма FUR-1980-X-551? - спросила она бесстрастно, но мне показалось, что ее бесстрастность дается ей с трудом и что какая-то странная антиаксеновская страсть готова вот-вот выплеснуться и обварить мне ноги даже через толстую кожу английских ботинок.

Форма, запрошенная ею, как раз не относилась к числу обязательных. Никто из ее коллег прежде на ней не настаивал. Для получения информации по этой форме они просто нажимали клавиши своих компьютеров, и немедленно все нужное появлялось на экране.

Чувствуя, что снова тону, но все-таки делая еще беспорядочные плавательные движения, я любезно сказал делопроизводительнице, что форма FUR-1980-X-551 мной утрачена, но для получения соответствующей информации ей достаточно обратиться к компьютеру.

- Вы что, учить меня собираетесь моему делу? - спросила она.

Знакомая интонация советских чиновных сук будто наждачной бумагой прошла по моей коже, но что-то в свирепом тоне делопроизводительницы бурлило и новое, нечто мне прежде неизвестное.

Вся моя пачка бумаг была переброшена мне назад с рекомендацией (сквозь зубы) для уточнения отправиться в другой отдел, то есть все начинать сначала.

Не успев еще даже спросить самого себя, почему я вызываю такие негативные чувства, но все еще пытаюсь спасти положение, я бормотал что-то еще о компьютере и о том, что раньше эту форму от меня не требовали.

Делопроизводительница тут взорвалась, как вулкан Кракатау:

- Что это вы тут разговорились, мистер?! У вас тут нет никаких прав, чтобы тут разговаривать! Вы просто беженец, понятно?! Правительство США вовсе не настаивает на том, чтобы вы жили в этой стране!

Такого, надо признаться, я еще в Америке не встречал, да и не ожидал встретить.

Я уже знал к этому моменту, что в Америке существует вполне развитая и процветающая бюрократия (в отличие от дряхлой советской с ее комплексами вины, американская компьютерная бюрократия очень до-

вольна собой), но до описываемого случая эта бюрократия всегда была отменно вежлива, в той же степени, в какой компьютер еще не обучен хамству.

Надо сказать, что русское понятие „хамство“ с такой же относительностью передается английским словом "boorishness", с какой американское понятие "rpgivasy" объясняется советским оборотом "частная жизнь".

Впрочем, может быть, это и хорошо, что нас с этой чиновницей разделяли кое-какие языковые экраны, иначе мы бы сказали друг другу гораздо больше: у нее, без сомнения, многое еще было в запасе.

- Что с вами? - спросил я. - Вы не слушаете меня, леди... Мне кажется, не принято в порядочном обществе...

Впоследствии я разобрался, что слово "леди" в этих обстоятельствах звучало неуместно. Она вскочила:

- Если вы считаете, что с *нами* трудно иметь дело, можете убираться из нашей страны!

Возникла кинематографическая пауза. Мы смотрели друг на друга. Это был редкий момент. В глазах ее читалась, если и не ненависть, то во всяком случае формула взрыва. Чем я вызвал такое сильное чувство? Даже если глупость какую-нибудь спорил, чего уж так-то сильно яриться?

Я знал, конечно, всем опытом жизни в России, как малые начальники, все эти "старшие помощники младших дворников" любят глумиться над людьми, от них зависящими, но тут присутствовало, повторяю, что-то новое, прежде мне неведомое и непонятное.

- Друг мой, неужели вы не понимаете? Это была расовая ненависть, - сказал польский беженец, случившийся быть в той же комнате.

- Однако с вами занималась тоже черная и была мила, - возразил я.

- Однако и не все ведь белые расисты. Вот вы ведь, мой друг, не расист?

В самом деле, я никогда не был расистом, однако никогда и не воображал *себя* объектом расизма. Принадлежность к белой расе как бы исключала возможность негативных расовых чувств. Стало быть, подсознательно, я тоже был под влиянием расистских стереотипов: с одной стороны, в системе этих стереотипов как бы предполагалось, что расистом может быть только белый человек, а черный человек уж никогда расистом быть не может, а с другой стороны, как бы само собой подразумевалось, что белый человек не может быть объектом расовой неприязни, а уж тем более жертвой ее. Иными словами, хоть я и приехал из страны, где расовая проблема не столь горяча, как в США, все-таки и во мне сидели комплекочки "белого", некоторая снисходительность по отношению к черным братьям.

Да полно, был ли это расизм? Может быть, просто такая уж сволочь попалась, вне всякой связи с цветом кожи? Поляк сказал:

- У нас; восточноевропейцев, положение в этой стране довольно двусмысленное. Мы похожи на большинство, а между тем, с нашими акцентами и рефлексамии "культурного шока", относимся к меньшинствам. Комплекочки отчужденности от черных или снисходительности к ним у нас

сильнее, чем у американцев, которые рядом с ними живут из поколения в поколение. Негры это прекрасно чувствуют.

- Вот вы входите в эту комнату, - продолжал он, - белый человек с акцентом, но акцента этого отнюдь не смущающийся; жена у вас блондинка. то есть вы оба вроде бы принадлежите к доминирующей расе. Как бы вы себя ни держали, легче всего вас заподозрить либо в высокомерии, либо в спнисходительности. Даже и унижаясь, вы этого не избежите. Вот, подумает она, даже и унизиться *им* перед *нами* неунизительно! Сознайтесь, было у вас что-то внутри, когда вы смотрели на ее черное лицо?

- Просто думал, что за сволочь бюрократическая, ну, просто, как советская, но ничего не думал насчет расы...

- А если копнуть поглубже?

Пришлось почесать в башке.

- В самом деле, не знаю. Может быть, что-то и мелькнуло: вот, мол, какая начальница, черная...

- Ну вот, видите, дело тут не только в бюрократизме.

Оказавшись в американском обществе, мы стали участниками расовых отношений. Этого не избежать никому из эмигрантов так называемой кавказской расы. Даже прогуливаясь по улице, ты участвуешь в составлении расового пейзажа.

Один из моих черных знакомых (увы, я до сих пор могу сосчитать их по пальцам, хоть и живу в городе, где семьдесят процентов населения черные) как-то попытался разъяснить мне эту двусмысленную позицию со своей точки зрения.

- Я родился в этой стране, - говорил он, - так же, как и мои родители, и их родители. Тот, кто родился в Африке, очень далек, я его не проследил. А вы, старина, здесь чужак, не так ли? У вас сильный акцент. С первого же слова в вас узнают иностранца. Однако пройдет десяток лет, и вы, ну как представитель "кавказской расы", избавитесь от иностранного акцента и станете *одним из них*. Что касается меня, то я никогда не смогу быть *одним из них*. При взгляде на меня первой мыслью у каждого из них будет "вот черный", а уж потом - кто я таков, как я одет, в каком я настроении и так далее. Причем в моем случае это отношение усугубляется, потому что я *очень* черный. Вообразите, процент пигмента в коже тоже играет роль.

Он и в самом деле был очень черным, этот мой приятель.

- А вообще-то разве у вас есть какие-нибудь основания жаловаться? - спросил я. - Вы - процветающий адвокат, у вас отличный дом в дистрикте, "мерседес-450"... Белые девушки, как я заметил, вовсе не чураются вашего общества.

Он улыбнулся, улыбка его похожа на flash-light\* на фоне черного лица.

\* Вспышка магния при фотосъемке.

- Мой оттенок, кажется, считается недурным. Вообразите, оттенки черного цвета имеют значение. Приятные оттенки имеют больше шансов на успех в обществе, но наилучшими шансами обладают черные, совсем не черные, те, кого называют high yellow, которые выглядят, ну, просто, как белые после вакаций во Флориде.

- И все-таки ваш пример опровергает многие обобщения, мой друг, - сказал я ему. - В самом деле, вам вроде бы и не на что жаловаться, а?

- Я и не жалуюсь, - сказал он. Мы говорим не о притеснениях, даже не о предрассудках, а об отчуждении, очень тонком, почти неназываемом; оно будет, вероятно, существовать еще двести лет, не меньше.

Мы пытаемся разобраться в нынешней расовой ситуации со всеми ее тонкостями и грубостями. Собственно говоря, мы не разбираемся, а просто живем среди этих тонкостей и грубостей. В таком месте, как Вашингтон, эта тема волей-неволей возникает чуть ли не ежедневно. Иной раз она обрачивается легкой, юмористической стороной, в другой раз предстает перед нами, чужаками, странной, вывернутой, исполненной смутной угрозы, абсурда ядовитых испарений.

Боб Кайзер, уроженец Вашингтона, как-то рассказывал нам, что еще в начале шестидесятых годов негров не пускали здесь в партер театров, они могли сидеть только на галерке. Сейчас это трудно вообразить в городе, где мэр и почти весь муниципалитет черные, и все-таки, столь недавно... слишком малый еще срок, чтобы забыть те безобразные унижения.

Из всех жителей Штатов только негры приехали сюда не по собственной воле, хотя - может, это прозвучит кощунственно - именно грязный бизнес работоторговцев по иронии истории и привел к созданию общины черных американцев, с прогрессом которой во всех отношениях не может сравниться ни одна страна Африки.

Именно "общины черных американцев", а не "нации негров". Приехав из многонационального Советского Союза, мы не сразу разобрались в том, что нация, собственно говоря, здесь одна - американская - и что корни черных уходят к разным этническим группам Африки в той же степени, в какой белых - к разным нациям Европы.

Я пишу сейчас, собственно говоря, не о "черной проблеме", а о том, как она предстала перед нами, эмигрантами из Советского Союза. Негр для нас с детства был клишированным символом империалистического угнетения, объектом нашей "солидарности", умозрительного сочувствия, чего угодно, только не человеческих чувств.

Позже, в период диссидентских настроений, многие в СССР склонны были думать, что черной проблемы вообще не существует в Штатах, что все это вымыслы лживой советской пропаганды, что на самом деле в Америке уже давно царит расовая гармония.

Мы восхищались черными джазистами и спортсменами, и нам казалось, что это гарантирует нас от расистских чувств. Оказавшись жителями Америки, мы вдруг поняли, что мы большие расисты, чем коренные американ-

цы. Это вовсе не означает, что у нас появились дурные чувства к неграм. Наоборот, наш расизм, может быть, сказывался в том, что мы культивировали *только* хорошие чувства к нашим черным соседям. Резкий тон, скажем, по отношению к негру казался невыносимым. Потребовалось время, чтобы осознать, что черные люди вовсе не нуждаются в нашей снисходительности.

Честнее других, может быть, оказались одесситы с Брайтон-Бич в Нью-Йорке, которые говорили черным бруклинским хулиганам: "Мы ваших дедушек, мужики, в рабство не продавали, поэтому валите отсюда!"

Ханжеская любезность в отношении черных приводит к недомолвкам и иносказаниям: когда говорят о каком-нибудь районе города "не совсем благополучная "эриа", а имеют в виду, что там живут черные, когда о неблагоприятных поступках, совершенных черными, вообще предпочитают не распространяться, поджимают губы и переходят на другую тему. Такой "прогрессизм", конечно, имеет расистскую подкладку. Негров, очевидно, лишь оскорбляет эта снисходительность и приторность.

Почему мы можем сказать, что среди русских или ирландцев много пьяниц, и почему мы не можем сказать, что среди черных подростков ныне не мало таких, что склонны к блуду, к охоте за дешевым кейфом?

Черная комьюнити ежедневно оборачивается к нам множеством своих разнообразных лиц: здесь и блестящий молодой джентльмен Карл Льюс, и ублюдок-сыщик, без разговоров застреливший в нью-йоркском дворе отца эмигрантского семейства, здесь и такой благородный деятель, как мэр Бредли, и исламский нацист Фаррахан, здесь и мой *next door*<sup>\*</sup>, вечно улыбающийся художник Роберт, и свирепая чиновница из вашингтонского Отдела иммиграции и натурализации... Так или иначе, это наши соседи, наши новые сограждане.

### НЕГРЫ ПОД АМЕРИКАНСКИМ СНЕГОМ

В Вашингтоне зима начинается где-то в середине января. Конечно, по сравнению с Россией вашингтонские снегопады выглядят несерьезно, но иногда, милостивые государи, так завалит, что впору вспомнить и остров Сахалин.

В такие дни город преображается. Движение сокращается до минимума. Там и сям видишь брошенные машины. Забавно выглядят под снегом основные представители населения нашего города, то есть негры. Иные черные мужички, как будто это для них привычное дело, берут лопаты и ходят по иностранным посольствам, откапывают. Другие демонстрируют некоторый эстетический вызов белому засилью. Вот передо мной раскачивается на тонких каблучках красотка фунтиков на двести. Она облачена в серый тренировочный костюм, поверх костюма на округлости натянуты

\* Сосед по площадке.

красные шорты, над головой зонтик из желтых, зеленых и синих клиньев. А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет...

Повсюду житель озабочен взаимовыручкой. Помогают толкать машины, прикуривать от аккумуляторов. У моего друга не заводится. Мы возимся большой толпой. Скрип тормозов, рядом с нами останавливается "вэн", то есть одно из тех многоцелевых во многих смыслах транспортных средств, что пилотирует особого рода народ, так называемые таф - жесткие ребята.

В данном случае из "вэна" выскакивает черный красавец под шесть футов: "В чем дело, народы? Аккумулятор сел? Прикуривателей нету? Я знаю, где достать. Поехали со мной!" Дело было в воскресенье, все магазины в округе закрыты, и я залез в его "вэн", хотя во внешности молодца не было, мягко говоря, кричащей надежности, чем-то неуловимым скорее смахивал он на пирата.

Его звали Стив Паддингтон, что звучит приблизительно как Евгений Онегин. Он лихо гнал через метель и не особенно-то подтормаживал перед светофорами. Кричал мне в невероятном возбуждении:

- Я люблю помогать людям! Обожаю помогать людям! Невзирая на цвет кожи! Мне наплевать на цвет кожи! Главное, чтоб человек был хороший! Верно? Чему нас Мартин Лютер Кинг учил? Помогать людям! Я такой отличный парень! Бабы от меня без ума! Мне тридцать четыре года, а у меня уже семь женщин в разных местах, четверо детей в разных местах! Я мужик что надо! А ты чем занимаешься?

Как ни ответить на редкий вопросительный знак среди урагана восклицательных!

- Книжки пишу, - сказал я.

В восторге Стив сильно хлопнул меня по колену.

- Вот это удача! Давно мне так не везло!

- В чем же удача, Стив?

- Не понимаешь? - изумился он. - Я напишу дневник своей жизни, ты сделаешь из него роман, деньги поделим! Теперь дошло? Мне очень деньги нужны! И знаешь, для чего! Чтобы хорошо жить! Дошло? Чтобы наслаждаться жизнью.

Мы мчались сквозь пургу все дальше и дальше, в какой-то весьма сомнительный район города. Стив развивал, хохоча, идею замечательного предприятия. На вырученные за нашу потрясающую книгу деньги мы покупаем два автобуса и начинаем на них возить игроков из дистрикта Колумбия в игорные дома Атлантик-сити. Сколотив на этих экскурсиях достаточное состояние, мы открываем свой собственный игорный дом прямо в дистрикте. Почему люди должны ездить играть в Атлантик-сити? Почему они не могут играть прямо здесь, в столице страны? Успех обеспечен, потому что все люди хотят хорошо жить! Все хотят наслаждаться. Успех! Деньги! Лайф-де-люкс!

Я его спросил, почему он так уверен в успехе его дневника, переработанного мною? Потому что у него большой жизненный опыт, объяснил он.

Три раза сидел в тюрьме за попытку вооруженного ограбления. Нет, никого не убивал, это противоречит его принципам, вообще оружия не любит, но кое-что есть, чтобы защитить себя и своих людишек. С этими словами он показал мне пару пистолетов и здоровенное мачете. "Этот арсенал, - подчеркнул он, - я купил на свои собственные деньги".

Несмотря на все эти восклицания, Стив нашел бустер. Мы вернулись на место происшествия, завели машину, после чего я пригласил Стива и его подружку Кэйт к нам поужинать. Возбуждение его испарялось, он успокаивался с каждой минутой. Оказалось, что он не сторонник алкогольных напитков, а скорее склоняется к хорошей самокруточке. Выяснилась также и вполне мирная профессия Стива - водитель школьного автобуса. Он очень любит свою девушку Кэйт, однако так же сильно любит Лизу, которая подарила ему вот эту кожаную куртку, отороченную мехом койота. Что касается политических склонностей, то он предпочел бы видеть президентом космонавта Джона Глена, а вице-президентом черного священника Джесси Джексона.

Я спросил:

- Стив, а раньше ты русских встречал?

- Не то что русских, - сказал он, - вообще никаких иностранцев никогда не видел, кроме китайцев. Вот именно, кроме китайцев, - добавил он, подумав.

Мы много говорили потом об этом неожиданном знакомстве. Таких парней, как Стив, тысячи на улицах Вашингтона, но вот впервые мы так, случайно соприкоснулись с их жизнью. Расовое равенство с утра до ночи дебатруется на телевидении. Все знакомые американцы говорят, что за последние годы черное население сделало колоссальный прогресс, и это очевидно. В Чикаго, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Филадельфии, Атланте, в десятках других городов черные мэры, повсюду встречаешь черных юристов, правительственных чиновников, богатых бизнесменов, дети ходят вместе в детские сады и школы - нет лучше зрелища, чем группа малышей разных рас, - молодежь вместе занимается спортом, не так уж сильно дискриминируется в любовных утехах, не говоря уже о танцах "брэйк"... И все-таки разделение, во всяком случае психологическое, еще существует, и черные, кажется, помнят об этом лучше белых.

Знакомый черный музыкант однажды сказал нашей общей приятельнице, что собирается в Вашингтон и хочет навестить Аксеновых. Та предположила, что он может у нас остановиться. Музыкант был смущен: не уверен, что это будет хорошо, все-таки мы с Васей "на разных сторонах улицы". Узнав об этом, был смущен и я, потому что полагал себя с ним на одной стороне, on the sunny side of the street...

Трудно ломаются психологические стереотипы, если на них еще наслаивается биологический стереотип. Познакомившись со Стивом Паддингто-

---

\* На солнечной стороне улицы (строка из песни).

ном, мы соприкоснулись и в самом деле с "другой стороной улицы", с совершенно чужой жизнью негритянских масс, полной какой-то странно детской и, конечно, марихуанной жажды, пронизанной монотонным ритмом модного "ригги".

...На следующий день опять шел густой снег. Позвонил Стив Паддингтон и прокричал: "Василий, я уже начал писать свою книгу. А ты над чем сейчас работаешь?"

### *НЕГРЫ ПОД СОВЕТСКИМ СНЕГОМ*

Как развивался "образ" негра в советском сознании? В 1937 году, в разгар мрачных сталинских чисток, кинорежиссер Г. Александров создал шикарную музыкальную комедию "Цирк". Помимо трюков, чечеток и "хоxm", в фильме была сентиментальная линия, мелодраматическая история американской актрисы варьете, умудрившейся в расистской Америке родить черного ребенка.

Толпа разнузданных расистов несется по железнодорожным путям, пытаясь догнать поезд, на котором спасается наша героиня в исполнении ослепительной блондинки голливудского типа Любови Орловой; так начинается фильм. Впоследствии мать негритенка попадает с трупной варьете в Москву. Она стыдится своего ребенка, прячет его от советского актера, с которым у нее начинается роман, пока не убеждается, что в Советском Союзе все нации равны, все свободны. В апофеозе она поет: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!" А ее черного младенца с нежными улыбками передают друг другу советские люди, зрители цирка, случайно представляющие все национальные республики и меньшинства Советского Союза.

Младенца, между прочим, в черный цвет не красили. Его роль играл только что родившийся Джим Паттерсон, сын американских коммунистов-негров. Этот мальчик все свое детство наслаждался неслыханной славой, летними каникулами в Крыму, в привилегированном пионерском лагере "Артек"; когда вырос, стал советским поэтом, увы, весьма посредственным.

Позднее нужда в черных киноактерах стала удовлетворяться менее патетическим путем. Во время войны в Архангельске, куда приходили корабли союзников, пять процентов детей рождались черными. Один из этих негрят играл черного юнгу в фильме "Максимка" по повести Станюковича, в котором проводилась идея о стихийном интернационализме русских людей и о сочувствии к угнетенным.

В шестидесятые годы в театральном мире Москвы был весьма популярен молодой актер Гелий Коновалов. Он родился в русской семье, но был совершенно черным и со всеми признаками "негрипода": курчавостью, толстогубостью, белоснежностью улыбки. Пользуясь "своей спецификой", он читал в концертах стихи с каким-то немислимимым акцентом, хотя не знал никаких языков, кроме своего родного - русского.

Всюду перед ним открывались двери, люди обращались к нему с иск-



лючительной осторожностью - как бы не обидеть "представителя угнетенных наций". Так он и шествовал сквозь московские метели, научившись не без цинизма пользоваться своей странной уникальностью. Только лишь в театральном ресторане при приближении к определенному градусу общего подпития Гелий терял свою "специфику" и избавлялся от советского расизма навыворот. Там актерская братия, знавшая гримы всякого рода, к цвету его кожи относилась без всякого пиетета.

В целом же в течение всех советских лет под влиянием "интернациональной" демагогии, фальшивости фильмов и спектаклей, а также не без помощи личностей вроде знаменитого певца - "друга СССР" Пола Робсона в сознании советского человека рядом с другими стереотипами утвердился и стереотип черного человека, который не может быть никогда ни злым, ни хитрым, ни глупым, ни коварным, никаким, кроме как лишь *угнетенным*.

Даже и "критический советский человек" привозит в Америку этот стереотип и долго носит его с собой, пока реальность не выколотит его, словно пыль из одежды.

По Пятой авеню в "час пик" мирно шествуют плечом к плечу в обоих направлениях и филиппинец, и индус, и мексиканец, и эскимос, и мавр, и ацтек, и грек, и финикийнин, и перс, и ассириец, и галл, и кельт, и скиф, и печенег, и римлянин, и карфагенянин, и "гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык", не исключено, что попадают тут и атланты, амазонки, кентавры...

Бывший советский человек, хоть он, может быть, по цвету кожи и не отличается от большинства населения, явление на самом деле не менее диковинное в американском обществе, чем, скажем, троянец; в сознании своем он долго носит догмы покрепче, чем мировоззрение идолопоклонника Новой Гвинеи.

Взять пресловутый "национальный вопрос". С детства в нас вбивались понятия так называемой ленинской национальной политики с ее принципами интернационализма и равенства наций, а на деле у нас совершенно не было никакого опыта совместной с другими народами жизни; в принципе мы не знали других наций, кроме советской, хотя внутри оной пресловутый "пятый пункт", то есть национальность, строго контролируется. Показной интернационализм на деле оборачивался диковатыми изоляционистскими клише, привязанными в основном к "освободительной борьбе", к "колониализму" и т.п.

Вот, например, клише "рикша". С раннего детства он сопровождал нас, этот несчастный тонконогий "трудящийся Азии", согбенный под своей конусовидной шляпой, влекущий коляску с восседающим в ней жирным империалистом. У "империалиста" в зубах сигара, кованный каблук упирается в тощий задок желтолицего. Хоть и стали впоследствии клише такого рода предметом юмора, все-таки оказались они довольно живучи и въедливы, иначе не был бы я так удивлен рикшами Гонолулу.

Там, на Вайкики, велорикши, все, как на подбор, оказались белыми пар-

ниями и девушками, загорелыми и белозубыми, напоминающими лучшие экземпляры американской университетской породы. Энергично крутя педали, они катали по Калалаху японских туристов. Клише оказалось полностью перевернутым.

Мы не знали реальной жизни так называемого третьего мира, она была заменена фантомами "интернационализма".

Америка не прокламирует "интернационализм", она попросту заполняется многоязычной толпой экзотических иноземцев. Помню, как-то ехали мы через снежные холмы Мэна и на одном из этих холмов вдруг увидели ресторан полинезийской кухни. Здесь, в Америке, можно в реальности увидеть "неленинскую национальную политику", то есть реальную жизнь разных народов, узнать, что и как разные люди едят, как они молятся, как они трудятся, как они развратничают...

Вот вам еще одно клише, которое после опыта американской жизни переворачивается в сознании русского эмигранта.

Всегда у нас считалось, что декадентная западная цивилизация является в мире главным источником греха, разврата, наркомании, половых извращений. Советские люди в этом глубоко убеждены, что, впрочем, не только не отталкивает их от западной цивилизации, а, напротив, наряду с избытком товаров является дополнительным, а иногда и основным соблазном. Существуют иронические клише типа: "Эх, Запад! Как красиво он разлагается!" "Секс-шопы" с пластмассовыми гениталиями, порнографические "нон-стоп" кинотеатры, проститутки обоих полов, алчущие кейфа толпы в клубах марихуанского дыма - вот образ "тлетворного Запада" в сознании советского гражданина.

Признаюсь, после нескольких лет жизни на этом самом декадентском Западе у меня сложилось впечатление, что основным источником декаданса и блуда является "третий мир", который в клишированном идеологическом представлении выглядит как бы невинной жертвой. Именно из "третьего мира" идут на Запад разнузданный секс, мастурбирующие ритмы, одуряющие травы и порошки, всепоглощающая тяга к кейфу.

Ошибочно вообще представление о том, что цивилизация неизбежно влечет за собой падение нравов. По идее, если непредубежденными, "нейдеологизированными" глазами посмотреть в глубь истории, можно увидеть, что чем ниже уровень развития, тем выше уровень дебоша. Достаточно вспомнить "художества" австралийских аборигенов. Человеческие группы, не озабоченные задачей цивилизации, то есть развития, улучшения (к этому относится и религиозный поиск), озабочены в первую очередь жаждой кейфа. Самые изощренные формы половых извращений и наркомании родились не в цивилизованном обществе, а в дикарских группах. Западная цивилизация, особенно в ее англосаксонской форме, является по сути дела последней фортецией здравого смысла.

На эту фортецию из темноты "третьего мира" идут валы кейфомании. Цивилизация, в силу своей либеральной толерантности, не отвергает примитивного гедонизма, но адаптирует, переводит эту всепоглощающую страсть

в русла "субкультуры", "шоу-бизнеса", "секс-коммерции", то есть организует, вводя даже эту дикую стихию в систему некоторого порядка.

Говоря это, я вовсе не хочу унижить тех людей "третьего мира", что работают там ради просвещения и благоденствия своих народов. Эти люди не нуждаются в снисходительности, в высокомерном попустительстве, они же думаю, меньше всего заинтересованы в том, чтобы сваливать все грехи на западную цивилизацию.

Среди так называемых *трех миров* в отношениях друг с другом, по сути дела, находятся только "первый" и "третий". Для так называемого второго мира, из которого мы пришли, "третий" - лишь место приложения марксистско-ленинской, "единственно верной" исторической науки.

### ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1980 - 81

По выходным дням ГМР мало напоминал "аттendanта" с автопаркинга у ресторана "Эль Греко". Одежда от лучших фирм. Если уж костюм, то "Тед Лapidус". Если уж плащ, то "Берберри". Если уж ботинки, то "Черч". Кто догадается, что куплено на "блошином рынке"? Скорее уж подумают - эдакий "джет-сеттер" в поношенных *любимых* вещах.

...За его приближением со ступеней собора Святого Матвея следил американский нищий, красивый малый лет под сорок, рыжие кудри перехвачены кожаным ремешком, босые гноящиеся ноги - trade mark\*. Впрочем, может быть, это и не нищий, а просто-напросто осколок "поколения протеста". Просит во всяком случае с достоинством, какому и Боб Дилан бы позавидовал:

- Could you spare one dollar for me? \*\*

"Вот он, уровень инфляции, - подумал ГМР, - когда-то ведь, помнится, пели "Браток, подай мне гривенник". Достав выданный виды бумажник "Диор", ГМР отщелкнул нищему точно по запросу однодолларовую купюру.

- Thank you, - удивленно сказал нищий. - I was sceptical about you \*\*\*

- Отчего же, - пожал плечами наш герой, - я даю это вам как нищий нищему. Есть такое слово - "солидарность".

1982

Рэнди Голенцо в связи с продвижением по службе пригласил как-то кучу народа к себе, в наследственный "таунхаус". Накупил гамбургеров, не забыл и про соус А-1. Родственников предупредил, подмигивая: "Будет чудаковатый народ из "Пацифистских палисадов".

И, действительно, явилась троица - закачаешься! Великолепная Берна-

\* Фирменный знак.

\*\* У вас найдется доллар для меня?

\*\*\* Спасибо. Вы не внушали мне особого доверия.

детта-декольте сразу же привнесла в "парти" аромат чего-то греко-римского. Генерал Пхи в парадной рубашке хаки со следами боевых наград и с новеньким зайчиком "Плейбой-клаба" тут же принялся за обследование охлаждающей системы резиденции Голенцо. Скептически покачивал он хорошо причесанной головою - "вот так и мы рассчитывали на нашу стратегическую инфраструктуру".

Третьим в компании оказался русский бегун Лев Грошкин, с которым Бернадетта недавно познакомилась в Санта-Мелинде во время роликобежных уроков.

Лева в Америке процветал не старея. Получая помощь по программе "велфер" и подрабатывая иногда наличными в транспортной фирме "Голодающие студенты", он обеспечивал себе 120 миль еженедельного набега, что в сочетании с научной диетой и контролем над рефлексам повернуло все процессы его организма в обратную сторону; он выглядел теперь вместо своих полста на чистый четвертак. Таким молодцом он и воспринимался теми, кто не знал его раньше, а тех, кто его знал раньше, Лева старался избегать. "Старая шваль", - думал он о них с понятным презрением.

"Чемпион", - представлялся он новым знакомым. Это хорошее русское слово было понятно местным народам. Дружба с Бернадеттой Люкс внесла в систему циркуляции дополнительную гармонию. "Постарайся понравиться мистеру Голенцо, Лайв, - сказала она. - Рэнди близок к сферам". Лев кивнул. Это нетрудно. Не понимая ни слова по-английски, он хорошо соображал. "Эге, - сказал он, - гамбургеры! - И добавил: - Ого!"

Рэнди такой подход к делу явно понравился. "Вам кажется, что это гамбургеры? - хитро улыбнулся он. - А вот попробуйте-ка покрыть их соусом А-1. Получатся настоящие стейкбургеры!"

Племянш Джейсон цапнул из рук толстенное угощение. Эва, как широко и сокровенно открывается рот у малыша! Гамбургер, а на вкус стейкбургер!

- Эй, это твоего дяди стейкбургер! - вскричал Голенцо, вырывая едальное устройство из рук несовершеннолетнего человека.

Все замечательно захохотали. "Стейкбургер, - подумал Лева. - Государственная котлета, из спецфонда. Бернадетта, видимо, не врет. Рэндольф - важная шишка!"

### 1953

День смерти Иосифа, увы, совпал с днем рождения Филимона. Вот уже двадцать лет 5 марта безраздельно принадлежало ему. В день трагического совпадения он собирался вести всю "кодлу" в ресторан, для чего заложил в ломбарде фамильную реликвию, статуэтку Лознгрин.

"Кодла" неделю уже предвкушала поход в "Красное подворье", где играла по вечерам золотая труба Заречья - Гога Ахвеледиани, по слухам, входящий в десятку лучших трубачей мира, сразу после Луи Армстронга и перед Гарри Джеймсом. И вдруг такое неприятное совпадение - умер великий вождь народов, знаменосец мира во всем мире, попросту гений человечест-

ва. Веселье маленькой группы совпало с несчастьем космического масштаба. Такое, конечно, случается, но, согласитесь, нечасто.

В тот день в стране не хватало грустных прилагательных, траурных мелодий и черного тюля. На лицах был, как сказал поэт, "влажный сдвиг, как в складках порванного брежня". Скандалистка Шура, хватанув с дядей Петей привозного первача, билась за стенкой в истерике: "Жидов-то недобил, жидов-то недобил, отец родимый!"

Вся компания мрачно сидела на койках с учебниками по марксизму на коленях. "Отчего ребята такие смурные, - думал Филимон, - из-за вождя или из-за того, что "Красное подворье" отменяется? Спроси самого себя, - сказал он сам себе, - и без труда поймешь внутреннее состояние товарища". Вслед за этим фундаментальным умозаключением именинник водрузил на голову шляпу, выкраденную из реквизитной оперного театра, где периодически подрабатывал в толпе итальянских карбонариев, забросил за спину шарф и сказал:

- Похиляли, чуваки!

Три панцирные сетки мощно прогудели, три тела выплеснулись из лежбищ, словно морские львы.

- Куда похиляли?

- В "Подворье", еколо-мэнэ!

- Да ведь закрыто же, небось?!

- Не факт!

- Да ведь арестуют же за гульбу-то сегодня, в такой трагический для человечества день!

- Не обязательно!

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Сидя во Флаг-башне между Капитолием и памятником Вашингтону и озирая прекрасные окрестности, я писал свой - позвольте сосчитать, вот именно, четырнадцатый - роман под названием "Бумажный пейзаж".

Это была в то же время моя первая вещь, название которой возникло сначала по-английски, а уж потом было переведено на родной. Произошло это оттого, что мне нужно было вначале сделать на этот роман заявку для получения стипендии в Институте Кеннана. В замысле была история бедной души, потерявшей в бумажном мире современной бюрократии, политики, журналистики, литературы; отсюда и возникло словечко "paper-scape" по аналогии с "sea-scape" и "landscape"

Герой романа Игорь Велосипедов, автомобильный инженер, барахтается в потоке различных справок, заявлений, газетных статей, самиздатских рукописей, доносов, анкет, досье... Будучи в курсе (как и многие другие со-

\* "Бумажный пейзаж", "морской пейзаж", "ландшафт".

ветские интеллигентики) йоговской философии, он размышляет о том, что у человека в современном мире, кроме ниспосланных ему с Небес трех тел (физического, астрального и духовного), появляется еще и четвертое тело, творимое "империей", - бумажное тело на фоне бумажного пейзажа.

Велосипедов бунтует, ему хочется вырваться из фальшивого (как он полагает) бумажного мира, но даже и бунт способствует образованию (в соответствующих организациях) его бумажного образа бунтаря. В конце концов, в результате развития литературной, то есть опять же "бумажной" судьбы, наш герой оказывается в Америке, в Манхэттене, где скопление небоскребов иной раз напоминает ему стопки машинописи самиздата.

Реальность в данном случае иронически улыбалась не только в адрес героя, но и сочинителя. В сравнении с американским бумажным потоком советский оказался всего лишь ручейком. В СССР существует одна лишь государственная бюрократия, в США - множество разных бюрократий, которые и обрушивают на человека несметное количество бумаги.

Советская государственная бюрократия, унаследовавшая от царской всю ее тупость и преумножившая это качество во сто крат, стара, малопродуктивна, терзаема неопределенным комплексом вины. Она неповоротлива, плохо оснащена, процесс изготовления бумаг громоздок, отвратен не только получателям, но и производителям.

Американская бюрократия моложе русской, оснащена компьютерами, энергична и, кажется, очень довольна собой. Проходя через упомянутое уже выше Управление иммиграции и натурализации, а также оформляясь внештатником на "Голос Америки", я заметил, что система продуцирует свои многочисленные формы с отчетливым удовольствием. Иной раз передо мной оказывались устрашающе огромные листы бумаги с многочисленными параграфами, пунктами, клеточками, с крупным шрифтом и непарелью, на которых практически нужно было лишь поставить в каком-нибудь углу "yes" или "no".

К счастью, правительство не охватывает всех сторон жизни общества. К несчастью, кроме правительства, имеется множество других бумажных структур, заваливающих обывателя бумажным хламом. Я говорю "к счастью" или "к несчастью", хотя в принципе не вижу альтернативы. В отличие от моего героя - бумагоборца Игоря Велосипеда, я не знаю, может ли общество ограничить свое бумажное обжорство.

Так или иначе, но по мере вrastания в американскую жизнь, я становился "реципиентом" все большего количества бумаг. Не зная еще, что существует такое понятие, как junk mail\*, я приходил в отчаяние, глядя, как на моем столе к концу каждой недели вырастает гора конвертов и пакетов. Пытаясь ответить на настойчивое и любезное внимание моих новых сограждан, я в течение первого года жизни в Вашингтоне выписал восемь кредитных карточек (четыре из них совершенно ненужные), вступил в отно-

---

\* Почтовый мусор.

шения с тремя разными компаниями страхования жизни, был втянут в какие-то идиотские sweepstakes\* и, как полный балда, растирал присланным никелем какие-то посеребренные поверхности, дважды вступал в Ассоциацию спортсменов-любителей и почему-то стал получать по три экземпляра их ежемесячного журнала, присоединился к обществу "За чистый воздух", "За охрану животного мира", стал посылать свою лепту в "Армию спасения", в World vision в Союз Весенних даффоделей, в United Way, выписал шесть еженедельников, некоторые из которых, например, "Таймс" стали почему-то приходить в двух экземплярах, заказал за сто восемьдесят долларов кожаную куртку (за углом такие стоили сто сорок), зажигалку в виде патрона времен первой мировой войны, после чего, вполне естественно, вступил в "Клуб лучшей книги месяца" и получил шеститомную биографию какого-то Адлая Коперстайна, за которую, к счастью, не заплатил ни цента, потому что она, как видно, была послана мне по ошибке...

Срастание коммерческого бюрократа с компьютером придает всем этим отношениям несколько юмористический характер. Предположим, из кредитного общества вам приходит счет, в котором даже вы, бездарный неуч, обнаруживаете ошибку в восемьсот долларов не в свою пользу. С одной стороны, приятно думать, что это не какой-нибудь индивидуум пытается тебя обжулить, а просто компьютер зарпортовался, а с другой стороны, нельзя не вздохнуть: почему машина никогда не ошибется в твою пользу, не насчитает тебе лишнюю сотню, почему она жмет на тебя, а не на себя?

Странное чувство возникает, когда ты вдруг выясняешь, что за тобой идет многомесячная электронная охота. Например, через два с половиной года после отъезда из Калифорнии я получил из Сакраменто категорическое требование немедленно заплатить этому штату должок в размере 1.900 долларов. В бумаге сообщалось, что все предыдущие попытки отдельных индивидуумов укрыться от выплаты калифорнийских налогов кончались плачевно, то есть тюрьмой.

Надо сказать, что в бытность мою в Калифорнии, то есть в самом начале американской жизни я и понятия не имел об американских налогах и только лишь удивлялся, почему мое университетское жалование сокращается к выплате чуть ли не вполтину.

Пока я пребывал в недоумении, из Сакраменто пришли с интервалом в один день еще три угрожающие бумаги - компьютерная охота завершилась успешно, жертва на крючке. Тень решеточки уже маячила в отдалении: плати или садись! Платить ни с того, ни с сего не хотелось, садиться тоже. Посадка в американскую тюрьму вызвала бы полное недоумение у "кураторов" в Москве, на площади Дзержинского. Я пошел к своему "аккаунтанту", мистеру Адамсу. Вот такие, говорю, дела, Чарлз, спаси от тюрьмы. Чарлз Адамс ловкою рукою встряхнул калифорнийские угрозы. И улыб-

---

\* Вид лотереи.

нулся: попытаюсь. Через неделю компьютерная охота завершилась совершенно неожиданным образом. Штат Калифорния вернул мне 680 долларов. Оказалось, не я им должен, а они мои должники, а ведь мне и в голову не приходило угрожать им тюрьмой.

Все американское "финансовое" становится на первых порах полнейшей головоломкой для советского эмигранта. В Союзе денежные отношения между людьми и финансовой структурой общества находятся на добавочковском уровне: никаких чековых книжек, а о кредитных карточках никто и не слышал. Финансовые отношения между отдельными людьми в принципе держатся на уровне Золотой Орды. О банках советский человек знает лишь то, что банкиры - это империалисты. Фондовая биржа для меня и до сих пор является самым загадочным американским институтом, и я, видимо, просто никогда не пойму, как, почему и для чего происходит торговля всеми этими "commodities"<sup>\*</sup>, почему повышаются или понижаются учетные ставки и что такое "дефицит платежного баланса".

И тем не менее при всей моей финансовой тупости в американской жизни даже я становлюсь маленьким финансистом.

Жизнь в Америке являет на свет, как я понимаю, кроме четвертого "бумажного тела", еще и пятое, "финансовое тело" человека. Деньги, положенные в банк, равно, как и деньги, взятые из банка, это не просто твои сбережения и траты, это как бы твои контуры внутри финансовой реальности. Тратя и вкладывая, оплачивая счета и беря кредит, ты составляешь о себе мнение.

Невинные социалистические души волей-неволей становятся осведомленными в таких понятиях, как "баланс" и "кеш флоу". Банк шаг за шагом вовлекает тебя в какие-то свои таинственные мероприятия, он делится своим мнением о тебе с другими банками и кредитными обществами и еще какими-то организациями. Вначале все это кажется тебе порядочным абсурдом, ты не можешь понять, чего от тебя хотят эти "тузы" и "воротилы" (советская терминология), почему они так заинтересованы в твоих жалких деньгах, потом вдруг осознаешь, что стал, хоть и ничтожным, но элементом этой странной жизни, и что к твоим малым деньгам банк относится с тем же автоматическим уважением, что и к миллионному куску.

Сложность этой банковской жизни, в которую вовлечен рядовой гражданин, поначалу шокирует советского простака. Вначале даже обыкновенная банковская машина, выдающая наличные, вызывала у нас остолбенение. Помню, как мы изумленно наблюдали на Мэйн-стрит в Анн-Арборе: какой-то типчик хипповатого обличья стоит у стены какого-то дома, нажимает какие-то кнопки, и из дома выскакивают ассигнации, и типчик засовывает их в карман. Теперь и я сам с ловкостью, какой тот типчик, может быть, позавидовал бы, отщелкиваю на этой машине различные "трансекшин", беру чис-

---

\* Товары потребления.



тоганом, делаю "депозиты", осведомляюсь, "сколько луидоров у нас осталось", и т.п.

Пока мы научились более-менее шевелить мозгами, чтобы извлекать удобства из банковской системы, мы попросту зверели от всех этих "балансов", "кредитов", "дебитов", "депозитов"... Должен признаться, что некоторая система "Чекстра", в которую меня вовлек мой банк, до сих пор кажется мне формой замаскированного грабежа, хотя я и понимаю, что она направлена на мое благоденствие.

Еще более сложным и, кажется, совсем уже непостижимым (во всяком случае на текущий момент) кажется нам соотношение между списанием с налогов, займами в банке и учетными ставками. В этих делах я вряд ли когда-нибудь научусь "шевелить мозгами". Разобраться, почему выгодно (или невыгодно) покупать дом, платить банку огромные проценты или, наоборот, не покупать дом, а платить "рент" за квартиру, представляется мне почти невозможным. Иногда нам с Майей кажется, что мы уже достаточно американизировались и можем теперь хорошо во всем разобраться. Мы садимся за стол и начинаем что-то высчитывать и через некоторое время, полностью запутавшись, бросаем это дело. Иногда нам кажется, впрочем, что и никто в этом не разбирается, включая и тех, что дают нам советы.

О вложении денег - о всяких там "инвестментах" - и говорить нечего. К моменту эмиграции мой адвокат Лен Шройтер собрал для меня из разных издательств некоторую сумму. Мы ее потратили на путешествия в Европу, Океанию, Грецию. Один из новых друзей как-то нам сказал, что эту сумму за это время можно было увеличить вдвое.

Система американских налогов и списаний в ее запутанности и сложности поначалу показалась мне едва ли не идиотской. Только сейчас я начинаю понимать, что эта система стимулирует инициативу, заставляет людей то тратить, то зажимать деньги, то выискивать всякие лазейки (помню, как мы были поражены, увидев по TV рекламу фирмы, которая помогает гражданам находить получше tax shelter\*, то есть увилить от налогов), то жертвовать на благотворительность, то начинать какое-нибудь предприятие, то сворачивать; то есть эта система как бы обеспечивает постоянное впрыскивание энергии в камеру внутреннего сгорания национальных финансов, иными словами, эта система рассчитана вовсе не на таких лопухов, как я.

Оглядываясь вокруг, я не без некоторого почтительного содрогания думаю о том, что большинство окружающих нас людей по сути дела - американские финансисты. Иной раз видишь пару мужчин, прогуливающихся вдоль набережной или сидящих в кафе, или загорающих возле бассейна. О чем они говорят, думаешь ты. Ну вряд ли о "Диалогах" Платона или о стихах Эмили Дикинсон, однако, вполне возможно, что о женщинах, о спорте, о политике. Прислушавшись, ты чаще всего услышишь, что парочка, хоть и с некоторой курортной вялостью, но все же увлеченно обсуждает вложе-

---

\* Списание с налогов.

ния, учетные ставки, списания, поиски бюджета... Впрочем, и те, что толкуют Платона, и те, что иронизируют в данный момент по этому поводу, вовлечены в финансовый метаболизм этого общества.

Среди разительных несходств советского и американского обществ находится отношение к трате денег. Там трата денег, щедрые покупки, скажем, или гульба в ресторане всегда являются чем-то не очень пристойным, каким-то щекотливым делом, здесь трата денег - почтенное и общественно полезное занятие.

Среди еще более разительных различий находится информация об экономической жизни. Гражданин так называемого "организованного общества" с его "плановой" экономикой не имеет ни малейшего представления о том, что происходит в стране (несмотря на оглушающие радостные крики о победах и достижениях), - будто под ним гигантское мертвое тело.

В Америке ежедневно в газетах и по ТВ мы видим реальные цифры подъемов и падений, а колебания этой таинственной биржи как бы отражают движение могучего брюха, вздутие мышц, раздувание альвеол, эрекцию кавернозных тел этой "неплановой", то есть как бы хаотической экономики.

### БЛАГОТВОРНОЕ НЕРАВЕНСТВО

Почувствовав себя частичкой этого общества, я не мог не подумать о неравенстве. В самом деле, в стране, где проживает миллион (sic!) миллионов, каждый 240-й из встреченных вами на улице является таковым, в то время как 239 таковыми не являются, то есть страдают от неравенства.

Однажды в Вашингтоне зашел спор на эту тему. Вообразите, он происходил на кухне, то есть в московском стиле. Понятие "кухня московского интеллектуала" уже вошло в литературный жаргон во всем мире. Вариантов спасения человечества было на этих кухнях предложено гораздо больше, чем рецептов пирога.

В Америке кухонный период общественной жизни как-то выпадает из наблюдений. Здесь дискуссия перенесена в обеденный зал: тысячи тематических ленчей и обедов еженедельно по всей стране. Я и сам не раз побывал на таких мероприятиях - и гостем-спикером, и едоком-дискуссантом уже посидел немало.

Спор, о котором я сейчас говорю, по мизансцене напоминал московскую кухню, но, согласно американской культурной традиции, никто не старался перекричать оппонента или открутить ему жилетную пуговицу.

Речь шла о равенстве и неравенстве. Свеженькая темка, не правда ли? Копий и дров наломано стелько, что хватило бы, пожалуй, на растопку не одной, а десятка цивилизаций. "Вот, Василий, выскажись, ведь ты приехал из общества полного равенства". - "Э, нет, господа, прошу не разводить мелкобуржуазную уравниловку! Конечно, СССР - самое равноправное общество на земле, но, как говорил теоретик Снежок из романа "Скотский хутор": все животные, товарищи, равны, но некоторые все-таки равнее!"

Творческая мысль в СССР признает, что нынешнее самое справедливое все-таки еще не вполне справедливо, еще не вполне совершенно, ибо еще предстоит нам дорога к нашему идеалу - "от каждого по способностям, каждому по потребностям", то есть к этим зияющим, виноват, сияющим вершинам.

Маршу мешают скептики, малoverы. Каждому по потребностям воздать невозможно, говорят они. Получится безобразное обжорство, глупейшее расточительство, разгул и разврат, никакая экономика не выдержит, крикнет даже самая передовая, та, что нынче такими успехами поражает человечество. Скептики, конечно, неправы. Они танцуют от капиталистической печки и говорят о капиталистических потребностях. Между тем принцип "каждому по потребностям", очевидно, достигим, если как следует поработать над потребностями, то есть снизить их до необходимого уровня или научиться ими управлять в зависимости от возможностей экономики. Таким образом, господа, нам не очень-то следует обольщаться, говоря об удовлетворении потребностей: ведь речь-то идет об удовлетворении иных, не нынешних, коммунистических уже потребностей.

В определенном смысле работа по выработке этих новых потребностей началась уже давно и идет довольно успешно, хотя не без некоторых досадных огрехов и сбоев. Духовные потребности населения, например, доведены до блестящего минимума, и нынешний уровень, конечно, еще не предел.

История дает впечатляющие примеры. До 1917 года в России была огромная потребность в религии, и вдруг она разом в огромном масштабе прекратилась. Нынче эта потребность как-то нежелательно возросла, однако опыт по ее снижению накоплен основательный, и в нужный момент ее, очевидно, можно будет спустить до прежнего минимального старческого уровня. К очень подходящему уровню сведена потребность общественной активности, примером тому многомиллионная организация сторонников мира во главе с Юрием Ж. Этот же товарищ олицетворяет наши потребности в журналистике и политическом активизме. Высылка доброй сотни русских писателей за границу говорит о потребностях в литературе.

Итак, история показывает нам знаменательные изменения духовных потребностей, ну а что касается самой истории, то в ней потребность попросту микроскопическая. Словом, в духовной сфере советское общество семимильными шагами идет к полному равенству.

Этого пока, увы, не скажешь о потребительской сфере. Тут гражданин еще жаден, капиталистичен. Подай ему пищу повкуснее да подорожаче-ственней, одежду попрочнее да поизящней. Экономика, нацеленная на равенство, никогда не справится с этими потребностями неравенства. Как это противоречие преодолеть, да и преодолимо ли оно? Строгими дисциплинарными мерами, конечно, можно добиться желательного снижения потребительских потребностей, ну а экономика уже сама себя покажет. Если невозможно стремиться к повышению качества жизни, то для достижения равенства можно стремиться к снижению качества жизни.

Тут в споре всплыла известная формула Черчилля: "Капитализм - это неравное распределение блаженства, социализм - это равное распределение убожества". Кто-то тут же сказал, что в наши дни эта формула нуждается в поправке.

Социализм, или то, что называется сейчас "реальный социализм", в самом деле вызывает всеобщее убожество, однако распределяется оно неравномерно. У одних его (убожества) больше, у других (особенно у тех товарищей, что равнее равных) меньше. Исправленная формула Черчилля звучала бы следующим образом: "Капитализм - это неравное распределение блаженства, социализм - это неравное распределение убожества". Однако даже убожество, распределенное не поровну, все-таки больше соответствует человеческой природе, чем утопии равенства, они ужасают и в самых блестящих вариантах.

Равенство, на каком бы уровне оно ни возникло, пусть даже на самом богатом и преуспевающем, быстро приводит к снижению уровня и убожеству. В неравенстве - залог прогресса.

"Мне нравится, что в обществе есть недоступно богатые люди", - сказал один из участников дискуссии. Помните, как у Фицджеральда: "Богатые - это другие". Присутствие элиты делает жизнь интересней, попросту забавней. Мне самому, например, наплевать на золотые часы "Роллекс" или "Конкорд" с бриллиантами, прекрасно обхожусь "Сейкой", работает не хуже, но вот почему-то приятно, что кто-то рядом носит эту бессмысленно дорогую штуку.

Англичане недаром (даже и при лейбористских правительствах) поддерживают институт королевского двора. Это эталон замечательного общественного и эстетического неравенства. Принц Чарлз в интервью с американским журналистом Питером Осносом показал ясное понимание своей роли как общественного эталона "британства". Питер продемонстрировал удивительное портретное сходство с принцем и схожую манеру одеваться, однако отметил не без удовольствия, что костюм высочайшей особы был в два раза дороже.

Вполне естественно, что в споре зашла речь о другом полюсе неравенства, о бедных и обездоленных. Уж не собираются ли сторонники неравенства представить наше общество идеалом в то время, как пресса и телевидение ежедневно сообщают о тысячах бездомных, об очередях к благотворительному котлу, о нуждающихся и безработных. Какой уж там идеал! Никто пока что в реальном мире и не предвидит идеала. Наличие нищеты и убожества - это одна из главных общественных проблем, "головная боль", как здесь говорят. Убожество, однако, не ликвидируешь, отобрав у богатых их излишки и распределив среди бедных. Надолго не хватит. Динамично развивающееся общество борется за своих бедных гораздо более сложными и многообразными путями. Допустимый уровень бедности соприкасается с уровнем человеческого достоинства. Всякий человек должен иметь свое жилище, за исключением, разумеется, тех, кто не хочет его иметь, а таких тоже немало. Экономическое неравенство в присутствии человеческо-

го достоинства - вот о чем, собственно говоря, следовало бы вести речь. Не против богатых, но за бедных - таков, кажется, смысл современной экономической справедливости.

Клуб американских миллионеров, если можно так сказать, это сердцевина процветания в этой гигантской стране. Социальная демагогия проваливается в обществе, где каждый хочет стать миллионером, где неравенство вызывает снизу не желание "отнять", а желание подняться выше, получить и потратить больше.

Любопытно, что, вступив в эру новой технологии, общество потребления предлагает новую форму равенства, основанного не на марксизме или других социальных теориях, а на практике современной торговли.

Спорщик, высказавший эту мысль, приводил примеры из сугубо практической жизни. Ну вот, извольте. Миллионер покупает "роллс-ройс" за сто тысяч, а бедняк покупает "фольксваген-кролик" за пять тысяч. Неравенство, дикая социальная несправедливость как будто бы налицо, однако "кролик" катит не намного хуже, чем "серебряная тень", так же, как "роллс", он дает вам прикурить, развлекает музыкой, рессоры у него отличные, кресла удобные, хоть и не из марокканской кожи, а из пластика, имеются внутри и кондиционер воздуха, и отопитель; транспортные возможности бедного человека приближаются к миллионерским. Кто-то тут попутно рассказывает курьезную историю. Оказывается, гаражи не принимают "роллс-ройсы" на стоянку: очень уж страховка высока. Дискриминация миллионеров.

Ну, вот еще примеры. Появляются, предположим, технологические новинки, какие-нибудь новые модели стерео- или видеосистем. Поначалу они доступны только очень богатым людям, но не проходит и года, как цены на эти товары фантастически падают, а еще через год или менее того они уже становятся доступны практически всем. Это происходит на наших глазах. Промышленность и торговля в жажде продать побольше, то есть в жажде развития, постоянно усовершенствуют свои открытия и удешевляют их массовое изготовление.

Появляется новый стиль в одежде. Шестифутовые манекенщицы демонстрируют тряпки баснословной цены. Проходит месяц, и огромная индустрия начинает выбрасывать точно такие же тряпки на рынок по вполне доступным ценам. Ориентация на богача плавно переходит в ориентацию на середняка, а потом и на бедняка. Не надо делать богача беднее, надо сделать бедняка богаче.

Современному бедному человеку доступны наслаждения, которые были ранее только достоянием богатых. За пятерку можно слушать лучшие оркестры мира, за десятку смотреть великолепные репродукции. Бурно развивающаяся видеомузыка дает еще большие возможности. Перелеты через океан становятся все дешевле, несмотря на инфляцию. Все доступней становится копирувальная и множительная техника, домашние компьютеры и прочее.

Так возникает новый мир, и так возникает это странное новое равенст-

во посреди неравенства. С марксистской точки зрения, это, конечно, не подлинное равенство.

Да, скажем мы, к счастью - не подлинное!

От неравенства экономического мне очень легко перепрыгнуть в неравенство политическое, ибо в этой сфере американской жизни у меня пока что нет никаких прав, за исключением права возвращаться в эту страну из заморских путешествий.

Прилежно выплачивая налоги в течение пяти лет, я в конце концов за получу право гражданства и вместе с ним возможность участвовать в великой борьбе "слона" и "осла", однако, должен признаться, что *ложа* я никаких особенно пылких гражданских эмоций в отношении американской политической структуры не испытываю, за исключением одной - чтобы она держалась.

Американцу, должно быть, редко приходит в голову, что его демократия может покачнуться или вдруг развалиться. Нам, людям из Восточного блока, на первых порах демократия кажется хрупкой и уязвимой, как Красная Шапочка в лесу. Привыкшие к беззаконию наших бывших правительств, к постоянному глумлению над личностью, мы долго еще считаем эти качества проявлением силы, в то время, как американская демократия кажется нам избыточной, и мы за нее просто боимся.

Вот, например, Уотергейтское дело. Американская пресса осуществила свое право на критику любой личности, включая и президента. Газета "Вашингтон пост" изгнала из офиса первого человека страны. С одной стороны, последствия этой кампании оказались более чем трагическими. Кризис института американского президенства привел к установлению тоталитаризма в нескольких странах Азии и Африки, к уничтожению красными трех миллионов камбоджийцев, к глобальному падению авторитета демократии.

Не без содрогания выходец с Востока думает о том, что может произойти в дальнейшем, если что-то вроде этой истории повторится. Развал Соединенных Штатов, тот самый "последний и решительный бой", о котором *они* поют в своем гимне?.. Нелегко нам увидеть вторую сторону этого дела и представить его как один из катаклизмов, необходимых для *укрепления* американской демократии. Нам трудно понять тот факт, что американцы, в гигантском большинстве патриоты, не отождествляют страну с правительством. Коммунисты всем вбили в головы, что они и есть Россия, что их партия это и есть Советский Союз, страна, государство, воплощение национальной гордости и патриотизма. Не чураясь и метафизики, они внедряют в головы людей страннейший постулат "Народ и партия едины!"

Огромность и мощь Америки автоматически вызывают у советских людей предположение, что и здесь происходит нечто подобное советским процессам, что где-то существует единый (может быть, невидимый?) центр, контролирующий всю американскую жизнь. Иначе как, мол, можно все это удерживать и приводить в действие?

...Прошлой зимой несколько моих студентов университета Джонс Хопкинс и Гаучер-колледжа побывали туристами в Советском Союзе. Масса впечатлений и возбуждение немалое. Один щеголяет в советской флотской шинели, которую где-то выменял на пару джинсов. "Как же вы там обходились, Тим, без джинсов? - спросил я. - Ведь холодно". - "Запасные, сэр, - пояснил он. - Основные-то оставались на мне".

Двадцатилетние американцы были поражены некоторыми вопросами, которые им задавали советские люди об американской жизни. У нас сложилось впечатление, говорили они, что многие там всерьез считают Штаты тоталитарной страной. С неподражаемым сочувствием спрашивают, как в Америке осуществляется "промывка мозгов". Уверены, что ФБР - повсюду, что университеты, скажем, кишат стукачами, инакомыслие повсеместно подавляется, телефонные разговоры подслушиваются, письма перлюстрируются, и все это направляется президентом Рейганом, настоящим диктатором. "Мы просто руками разводили, - говорили студенты, - видно было, что ничего не докажешь, да к тому же, знаете, как-то смешно защищаться от таких обвинений, находясь в Советском Союзе".

В самом деле, проще всего было бы отделаться замечательной русской поговоркой: "чья бы корова мычала, а твоя бы молчала", но все-таки приуствует в этом деле некоторый аспект, который призывает продолжить разговор. Дело в том, что не только те люди, что задавали нашим студентам подобные вопросы, то есть не только те, кто подавлен ежедневной и ежечасной антиамериканской пропагандой или попросту осуществляет оную, но и независимо мыслящая российская публика имеет некоторые сомнения в отношении Соединенных Штатов. В Европе, дескать, это да, настоящая демократия, а вот в Америке все-таки, знаете ли, все сверху управляется, там очень крутая администрация, там военно-промышленный комплекс, ФБР, ЦРУ и прочее. Мало кто по-настоящему понимает, насколько демократично американское общество, как здесь развито не просто инакомыслие, но разномыслие.

Рейгана, особенно в начале его президентства, советская пресса называла чуть ли не "вторым Гитлером" (о Сталине почему-то в этих случаях не вспоминается). Конечно, мыслящие люди в СССР этому не верят, но даже они не представляют себе той простоты, с которой президент располагает в порядках американской жизни. В России народ любит рассказывать анекдоты о своих правителях; кто шепотком, а кто и громко. Здесь устных анекдотов о Рейгане вы не услышите. Почему? Боятся ФБР, так, разумеется, объяснит "Литературная газета". На самом же деле все анекдоты о Рейгане немедленно печатаются в газетах и журналах, изображаются в карикатурах и распространяются в миллионах экземпляров. А между тем прессу в США советские газеты называют "машиной американской пропаганды".

Восхитила меня история с шестнадцатым блоком Пенсильвания-авеню. Однажды в вечерних новостях мы услышали, что Белый дом хочет, по соображениям безопасности, закрыть эту часть улицы для "траффика". После этого в местной прессе печатались бурные протесты. "Пен" принадлежит

вашингтонскому люду, а не президенту Рейгану, заявила мэрия города. Хотел бы я увидеть, как Моссовет вот так же осаживает Горбачева.

В Вашингтоне немало магазинчиков с левым уклоном различного гадуса. Недавно я шел мимо одного из них (в десяти минутах ходьбы от Белого дома, между прочим) и увидел в витрине сатирический плакат. Он назывался "Анатомия нашего президента". На нем был изображен Рональд Рейган в трусах. Надписи и стрелочки обозначали его органы. Уши президента, гласила одна надпись. Левое не действует, президент внимает только звукам справа. Руки президента чрезмерно развиты. Сердце президента работает ритмично, потому что он спит восемнадцать часов в сутки. Разумеется, чем ниже шли стрелки, тем сомнительнее становились надписи.

Это Америка. Сомневаюсь, что британские смутьяны выставят в таком виде свою королеву, или французы - Миттерана. В Европе еще сохранилось традиционное почитание первого человека страны.

Рейган - американец, и это его не очень-то волнует. Должен сказать, что этот президент вообще, как мне кажется, неплохой парень. Когда пуля ублюдка попала ему в грудь, на лице его не мелькнуло даже тени страха. Это видела вся страна сотни раз в бесконечных повторах. Удар в грудь, и вслед за этим лишь жесткий взгляд - откуда атакуют? Известно, что лидер одной другой большой страны в обстоятельствах менее серьезных сходил под себя. Походкой и жестикуляцией президент почему-то напоминает мне моего покойного друга Статиса, отличного графика и пловца. У него неплохое чувство юмора и даже самоиронии, поистине уникальное качество для государственного деятеля. На последних выборах американцы продемонстрировали свое отношение к этому, как один репортер выразился, *ultimate product of Hollywood*\*\*.

После пятилетней жизни здесь смешно встречать в советских газетах выражение "американская машина пропаганды", тем более смешно читать, что администрация Рейгана манипулирует этой машиной. Знаю по собственному опыту, как трудно советскому человеку до конца уяснить, что американские средства информации (за исключением только сравнительно небольшого правительственного информационного агентства) не имеют никакого отношения к правительству, а напротив, как бы противостоят ему.

Порой становится не очень-то приятно наблюдать, как газетчики и репортеры телевидения чуть ли не преследуют президента, ловят его на каждом слове, сообщают (даже) результаты его последнего медосмотра, пересчитывая все лимфоциты и эзонофилы, вслед за хирургами лезут президенту в кишки. (В СССР кишки вождя - высшая государственная тайна.)

Комментаторы TV считают своим долгом прежде всего поставить под сомнение любое заявление президента. Сначала усомнимся, а потом поговорим - вот принцип. Например, если президент говорит, что надо улучшить

---

\* Английское слово "arm" означает и "рука", и "оружие".

\*\* Конечный продукт Голливуда.



дисциплину в школах, по телевидению тут же сообщается, что в этом нет никакой нужды, что в школах и так все в порядке. Без сомнения, если бы он сказал, что дисциплина хороша, тут же показали бы всякую гадость.

В интеллигентных кругах возник определенный стереотип леволиберального фрондерства. Чтобы сказать в адрес президента несколько положительных фраз, надо в общем-то обладать каким-то уровнем независимого мышления. Русским эмигрантам поначалу все это кажется катастрофичным, но потом они начинают думать, что, может быть, именно на этом разномыслии и зиждется американская мощь с ее гибкостью и взаимозаменяемостью частей.

Любопытно, что в антирейгановском раже советские газеты нередко перепечатывают американские статьи, бьющие по президенту, и на тех же своих страницах убеждают читателей, что Рейган задушил малейшие проявления свободы.

Иные из антирейгановских сатирических плакатов в окнах левых книжных лавок бывают не лишены остроумия, другие отличаются изрядной тупостью. Недавно я видел одну такую карту "Мир согласно Рейгану". На ней изображен был, например, крупнейший Тайвань и съжившийся коммунистический Китай. Огромная Польша с надписью "Солидарность" подавляла мелкие страны Европы, охваченные пацифизмом. Отечество для палестинцев было найдено в Северном Ледовитом океане. Над СССР было написано "Страна безбожных лугов". Простите, ребята, но в последнем случае ваша ирония, как унтер-офицерская вдова, "сама себя высекла".

И все-таки я не все понимаю, если не сказать большего. Американская демократия, видимо, основана на психологических структурах, мне неизвестных.

Впервые с самого начала наблюдаю избирательную кампанию. К моменту написания этой строки в ней начинается очередной скандал. Первое в истории страны выдвижение женщины на пост вице-президента вызывает общенациональную эйфорию, а через пару недель газеты и телевидение с азартом начинают выяснять запутанные финансовые дела ее мужа. С экрана ей задается вопрос: "Что вы там прячете, мэм?" Но в то же время многотысячные толпы встречают ее восторженными воплями, а серьезные политики говорят, что, каким бы ни оказалось раскрытие финансовых махинаций, оно не повредит ее шансам на выборах.

Нам, американофилам из СССР, кажется, что демократический процесс должен осуществляться какой-то особой породой безупречных людей, а он между тем осуществляется людьми обычными, среди которых есть и глупцы, и показушники, и честолюбцы, а чаще всего людьми, в которых чего только не намешано. Народу приходится делать отбор среди всех этих качеств. Проблема выбора, столь часто встающая перед американцами, кажется нам, людям, уставшим от тотального политического обмана, тяжелой ношей. Один огромный всеобщий обман, конечно, проще массы всевозможных маленьких приемов и уловок.

ВАШИНГТОН - МОСКВА С ПОЧТОВЫМИ ГОЛУБЯМИ  
(предвыборная переписка)

В кинофильме "Москва на Гудзоне" русский беженец падает в обморок не в силах выбрать в супермаркете сорт кофе из дюжин, расставленных на полке. Слишком обширный выбор оказывает слишком сильное действие на нетренированные мозги.

Подобного же рода головокружение я испытывал, наблюдая теледебаты девяти демократических кандидатов на одно место соискателя одного стула. Девять! И каждый лучше предыдущего, и так по кругу, то есть наоборот! Не слишком ли щедрый выбор?

Благодаря мудрым и дальновидным иммиграционным законам, я еще не имею избирательных прав, так что можно не волноваться, однако, мне как-то не по себе в этом году, все время спрашиваю себя, что бы я сделал, будь избирателем?

Намерения всех кандидатов в президенты США столь благородны! Как определить высший уровень благородства?

Я поделился своими сомнениями со старым московским другом по имени Фил Фофановф, известным в Москве, как смесь Чайльд Гарольда и Санчо Пансы, человеком из нынешнего урожая российской интеллигенции, иначе говоря, внутренним эмигрантом. Мы умудряемся сноситься друг с другом посредством почтовых голубей.

ВАШИНГТОН - МОСКВА

*Дорогой Фил, впервые в жизни я наблюдаю американскую избирательную кампанию с самых ее истоков. Сейчас каждый вечер в нашей гостиной шумят отголоски таинственных событий, именуемых "праймериз" и "кокусы". Эти американские "кокусы" не имеют никакого отношения ни к московским кактусам, на один из которых ты однажды по пьянке сел к полному неудовольствию твоего зада, ни к Кавказу, где мы когда-то с тобой карабкались.*

*Возможно, ты помнишь, что мы прекратили голосовать еще в 1956 году, когда впервые обнаружили смехотворный обман в советских избирательных бюллетенях. Инструкция на этих листках гласила: "Оставьте одного кандидата, остальных зачеркните". Ты сказал: "Смотри, здесь нет никаких "остальных", здесь только о д н о имя. Они нас принимают за шибеццлов". С тех пор слово "выборы" у нас не вызывало ничего, кроме тошноты.*

*Сейчас вaley-неволей я чувствую даже и себя вовлеченным в местную гонку, и я не исключение в нашей эмигрантской общине. Собираясь, мы обмениваемся дежурными фразами об Андропове и Черненко, а потом не без пыла начинаем обсуждать все эти "кокусы", толковать такие вздорные предметы, как "каризма", и вслед за всей нацией выкрикивать:*

"Where is the beef?!"\*

*Спрашиваю себя - что это такое: подсознательная потребность человеческой природы или азарт болельщика?*

Птахи нынче летают быстро. Вскоре я получил ответ.

## МОСКВА - ВАШИНГТОН

*Дорогой Василий, вообрази, ваши американские выборы ныне совпадают с нашими советскими выборами!*

*Как раз когда я читал твое письмо, раздался стук в дверь. Вошла хорошенькая девушка и сказала: "Привет, я ваш агитатор. Мне нужно зарегистрировать ваше имя, возраст и пол для приближающихся выборов в Верховный Совет".*

*- Вы появились вовремя, - сказал я. - Не могли бы вы разъяснить мне разницу между советскими и американскими выборами?*

*Она заглянула в "Спутник агитатора" и разъяснила:*

*- В американских выборах все кандидаты являются ставленниками военно-промышленного комплекса.*

*- То есть вы хотите сказать, что и американские избиратели не имеют никакого выбора?*

*Хорошенькая агитаторша пожала плечами и вздохнула:*

*- Что вы задаете такие странные вопросы, товарищ? Лучше скажите, что записать в графе "пол". Мужчина?*

## ВАШИНГТОН - МОСКВА

*Дорогой Фил, третьего дня один из этих "ставленников военно-промышленного комплекса" яростно атаковал проект бомбардировщика Б-1. Выступая перед студентами университета, он заверял их, что отнимет жирные куски у ненасытной военной машины и отдаст их им, художавым молодым людям. Он явно рассчитывал на взрыв аплодисментов и восторга, подобных тем, что когда-то тут получал тот, с которым его сейчас сравнивали, однако, студенты по совершенно непонятным причинам хранили ироническое молчание.*

*К счастью, все это пока ко мне не имеет отношения. У меня нет прав оценивать кандидатов по их философской мощи или интеллектуальным возможностям. Единственное, что я в самом деле могу оценить, - это их внешность.*

---

\* "Где же мясо?!" - фраза касалась популярных в США котлет-"гамбургеров" и прозвучала в одной из телевизионных передач. Эмоциональность и выразительность, с которой она была сказана, сделали ее крылатой.

Посмотрев на них с этого угла, я нахожу их всех довольно привлекательными - высокие, подтянутые, костлявочки неплохо пошиты, аккуратные прически. Лысины не просматриваются. У лысого человека, похоже, мало шансов на избрание.

Конечно, кандидаты - не самые красивые люди в этой стране, но они и не должны быть "самыми", иначе от них можно было бы потребовать и комбинации других "самых-самых" качеств. Они просто должны быть "fit"<sup>\*</sup> для президентства, вот в чем дело.

Кроме "каризмы", дорогой Фил, у них еще должны быть "рекорды". Нужно иметь лучшие "рекорды", чем у других, чтобы стать президентом или хотя бы кандидатом в президенты. У меня довольно смутное понятие о том, что это означает, поэтому я продолжаю концентрироваться на их наружности. Например, когда один из кандидатов гордо заявил, что у него лучший "рекорд" по вопросу гомосексуализма, я заметил, что костюм у него в то утро был безукоризненный, но из левого уха торчал пучок седых волос.

Как выбирать, кому отдавать предпочтение? Возьмем, к примеру, трех парней из девяти, сидящих на сцене. Все они за "nuclear freeze"<sup>\*\*</sup>, но у одного физиономия самодовольного кота, другой напоминает лося, в то время как третий отличается скользкими, как у морского льва, телодвижениями...

## МОСКВА - ВАШИНГТОН

Дорогой Василий, твой новый "физический" подход к соискателям в американских выборах заставил меня подумать о наших проблемах. Не кроется ли в этом решение наших неразрешимых однопартийных самовыборов? Отягощенный этими мыслями, я направился за советом к могущественному товарищу ХУН, секретарю Союза писателей и депутату Верховного Совета.

Товарищ ХУН, почему бы нам не иметь двух кандидатов на одно место. Пусть оба будут членами нашей единственной и единственно возможной партии, но один будет, скажем, кудрявым, а другой хромым. У людей появится шанс сделать выбор, и таким образом мы заткнем рот буржуазным клеветникам, говорящим, что у нас выборы без выборов.

- Не пойдет, - сказал мрачный товарищ ХУН после продолжительного молчания. - Люди не смогут решить сами, что лучше - кучерявость или ущербная нога. Кроме того, физические данные кандидатов могут затмить неоспоримое совершенство марксистской теории. Наша партия решила раз и навсегда: один - это лучше, чем два. Удовлетворены мои объяснениям, гражданин Фофанов? Не советую вам по п э р э д б а т ь к и в п е к л о л е з ь т ь. Всего доброго.

\* Годный.

\*\* Замораживание производства атомного оружия.

## ВАШИНГТОН - МОСКВА

*Дорогой Фил, хотя мы и потеряли по пути несколько седовласых парней, американская избирательная кампания грохочет все сильнее. Вроде бы меньше стало кандидатов, а количество черт, из которых надо делать выбор, все увеличивается. Тут у нас и возрастные морщины, и неточная нумерация прожитых лет, оттенки кожи и произвольные движения языка... схожесть с прототипами и несхожесть ни с кем, усы, пробор в волосах, неожиданный набор "новых идей"...*

*Становится все более очевидным, что идеальная композиция невозможна, а как избрать лучшую? У меня нет навыка к демократии, Фил. Предпочтение одного другому - не кроется ли в этом какое-то аристократическое высокомерие? Все время спрашиваю себя, как примирить все эти противоречия?*

## МОСКВА - ВАШИНГТОН

*Дорогой Василий, вслед за Пушкиным "откупори шампанского бутылку и перечти "Женитьбу Фигаро".*

## ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1982

Бернадетта Люкс, взяв старт от "Центра долголетия", мощно катила на роликах вдоль океана. Волосы за ее спиной развевались наподобие хвоста знаменитого коня Буцефала, мемуары которого вот уже неделю лежали у нее на ночном столике. Трудно было узнать в этом очередном подобии Джейн Фонды некогда ленивую домоуправляющую. "Аэробикс" превратили ее в вечную девушку, агента по недвижимости.

Рядом с ней скользил другой агент по недвижимости, а именно Рэндольф Голенцо, давно уже сменивший пивную рыхлость на мускулы молодого мужчины. Гордые и независимые male и female, имея на головах усовершенствованную звуковую систему, общались друг с другом на фоне "Героической симфонии" мистера Бетховена.

- I made up my mind, - сказала Люкс. - And the answer is "yes" \*.

Голенцо кивнул со сдержанным счастьем:

- Let's go to my place. I have coffee "Better choice" for further ideas! \*\*

Так образуется новая прослойка населения, известная теперь под именем "яппи".

\* Я окончательно решила... и мой ответ "да".

\*\* Пошли ко мне. У меня есть кофе "Лучший выбор" для дальнейших идей!

Надо ли добавлять, что вскоре на горизонте появилась ритмично бегущая пара - Лев Грошкин и генерал Пхи.

1953

Скорбь и мороз сковали город. Светились только вывески аптеки, что еще можно было как-то понять, и ресторана, что было нагло и бессмысленно: кто же захочет сомнительных ресторанных удовольствий в такую ночь, когда все человечество рыдает?

И вот, оказывается, нашлись негодяи! Четверка, задумавшая отметить день рождения Филимона в день смерти Иосифа, пробиралась по пустой и темной улице Карла (Маркса).

Ресторанчик "Красное подворье" пользовался в городе дурной репутацией. Там собирались согласно данным комсомола городские плевели, трутни, плесень рода человеческого. В этом месте и в обычный вечер можно замарать репутацию, а в такой трагический момент потери человеческого великана можно оттуда сходу "загреметь" в "Бурый овраг", как называли в городе штаб-квартиру местных органов.

Вот уже появилась знаменитая круглая афишная тумба, оставшаяся в городе с тех пор, когда на этой улице, называвшейся тогда Капитальной, преждевременно ликовал капитализм. Порывы морозного ветра треплют край желтой афиши, она тем не менее гласит:

"Республиканская филармония. Всего шесть вечеров. Знаменитый негритянский певец, танцор и художник Боб Бимбо. Сатирические портреты поджигателей войны. Песни и танцы угнетенных народов мира". В овальной рамке на афише портрет молодого чернокожего.

Эта афиша уже несколько дней будоражила город. Посреди замерзших мочевых потоков повеяло "бананово-лимонным Сингапуром". Говорили, что Боб Бимбо одним росчерком грифеля рисует на доске портреты Черчилля, Трумэна и Джона Фостера Даллеса вместе взятых. Университетские циники, правда, шептались, что у Боба Бимбо "яйца белые", но эта деталь, естественно, только подогревала провинциальное воображение.

1983

Лева Грошкин однажды для поддержания своей молодости нашел неплохую ночную работу, три раза в неделю швейцаром в ресторане "Нувориш". Приклеив усы а-ля маршал Буденный, он выдавал себя за сербского князя Онто-Потоцкого, личного врача президента Тито в период партизанской войны на Балканах. Хронологическая чепуха никого не смущала, может быть, потому что в "Нуворише" никто толком не говорил по-английски, а может быть, и потому, что все были немножко не теми, за кого себя выдавали.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Несколько лет назад, когда в Европе происходили массовые антиамериканские демонстрации, случилось мне беседовать на эту тему с одним важным лицом в Вашингтоне.

Вообще-то, говорю я, на все эти довольно постоянные антиамериканские чувства в Старом Свете можно посмотреть в аспекте черной неблагодарности. В принципе-то Америка ведь не сделала Европе ничего плохого, кроме хорошего. Дважды помогла выбраться из военных пропастей, помогла отстроиться на руинах, соорудила надежный щит на восточных рубежах. Откуда же берутся негативные эмоции в самых разных, и не только левых, слоях европейского населения?

Все очень просто, сказал мой собеседник, мы богаты, нам завидуют.

"У-у-п-с", - подумал я уже на американский лад (на свой лад я подумал бы "о-о-п-с"). Важное лицо, невзирая на свой сорокалетний возраст, находится в плену клише тридцатилетней давности. "Разве Европа нынче так уж бедна по сравнению с Соединенными Штатами, сэр? Разве "мерседес" завидует "кадиллаку"?" - спросил я.

Конечно, конечно, кивнул он. Они сейчас не так бедны, однако, согласитесь, ведь мы все же гораздо богаче всех прочих; вот отсюда и зависть.

Я подумал тогда об этом до сих пор еще живучем феномене - априорном восприятии своей Америки как "самой, самой"... Не требуется доказательств, чтобы воспринимать свою Америку как самую богатую и могущественную страну мира (что в принципе так и есть, хотя и требует некоторых доказательств), американскую науку как самую передовую в мире, американское кино как самое увлекательное, американских атлетов как самых сильных и искусных и т.д.

До сих пор еще меня восхищает, как, ничтоже сумняшеся, здесь объявляют бейсбольный финал "мировой серией", хотя никто, кроме американцев, в розыгрыше не участвовал. Подразумевается, что им, чужим, и нечего участвовать - заведомо слабее. Чемпионов NFL и NBA величают чемпионами мира. Скорее всего, и те и другие действительно сильнейшие в своих видах спорта, особенно футболисты за полным отсутствием соперников, но ведь все же чемпионами мира становятся в соревнованиях на первенство мира, а не на первенство Соединенных Штатов, не так ли?

Иные американские интеллигенты склонны видеть в этом проявление американского великодержавного шовинизма, а мне скорее это представляется деревенским простодушием, сродни тому, как суперсилач на ярмарке рвет цепи и орет утробным голосом: "Я самый сильный человек в мире!"

Можно гадать: то ли это априорное, почти не нуждающееся в доказательствах чувство превосходства приводит американцев к определенной изоляции от Европы, или, наоборот, изоляция, оторванность вызывают это чувство - ясно, однако, что оно раздражает друзей. Мы, новые американцы, столкнулись здесь с неожиданным и щекотливым обстоятельством. Из Со-

ветского Союза американцы представлялись нам "гражданами мира", полиглотами, космополитами. В реальной жизни они оказались в большей мере замкнутыми на своей стране, на американской планете.

Взять хотя бы все тот же спорт. Будучи болельщиком некоторых видов спорта, я обычно в Советском Союзе негодовал, что телевидение скупко освещает международные соревнования, приписывая это, разумеется, специфике советского общества, его идеологической закрытости. Каково же было мое изумление, когда я обнаружил, что для американской публики международный спорт попросту не существует. Ожесточенно щелкая кнопками телевизора, я не мог найти не только репортажа о соревнованиях в Европе, но даже сообщения о них в программах новостей. В Америке был какой-то другой спорт, совершенно иная концепция этого вида человеческой активности, к которой я долго не мог привыкнуть.

Помнится, в тот месяц, когда мы сюда приехали, проходили международные соревнования по хоккею на Кубок Канады. В СССР это считается главным спортивным событием: вновь в который раз решается трагический вопрос современности - кто сильнее, славянская "ледовая дружина", составленная в основном из офицеров армейского спортклуба, или "надменные суперзвезды" профессионального хоккея? Напряжение нагнетается с каждым матчем, в подтексте, разумеется, схватка социализма с капитализмом. Все матчи транслируются в Москву, и улицы обычно в эти часы вымирают.

Прорыскав в Америке по всем каналам, я так и не нашел не только ни одного репортажа, но и ни одного сообщения об этом турнире. Вместо хоккея по экрану неторопливо бегали немолодые уже дяди, нередко с отвисшими задками и животами, в форме, напоминающей зимнее белье, махали палками, ловили мячи в кожаную перчатку, осерчав, бросали в судью песком.

Боясь погрязнуть в невежестве, я рыскал по газетам, пытаюсь найти хоть какое-нибудь сообщение о Кубке Канады. Наконец, в "Нью-Йорк таймс" в глубинке спортивной страницы я обнаружил несколько строк, из которых известно, что русская команда разгромила *все звезды* канадского хоккея со счетом 8:2. Сомневаюсь, что, кроме русских эмигрантов, эти строчки кем-либо были тут обнаружены. Пропали, стало быть, втуне столь могучие усилия доказать преимущества социализма при помощи хоккейных клюшек.

Спустя некоторое время начался внутренний хоккейный чемпионат на Кубок Стенли, и вот тут-то пошли и репортажи, и сообщения в новостях, и интервью в раздевалках, словом, разгорелся "настоящий", то есть внутренний американский спорт.

Однажды вечером в ряду этих сообщений, кажется на Эн-би-си, появился заголовок, от которого я просто ахнул. "Может ли Иван играть в хоккей?" И дальше рассказывалась уникальная история ленинградского игрока Виктора Нечаева, который, женившись на американке, переехал в Штаты и подписал контракт с командой "Лос-Анджелес Кингс". Гляньте-ка, какие чудеса, повествовал комментатор, приехал вот один тут "Иван", и оказалось, что он умеет играть в нашу игру. В невежестве своем комментатор, оче-



видно, и не слышал никогда о том, что русские уже много лет были чемпионами мира по хоккею и довольно стабильно громили лучшие хоккейные команды мира. Вот, смотрите, господа, удивлялся комментатор, русский, а вот так скользит по льду и клюшкой орудует; где же это он научился, всем на удивление?

Между тем Виктор (я с ним позднее познакомился) несколько сезонов играл в высшей лиге советского хоккея. Когда его спрашиваешь об уровне игры калифорнийских "королей", он пожимает плечами и со свойственным этой профессии лаконизмом бросает: "Это несерьезно".

Я подумал, что, если бы в составе какой-нибудь русской команды появился американский или, скажем, лапландский игрок, с ним бы носились как с писаной торбой. Парадоксально, но в закрытом обществе СССР общественный интерес (и, конечно, не только в спорте) направлен во "вне", в то время как в открытых демократических США он почти целиком устремлен "внутрь".

"Внешнее" гораздо меньше интересует американцев, то ли потому что априорно подразумевается, что оно хуже, то ли потому, что своего слишком много.

В газетах критиковали Эй-би-си за освещение Олимпиады: дескать, насаждали шовинизм, сосредоточившись только на американских спортсменах. В самом деле, за все эти недели (а я очень плотно следил за событиями) я ни разу не видел интервью, проведенного с переводчиком. Казалось бы, какой соблазн, как любопытно, как в конце концов просто забавно проинтервьюировать китайца, индуса, француза. Увы, ничего ни забавного, ни любопытного работники Эй-би-си среди ста сорока делегаций не обнаружили. Только в последний день, когда португалец победил в мужском марафоне, комментатор, пообещав зрителям удивительный эксперимент, подошел к Гомешу с переводчиком.

Сомневаюсь, однако, что в этом проявились какие-то особые шовинистические наклонности Эй-би-си. Вполне справедливо звучат их оправдания: публике это просто не так интересно. Телевидение старается следовать интересам публики. Публика развивает свои интересы под влиянием телевидения. Отличный возникает порочный круг. Крути его на бедрах день-деньской, будто обруч "хула-хупа".

Вот, может быть, в этом искреннем отсутствии интереса, в тенденции к отгораживанию от жизни мира, в утилитарном восприятии Европы лишь как места летних вакансий и кроется один из источников антиамериканских чувств?

Парадоксально, но, несмотря на идеологический железный занавес, Советский Союз во многих сферах ближе к Европе, чем лидер свободного мира Соединенные Штаты. Советским футболистам, оказывается, легче пересечь железный занавес, чем американским "квотербэкам" и "тэклам" махнуть через Атлантический океан.

## ФУТБОЛ БЕЗ НОГ

Любопытно, как все это американское *иное, свое, непохожее*, быстро здесь развивается. Казалось бы, страна населена великим множеством народов, здесь-то и расцветает космополитизму, однако, все эти выходцы, беглецы, перемещенные лица никакими космополитами не становятся, а становятся американцами еще до того, как получают американское гражданство. Я и сам ловлю себя на довольно быстрой американизации вкусов. Быть может, Фил Фофановф при встрече скажет: "Да ты, мой друг, основательно обамериканился!"

А ведь поначалу многое здорово раздражало. Запах "папкорна" - жареной кукурузы, например, в киношках. Вообще запахи, милостивые государи, все эти "пинат батеры", "кетчупы", "тэкос"...

Тут дело, возможно, в биохимии. "Тоска по родине", возможно, во многом биохимическая проблема. Мы не просто за границей, мы за океаном. Америка и в самом деле немножко другая планета. Меняется (пусть ничтожно, но меняется) химия воды, воздуха, земли, травы, листы - и далее - хлеба, молока, масла... В ностальгическом катаклизме, возможно, немалую роль играет биохимия. Ученые могут заняться этим, если не лень.

Баланс запахов нарушен, иные выпятились, иные стусевались. Эмигранта часто бесит и общий недостаток запахов. В Америке "клубника не пахнет", "люди не потеют"... - привычные темы эмигрантских разговоров. Видимо, в них есть резон. Прошлым летом в Париже вошли мы в одно собрание и даже вздрогнули от терпкости - духи вперемешку с потом. М-да, переглянулись мы, у нас и в самом деле так не потеют.

Футбол, конечно, тоже дико раздражал. Где-то шумели великие побоища Европы, сотни тысяч людей вдували всю свою страсть в малейшие передвижения маленьких фигурок на дне ревущих стадионов, а здесь это даже и не называлось футболом. Какой-то "сокер", как бы развлечение в носочках. Чуть ли не женский спорт, видите ли... А вот привычным и столь волнующим словом "футбол" называют игру, в которой за целый час лишь три или четыре раза бьют "футум" по "болу". Экая все-таки странность: мяч передается руками, но игру не называют "хэндбол", перетаскивается мяч (впрочем, подходит ли для этой *штуки* слово "мяч?") под мышкой, однако, игра все-таки не называется "армпитбол", а именно гордым словом "футбол", к которому не имеет никакого отношения.

Долгими эмигрантскими вечерами в унылой квартирке в Анн-Арборе, в мотелях по дороге на Запад, в санта-моникском прибрежном доме, который только тем отличался от мотеля, что там не заправляли постель, я смотрел на перемещение молодых с утрированными плечами, в свирепых касках... все это описывается в советской пропаганде как апофеоз американского "культа насилия и жестокости"... и думал: какая скука!

Однажды профессора Штольц и Фонвизин пригласили меня на стадион. Там я наконец-то понял, что означают слова "touch down" и "interference",

оценил искусство marching band, проникся экстазом толпы... Впереди нас сидела парочка в ковбойских шляпах с перышками. И ему и ей было лет под шестьдесят. Они страстно целовались и, сияя, оглядывались, как бы приглашая и других болельщиков разделить их счастье. В перерыве матча над стадионом появился самолетик, влачащий красноречивый призыв: "Марджи, давай поженимся! Твой Даг". Парочка подскочила, сияя до невозможности. Он обратился к окружающим:

- Это я! Я - Даг, она - Марджи! Не так дорого, фолкс! Всего двести "бакс", и ваши чувства в небе! Она согласна! Ну и девочка, эта Марджи!

Профессора Фонвизин и Штольц отчески улыбались. Именно в эти массы они несут просвещение.

Признаюсь, "небесное" признание в любви стало кульминацией матча не только для Дага и Марджи, но и для меня. Перипетии "футбола" оставили меня равнодушным. По-прежнему я выискивал на спортивных страницах эмигрантских газет сообщения о настоящем футболе и даже представить себе не мог, что в скором времени стану вместе со всеми жителями Вашингтона жертвой "краснокожей лихорадки".

В воскресенье 22 января 1984 года весь город вымер: все собрались на "парти" вокруг телевизоров. Это был для вашингтонцев день предполагаемого торжества - футбольный матч на Суперкубок по американскому футболу, в котором наша команда "Редскинс" ("Краснокожие") должна была победить калифорнийских "Рейдеров". Уже два года бушует в столице так называемая "краснокожая лихорадка". В прошлом году "краснокожие", разгромив в финале флоридских "дельфинов", впервые стали чемпионами. Мы с женой поехали тогда в веселый старинный район города - Джорджтаун - посмотреть, как будут ликовать болельщики. Ну, право, не ожидали такого неистовства, таких страстей. Наша машина застряла в многочасовой пробке. Толпа плясала на улицах, в окнах домов, на крышах строений и экипажей. Фейерверки с поверхности и в небе, с вертолетов. Все это напоминало конец войны. Слава, слава "краснокожим", чемпионам мира.

После этого триумфа *нашего* города (о, этот американский community spirit!) я стал постепенно вникать в футбол и научился разбираться, чем занимаются на поле юркие нападающие бегуны, ударные силы атаки, "квотербэк" и "такелажники" защиты.

В СССР американский футбол изображается как торжество звериных инстинктов, империалистический вид спорта, в котором игрокам только и остается делать, что зубы выбивать у противника или собирать в кулак свои, выбитые. Между тем я с удивлением обнаружил, что в сравнении с хоккеем этот вид спорта даже корректен, на поле дело почти никогда не доходит до драк, несмотря на то, что применяются такие силовые приемы, после которых человек, кажется, больше не встанет.

Через некоторое время я стал настолько разбираться в игре, что даже

---

\* Общественный дух.

смог объяснить ход сражения одному советскому визитеру, доставившему в сапоге письмо Фила ФофанOFFа. Посмотрев игру, этот человек, в прошлом крупный спортсмен, отошел от телевизора и торжественно заявил:

- Нация, которая занимается этим видом спорта, непобедима!

- Да ведь никто, кроме этой нации, в американский футбол и не играет, - сказал я и добавил, к собственному удивлению: - И это весьма при-скорбно.

Наш гость с удивлением на меня посмотрел.

- Я не футбол имею в виду.

Тут уж я удивился.

- Что же?

Он пожал плечами.

- Неужели не понимаете? Все!

В реакции гостя сказался советский глобальный подход к вопросам спорта. Мы-то были озабочены другим: повторят ли в новом сезоне "краснокожие" свой триумф?

...Снежным вечером 22 января в Вашингтоне никто не сомневался в победе. По пути к финалу мы обштопали своих самых злейших соперников "ковбоев" из Далласа, легко выиграла у могучей команды "Сан-Франциско-49", буквально разгромили лос-анджелесских "баранов". "С ними невозможно играть, - сказал один из "баранов", - они просто чертовски хороши". В барах Вашингтона гремела рок-песенка "Вашингтон Рэдскин уорлд файнест футбол машин", что-то явно напоминающее знаменитый шлягер "Распутин".

Матч проходил на юге, в Тампе. Команды приехали туда за неделю, переполненные самолеты подвозили болельщиков. Шел бесконечный карнавал. Вашингтонцы снисходительно посматривали на ожесточающихся с каждым днем калифорнийцев - дескать, жаль вас, ребята, да ничего не поделаешь, придется бить. Наши звезды Джо Тайзман, Джон Риггинс, Дэйв Бац позировали перед камерами в привольном настроении. И вдруг...

Мне тяжело говорить об этом, но "краснокожие" позорно продулись. Ничего не получилось у них в тот день. "Рейдеры" выломали все спицы из нашей футбольной машины. Их "квотербэк" посылал такие пасы, что президент Рейган в тот вечер сравнил его с секретным оружием и предположил, что СССР, очевидно, требует его демонтажа.

Снег засыпал в тот вечер столицу. Печально брели под ним болельщики в головных уборах "краснокожих". Сосед спросил меня: "А вы, наверное, ничего не понимаете в этой игре?" - "Увы, - сказал я, - все понимаю".

Я и в самом деле многое уже понимал, и не только в футболе. После нескольких лет жизни здесь ловишь себя на новых ощущениях. Я обращаюсь к спортивным страничкам наших эмигрантских газет с некоторой уже вялостью: русские и европейские страсти отдаляются, затуманиваются. Космополитический мой пафос испаряется, и не только в спорте. Волей-не-

волей я втягиваюсь в огромный (в том-то и дело, что он непомерно велик) и яркий мир американского провинциализма.

Как-то раз я открыл популярный журнал и увидел в нем портрет моего старого товарища, знаменитого советского кинорежиссера, недавно оставшегося на Западе. Ага, подумал я тогда не без злорадства, приходится все-таки иной раз вспоминать и чужих, не только Линдой Эванс и Спилбергом развлекать сограждан. Что ж, от таких звезд, как Т., и в самом деле не отмахнешься.

Текст под фотографией, однако, охладил мое злорадство.

"Т., - гласил он, - знаменитый советский режиссер. В 1962 году его первый фильм получил премию Золотого Льва на международном фестивале в Венеции. В дальнейшем он получил высокие призы на других важнейших международных фестивалях, включая Каннский. Имя Т. совершенно никому не известно в Америке..."

Чего в этой неосведомленности больше - невежества или высокомерия? Может быть - ни того, ни другого, а просто лишь огромное, непомерное, неподдельное количество всего своего для того, чтобы еще знать что-то чужое?.. Бесконечный поток американских "celebrities"\* сбивает обывателя с толку. За пять лет жизни в этой стране я не запомнил и одного процента из здешнего корпуса звезд. Недаром к этому словечку теперь прибавляется "супер"; может быть, хоть оно поможет выделить твой процент из бесконечного ряда этих по-дурачки хлопающих глазами знаменитостей; однако, и суперзвезд слишком много. Сколько раз нужно повториться, чтобы задержаться в общественной памяти, если этот "мусоропровод" можно назвать общественной памятью? Я ведь и сам уже в этом исходящем золотым паром муравейнике маленькая букашка-знаменитость. Эва, сколько уже собралось газетных вырезок, да и на телевизоре не раз уж побывал. Рядовая никому не известная знаменитость.

Однажды столичная газета бухнула интервью со мной и портрет отпечатала невероятных размеров, чуть ли не на всю полосу. Неделию спустя где-то познакомился я с журналистом из этой самой газеты. Оказалось, что он никогда даже не слышал моего имени. Его можно понять: защищаясь от потока информации, от бесконечных взломов его дома жаждущими его признания "знаменитостями", человек вырабатывает своего рода спасительное невежество.

Где уж там иностранные, от своих-то задыхаемся! При виде трудночитаемого имени человек немедленно пролистывает журнал. Однако попробуй объясни в Европе, что Америка не знает их кинозвезд и писателей не из высокомерия, а только лишь из самозащиты.

Почему эту странную Америку нужно завоевывать, почему не она должна увлекаться, скажем, балетом, а балет должен понравиться ей, почему не она, деревенщина, должна тянуться к классической музыке, а класси-

---

\* Знаменитости.

ческая музыка должна тянуться к ней? Такие вопросы задает себе ущемленное европейское самолюбие. Возникает ксенофобический кризис, столкновение европейской и американской деревенщины. Иначе это именуется "сопротивлением американскому культурному империализму".

И все-таки отдаленность Америки от праматери Европы удивительна. Как-то в порядке эксперимента я стал спрашивать своих студентов, каких европейских кинозвезд они знают. Оказалось, что почти никто из этих "детей хороших семейств" не слышал ни о Феллини, ни о Бергмане, не знают ни Жана Маре, ни Роми Шнайдер, ни даже Мastroяни, не говоря уже об Анук Эме. Вот Софи Лорен они знали, видимо, потому что она рекламировала по телевизору духи "София".

Прогуливаясь как-то по Пятой авеню в Нью-Йорке, я вдруг заметил в толпе невысокого человека с характерным узким лицом, быстрым взглядом смысленных глаз и иронической улыбкой в углу иронического рта. Боже мой, да это не кто иной, как Жан-Поль Бельмондо собственной персоной! Прогуливается просто так, не окруженный ни толпой репортеров, ни любителями автографов, попросту говоря, никем не замечаемый, еще проще - никому неизвестный!

#### КАФЕ "НЕНАШИХ ЗВЕЗД"

Я приподнял шляпу, то есть то, что было вместо шляпы на голове; кажется, ничего.

- Месье Бельмондо?

Он вздрогнул.

- Откуда вы меня знаете?

- Я видел по крайней мере десяток фильмов с вашим участием.

Бельмондо засмеялся, вытащил пачку "Гитаны".

- Как видно, сэр, вы здесь тоже индеец.

- Из России, Жан-Поль, с вашего позволения.

- Так я и думал. Меня здесь знают только русские эмигранты.

Я хотел было уже откланяться, но Бельмондо уцепился за меня.

- Вы бы, Василий, не лияли б так быстро. Я бы вам рассказал, как снимаются различные эпизоды кино. Вообще, почему бы нам хорошенько не выпить? В русском стиле, ха-ха-ха, как в Москве на фестивале, с утра... С русским революционным размахом и с галльским острым смыслом, давайте, что ли, пообедаем? Я, знаете ли, очень ценю, что вы узнали меня в американской толпе. Сначала, знаете ли, я даже наслаждался тем, что меня здесь никто не знает, как будто стал невидимкой, а потом, признаюсь, стал нервничать. Что ж, думаю, получается, что все труды как бы просто на смарку, в жопу, иными словами? Сеешь, как говорится, уже два десятилетия разумное, там, доброе, вечное, а в этой наглой Америке никто у тебя даже автографа не попросит. Помогает общение с товарищами, что оказались в таком же положении. Один предприимчивый одессит открыл здесь неплохое кафе "Ненаших звезд". Мы там собираемся. Едим, грустим...

...В самом деле, в кафе "Ненаших звезд" на задах Лексингтон-авеню Жан-Поля Бельмондо знали. Бармен сделал ему пальцем европейский жест от уха в пространство, наше, мол, вам с кисточкой! Официант без фамильярности, но вполне по-свойски, взял его кожаное пальто, шумно стряхнул с него капли дождя, которые в Нью-Йорке пахнут чем-то двусмысленным.

- Как всегда, Жан-Поль, пожарские котлеты?

Мы разместились в углу.

- Вы кто по профессии, Василий? Наверное, дантист?

С любезностью необыкновенной Бельмондо предложил мне не стесняться при разборе меню.

- Вот, узнал меня на улице местный американский дантист Василий, - гордо пояснил он завсегдатаям, слегка, как видите, приврав.

Свидетель Зевс, вокруг за столиками сидели мировые звезды. Я узнал японского режиссера Куросаву, советского поэта Окуджаву, Шопена Ф., варшавского музыканта, философа из Кенигсберга э-э-э... Канта... были также мелкие европейские нобелевские лауреаты вроде Канетти и Голдинга.

- Кстати, о Канте, - сказал я Жан-Полю Бельмондо. - Вы слышали, что Кенигсберг переименован в Калининград, то есть в город козлотородого большевика Калинина? Так вот, недавно секретарь Калининградского обкома партии назвал Канта "нашим великим калининградским философом". Не знаю, будет ли это приятно Иммануилу?

Назвав великана Иммануилом, я почувствовал, что вхожу в душу этого кафе, в общую атмосферу панибратства. Гости Америки, будь это Клавдия Кардинале или Франц Беккенбауер, попадая в эти стены, вздыхали с облегчением, вместе с каплями дождя как бы отряхивали скверну неузнавания. Кое-кто из них приводил с собой "местных дантистов" вроде меня, за ними с любезностью ухаживали.

Изобретатель пиццы средневековый повар Габрелиус Пицца с улыбкой рассказывал Фолькеру Шлендорфу и Анджею Вайде о том, что в Америке полагают это блюдо подлинным американским изобретением.

Вдруг все смешалось в доме В.Р. Эбэлонских (имя предприимчивого одессита из крепостных евреев князя Степана Облонского). Вбежала некая брюнетка в декольте. Вечернее платье с блестками носило следы жадных рук, под ним угадывались стройные ноги, дрожащие в результате бегства.

- Спрячьте меня, друзья, - задыхаясь, сказала дама. - Меня преследует толпа!

Все присутствующие повскакали со своих мест. Не верилось глазам. Это была она, Алексис, из нашей бесконечной "Династии", наш вариант Сары Бернар и Веры Комиссаржевской, несравненная наша американская Джоан Коллинс!!!

## ШТРИХИ К РОМАНУ "ГРУСТНЫЙ БЕБИ"

1985

Не исключено, что в роман может ворваться, будто некий летучий дух Америки, какой-нибудь мистер Флитфлинт из тех парней, что до середины января ходят в "ти-шорт" и неизменно на матчах superbowl раскачивают над головой огромный картонный палец. На своем вездеходе "Вождь чероки" он может закатить на "остров сервиса" имени Фенимора Купера, что лежит в излучине быстротекущего фривея N 95, отлить излишки пива "Бад", проверить за четвертак свои биоритмы, прожевать "бургер", подрочить клавиши видеоигры... На все дела семь с половиной минут, и - дальше! Вдогонку бравурная интерпретация "Грустного беби".

1953

Такого покоя, как в тот вечер, ресторан "Красное подворье" не знал со дня своего основания, когда не обладал еще своим эпитетом, но всегда имел в наличии чистые салфетки. Даже встречающий гостей на лестнице двухметровый медведь, переживший и времена капиталистического бума, и трехкратную смену власти в период гражданской войны, и "угар нэпа", и все убожество социализма, казалось, как-то изменил свою похабную посадку и порочный перекося морды и преисполнился гражданской скорби.

С таким же медвежьим выражением скорби на лицах поднимались по лестнице четверо студентов. Не схватила бы только "медвежья болезнь"! "Мы просто покушать", - шепнули они старшему официанту Лукичу-Адрьянычу. Старый стукач смотрел на них с непроницаемым выражением опустившегося лица. Нынешний вечер напоминал ему короткое затишье весной 1919 года, когда вдруг замолчала канонада над Волгой, после чего в ресторацию ворвалась орда чехословацких офицеров. Тоже хотели "просто покушать".

"Бутылку-то принести?" - спросил он надменно, приняв заказ на четыре пожарские котлеты. "Разве что одну, Лукич", - пролепетал Филимон.

Зная за этими четырьмя тенденцию к сомнительным разговорам, Лукич-Адрьяныч соображал - спровоцировать или нет, и решил, разумеется, спровоцировать. "Не знаю, - сказал он, - все ли искренне скорбят нонче по нашему отцу? В Америке, наверное, водку пьют, котлетками закусывают..."

1975

Весной того года ГМР приехал в большой закавказский город. Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда Рафаил Байджиев предложил ему поставить в местном театре, где безраздельно главенствовал уже два десятка лет, пьесу Артура Миллера "Смерть коммивояжера".

Первое, что увидел ГМР, выйдя из поезда, был большой портрет Мэрилин Монро. Выглядело это как-то неправдоподобно рядом с портретом Брежнева, памятником Ленину и лозунгом "Решения партии - в жизнь!"

У таксиста над щитком приборов также фигурировала фотография Ме-



рилин, этот ее магнетический вид с полужакрытыми глазами и полуоткрытым ртом. "Кто это у вас тут?" - спросил ГМР водителя, армянина лет сорока в типичной для тех мест тяжелой плоской кепке, именуемой "аэродромом". "Артистка, - охотно ответил тот, - фамилии пока не запомнил. Фильм у нас сейчас идет "В джазе только девушки". Весь город влюбился. Такая женщина! Каждый день хожу ее смотреть, дорогой. Весь город за концы держится. Такая женщина!"

ГМР сообразил: кинопрокат выпустил наконец на широкий экран старую ленту "Some like is hot", которую он смотрел еще лет пятнадцать назад на закрытом просмотре в московском Доме кино.

Плакаты кинотеатров сопровождали их путь. Лицо Мерилин преобразило советский город. Наглядная агитация и монументальная пропаганда пятидесятилетнего социализма как бы задвинулись вглубь. "Как мало, оказывается, нужно для того, чтобы..." - продумал ГМР свою очередную анти-советскую мысль.

...- Если она к нам приедет, я сразу к ней пойду! - говорил шофер. - Мы с женой десять лет живем, хорошо живем, понимаешь, а все же я ей прямо сказал: "Если эта артистка приедет, я сразу пойду!" И знаешь, дорогой, что мне жена ответила? Если, говорит, она сюда приедет, я тебе сама скажу: "Тодик, иди!"

- Она не приедет, - сказал ГМР, - она, видишь ли, умерла еще в 1962 году. Покончила с собой.

Такси дернулось.

- Что ты говоришь?! - вскричал шофер. - Как так может быть?! Я каждый день ее смотрю!

Перед красным светофором он высунулся из окна своей машины и закричал водителю по соседству:

- Арчил, тут человек говорит, что эта артистка умерла давно!

Соседний шофер ответил ему взрывом закавказской речи и характерными, рубящими снизу вверх движениями ладони. ГМР понял из этой смеси грузинского, армянского, азербайджанского и русского, что Мерилин Монро не умерла, не могла умереть, потому что Арчил Сулакаури ходил ее смотреть еще сегодня утром, до работы.

...Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда Рафаил Бабекович Байджиев, располагаясь за директорским столом в мягкой манере средиземноморского партийца, положил изнеженную ладонь на экземпляр пьесы "Смерть коммивояжера".

- Друг мой, вы лично не знаете этого... хм... автора?

ГМР солидно крякнул:

- Артура Миллера? Встречались, встречались...

НА СССР и ГСТ Байджиев с досадой поморщился:

- Он что? Ненормальный? Такую женщину оттолкнуть! Не сберечь для... человечества, понимаешь!

- Старая история, - пробормотал ГМР, - так уж все у них тогда сошлось.

Еще большая досада прошла по лицу народного артиста и героя.

- Друг мой, пожалуйста, не обижайтесь. Как художник - да? - я понимаю: пьеска недурна. Как политик - да? - понимаю: важно для прогресса. Как мужчина - да? - протестую! - Он сделал режущий жест ладонью снизу вверх. - Пьесу ставить не будем! На Кавказе Артура Миллера не поймут!

*(Продолжение следует)*



# ШИФРИН ТЕАТР

Ежемесячно в Центральном доме культуры  
железнодорожников (Комсомольская площадь, 4)

тел. для справок: 262 - 76 - 56

## АНАТОЛИЙ ГОРЮШКИН

Нам страшно жить и страшно умирать.  
Я чувствую, как дышит под ногами  
идущая через болото гать -  
в лучах заката мокрая, нагая.

Мосточек толщиной в кленовый лист,  
и мрак под ним, бездонная пучина.  
Здесь мы теряем мрамор наших лиц  
и превращаемся в дешевую лепнину.

Она идет по медяку за пуд  
на вечных торгах, где ее оценщик  
не надрывает криком диким пуп,  
а называет истинную цену.

На этих торгах жизнь идет на слом,  
как старый дом... И только пыль клубится.  
И я сажусь - между добром и злом...  
На этих стульях мне не уместиться!

Вздыхает, хлопает, сопит гнилая гать.  
Рассвет мукой осыпал наши лица.  
Не страшно жить, не страшно умирать -  
а страшно ни во что не воплотиться.

---

*Анатолий Горюшкин - московский поэт, о стихах которого Б.А. Пастернак сказал: "В них есть то, без чего не может жить истинная поэзия: свежесть и новизна восприятия мира". В 1983 году издательство "Советский писатель" выпустило первую (увы, пока единственную!) книгу поэта, случайно приурочив ее к 50-летию автора. Публикуя это стихотворение, хотим оповестить читателей, что Анатолий Горюшкин передал редакции альманаха "Конец века" подборку своих новых стихотворений, которую мы опубликуем во втором номере нашего издания.*

АЛЕКСАНДР РОСЛЯКОВ

# СУЧЬИ ПЕТАИ

*Публикуя "Сучьи петли" Александра Рослякова, благополучно отвергнутые московскими изданиями, сообщаем дополнительно, что он не только автор двух книг ("Чужое и свое", "Пять шагов"), что родился в 54-м в столице и окончил столичный же университет, но что именно он дал название альманаху "Конец века".*

Я видел сценку: женщина на улице лупила суку в течке. Та вилась нет-лями, скулила, каялась и умоляла сумасшедшими глазами, - а пять кобельков, разных мастей и лет, стояли полукругом эдакими непричастными - из любопытства к зрелищу и только - подлецами. - но только, значит, отвернись!.. И мне вспомнилась одна душевнительная история, которую я подцепил, когда мы снимали тот, нашумевший после фильм о наркоманах и проститутках.

Она не вошла в сюжет, и нет самой рассказчицы, хотя у нас было два крупных плана с ней - там, если помните, где свалка в отделении, - и рожа безошибочная: сама невинность - но какая-то уж слишком чувственная невинность ("Краснеет на сто долларов", - сказал майор), красивая, зараза - и фингал под глазом!.. Она не лезла в кашу, подонка, таким смиренным полимитчески шажком, потом:

- Выпустите, пожалуйста, меня отсюда. Я ничего не сделала.

- А кто ж тебя так разукрасил?

- Муж... Выведите меня, я все вам расскажу.

Мы кончили кусок, и я собирался с кассетой на студию, но попросил майора отпустить: кто знает, где поймаешь нужное? Она позвала к себе - жила как раз удобно: в двух шагах от отделения. Зассанный, как в центре сплошь, подъезд без лампочки, где она дважды сослепу приткнулась ко мне грудью - номер так четвертый; коммуналка с вечной бабкой - волчьей родственницей; в комнате бардак, навалом шмотки, "шари" побитый - и из-за шкафа косо выпавший фрагмент детской кровати. Она сперва сходила что-то доделать с той кралей и закраситься, а потом, держась за сигарету, чтоб не выпустить слезу за край ресницы, на косметику, и отлила такую, в двух словах, трагическую пулю. Муж - машинист электровоза, год назад раздавил нечаянно на рельсах человека - и с той поры по психу почему-то мнит, что она шлюха: орет, набрасывается с чем попало, она бежит из дома, он - за ней, в милицию, - а потом неделями опять нормальный. И ей даже нельзя сказать правду, чтоб его не выгнали с работы, приходится держать ребенка в другом городе, у матери, и терпеть взаимную напасть - поскольку все же муж, не виноват, что вышло, бросить - окончательно свихнется. А если вдруг еще увидит на экране - убьет наверняка, осиротит ребенка.

Все это было выдано в настолько убедительных тонах, с тем подлинным отливом чувства, обращающим всякую бдительность в кошунство, - что я, клянусь, чуть не купился - даже несмотря на то, что пять минут назад собственным, прижатым к двери ухом услышал из коридорной перебранки от нее словцо, навряд ли шедшее супруге хоть и спятившего машиниста. Но где-то с полдороги у меня возникло странное, как в незнакомом месте, ощущение чего-то удивительно знакомого - именно по части точного литья - и даже показалось, что само лицо я видел прежде - только в безфингальном варианте... И я вспомнил: Жорка-композитор приводил ее назад с полгода в Дом кино и потом матерился на весь кабак, что снял молоденькую сучку, а она по пьяной масти, через байки вытянула у него что-то неправдоподобное - чуть не этот битый "шарп"! Так вот, стало быть, кто тут заводит эти турусы под мою кассету - как знал, что выложил в последнюю минуту!

Я скупно поблагодарил за бесполезную - обычный холостой заброс - историю и хотел идти, но она сейчас же залилась таким плодово-ягодным румянцем, что я сполна мог оценить всю снайперскую правоту майора.

- Ты мне не веришь? У вас такая работа - видеть в людях только самое плохое?

Я сказал:

- У тебя талант! Ты Жорку обманула, а он всю жизнь людей обманывает, пишет музыку без нот, на худсовет с завязанной рукой ходит, чтобы не играть. Чего ты на панель пошла? Тебя бы в Щуку приняли.

- Я тебе сказала правду. Почти...

- Думаешь, мне так интересно, кто тебе на производстве шишки ставит?

- Муж. Показать паспорт?

- Покажи.

Муж был.

- А где же новобрачный - штамп свежий?

- В милиции.

- В натуре - псих?

- Он не псих.

- А кто?

- Художник.

- Мажет мастерски!

- Показать тебе его картины?

- Покажи.

Картины были, главное, ее портреты - в том шкафу, из-за которого вы-

ламывался детский след. Но такие запросто малюют на Арбате - десятка, четвертной от силы штука, на один ее гонорар можно увесить вернисаж.

- Ну пусть художник. Мне, честно говоря, ничего от тебя не надо.

- Подожди. Ты... хочешь со мной остаться?

- Денег нету.

- Я не прошу.

- Охоты тоже.

- Я омерзительна тебе? Да? Ну можешь просто так побыть?

- Зачем?

- Ну, выпьем. Ты можешь со мной выпить?

- Ну давай выпьем.

Она достала литр джина, налила по рюмке, я пригубил, она свою высала до дна и запалила снова сигарету.

- Ты можешь убрать кадры со мной?

- Это не я один решаю.

- Скажи, что я для этого должна сделать?

- Перековаться. Не морочь мне голову. Я таких бутылок видел побольше, чем ты кой-чего. Твое здоровье - и спасибо...

- Постой! Хочешь, я заплачу...

- Я же говорю, не по адресу. Жорик бы тебя понял.

- Я не об этом. Чтоб ты просто выслушал.

- Ну говори.

- Это будет долго.

- Говори долго.

Она опрокинула еще рюмаку - и тут глазные шлюзы прорвало, поток смешал в момент, как деревенский тракт в грозу, весь марафет в непроходимую грязь. Затем она уняла течь, зажгла сухую сигарету вместо вымокшей - и стала говорить.

У меня весь ее рассказ на диктофоне, я раза три ходил в сортир менять кассету - старая волчара чуть не съела любопытным глазом: видимо, образ врага был запечатлен уже на самой сетчатке, как окончательный резон всей жизни; эдакий сгусток немотивированного зла, выделенный из коммунальных толщ, как элемент, как жемчуг скорбной устрицей из солоня воды; не знаю, как кого, меня эти вкрапления в скорбных устрицах старушских глаз всегда приводят в легкое, не до конца осознанное содроганье - как знак, реалия какой-то катастрофы, весь донный смысл которой не доходит до конца... Но ближе к записи: приводить ее доподлинно нет смысла, звучит не слишком складно да и не везде прилично, к тому же где-то под финал она набирается допьяна, и связь совсем уходит - потом, правда, отчасти возвра-

шается, но все так или иначе просит расшифровки. Поэтому лучше перескажу по-своему, как понял. Если и это было выдумкой и сыграно, готов снять шляпу - жалко, не ношу. Но все же думаю, что на сей раз она, по крайней мере в главной сердцевине, не лгала. Не в шляпе дело, просто, ну, не верю, как в гибрид благородного оленя и свиньи, в такое полное сращенье истины и лжи, чтоб так уже не поддавалось различенью. Это действительно уже какая-то труба, уже не свойственно природе. Хотя живем, конечно, в удивительное время, технических пределов никакому свинству нет, и опрометчиво ручаться за что-либо.

Итак, исток ее истории связался с тем, что итальянцы строили в родном городе обувную фабрику и центровые девчонки от семнадцати и старше постепенно с головы до ног одевались в импорт. Она училась в школе и ходила к гостинице "Центральная" смотреть, как басурмане, уже умеря шик и не брав с собой охотниц в ресторан, высыпали из-за кисейных штор после ужина с шампанским и выбирали, дабы сократить расход, по паре-тройке на всю стаю. Милиция, которая паслась там взапуски, курила только фирму и прикуривала от фирмы и пользовалась, в качестве ответной меры, теми же согражданками, только без оплаты. Вот там-то к ней однажды подошел некто в полном басурманском облачении, при усах и солнечных очках с наклейкой, - и у нее внутри все аж затрепетало. Но он сказал на чистом русском:

- Охота тоже лиру заработать? А копейку?

Она хотела тут же убежать, но он опередил испуг:

- Не бойся, я шучу, глупышка. Хочешь на машине покататься? Да не бойся, не тюрьмы ищущи, ты ж малолетка. Мне те дадут за это, - он оттянул распisanную майку. - Ну?

Она подумала и ответила:

- Хочу.

Он даже не притронулся за весь круиз ни разу, а под конец сказал:

- Молодец! Из тебя вот такая девчонка выйдет. Только с макаронами не путайся. Русской лапши хватит.

Он стал заезжать за ней после занятий в школу - и для ее убогого доселе, как застиранное платьишко, житья это было чем-то обалденным, ослепительным - как сон в алмазах, только наяву. И хоть она уже откуда-то прекрасно знала, что в жизни, как в гостях, не стоит выдаваться, - все ж, острым беспризорничьим чутьем улавливая подлинную зависть в ложном осуждении подружек, из острой зависти своей, что вся ее семья была из пьющей матери и брата и девственно нища, - не могла удержаться от ме-



лочного форса в туалете: "Ну и что, девочки, просто подвозит на машине - если ему так нравится. Он же не виноват, что взрослый". Но когда проходили "Беспреданницу", которую она осилила легко, как бль, с голодным интересом, - огорошила весь класс, когда судили на уроке одного из соблазнительей и учительница ее спросила с ударением на слове "ты": "А ты как думаешь?" - "Я думаю, что он хороший. Все предлагает ей, зовет уехать, разве это - плохо?" Зарделась до ушей и села. Но учительница тут же подняла ее и с назидательной печалью выдворила вон из класса. И тогда она, давась педагогической обидой, первый раз отправилась к нему сама. Но он был не дурак. И только целовал. Но с головы до пят. И ей это действительно ужасно нравилось и трепетно хотелось, чтобы и он ее позвал куда-нибудь уехать.

Но у него тогда и близко в мыслях не было подобной ерунды по отношению к растленной - хоть, а может, тем скорей, что им самим, - нимфетке из народа. Он был художник. Оформитель. Плакаты, вывески, эмблемы на комбайнах и т.п. У него была жена - немилovidная, но преданная, как кошка, из торговли, готовая за скудные подачи неизбежных ласк обслуживать его, лелеять и рядить, как елку, в завозные дефициты. И мастерская с богемным независимым устройством и диваном, что раскладывался свободно хоть на пять персон. Стоял там и мольберт - но раскладывался гораздо реже. Художник, не стыдясь банальности греха, живое дело кумача и простыни предпочитал невразумительному творческому зуду; доходный жанр, к тому ж не знал крутых ударов конъюнктур, фатально доводивших мрачных гениев палитры до пол-литры: покуда на земле существовали урожай и Первомай, конца эмблемам и плакатам не предвиделось. Плюс мелкая фарца под баб - как патриот дивана и страны, он не спешил сдавать позиций капиталу... Она для него была просто своеобразная изюминка, конфетка для подстрастки аппетита, которая, возможно, оттого, что он не шел дальше бабловства, со временем не присасывалась и не приедалась. Он был не прочь снабжать ее тем ширпотребом заграничного дешевенького шика, что так к лицу - кто виноват, что так опростоволосилась на богатых рынках мира наша кровная, кормящая всем этим нефть! - негордому российскому подростку. Возможно, даже вероятней всего, что в его тридцатник с небольшим сюда примешивалось, пусть таким парадоксальным боком, и тайное отцовство: его брак был бесплоден, хоть он, в своей периферийной нише, и не тяготился избранным бесплодьем прежде никогда. Он имел ее, как самого кудрявого в квартале пуделя, и за беспечным удовольствием владельца не знал и знать не думал никаких хлопот.

Мать у нее была обычной потаскухой, страдалицей, как многие вне ко-

леи, какой-то внутренней неадекватности по отношению к и так-то, в колее, не слишком вразумительному миру. Вся ее послеработённая жизнь укладывалась в одно попоище с неудержимой сменой чем сперва ни лихорадочней возлюбленных, тем следом пуще ненавистных мужиков. Когда она узнала в детстве, что бывают и отцы, и с детской властностью потребовала ответа, мать закатила ей пощечину: "Запомни, нет у тебя отца и не будет никогда". - "А где он?" - "Умер". - "От болезни?" - "От ножа", - и сама с рыданием зарылась в ее детские, уже тогда отмеченные редким совершенством плечики. Кто сделал брата, мать, похоже, и сама не знала. За "Бесприданницу" она ее отколотила, как умела, по доносу литераторши, колачивала и потом - так просто, ни за что, от лютой материнской безысходности; она не дулась, материнская любовь для нее с детства совмещалась с колотушками, - но под конец учебы уже чаще ночевала в мастерской художника, чем дома. Жена его, конечно, все со временем прознала, но, и без того дрожа за ненадежный свой шесток, с распаху не нашла, как среагировать. Поскольку ж после мастерской его насоки только горячели, а прочие забавы резко кинулись на убыль, не стала и искать. Попробовала поднять кипеж школа - но он, художник вольный и договорной, ответил доброхотам: помогаю трудному подростку, если у кого на этот счет гнилые мысли, пусть ребенка освидетельствуют, но если криминала не найдут, он этот заактированный позор докатит до самой столицы. И школа рассудительно заткнулась.

Но он и сам еще навряд ли понимал, в чем гвоздь такой довольно небывалой для него активности, перераставшей на глазах все рамки тривиальной похоти, а между тем успел ей сдать без боя центральную позицию - диван - и не испытывал каких-то угрызений! Он думал, весь секрет - в ее красе, которая все откровенней распускалась и сама собой, а с прибавленьем пары модных тряпок свободно заставляла оборачиваться улицу. Но у нее уже был свой секрет. Какое-то, еще скорей интуитивное, сознание особой, предназначенной ей Цели; щемящее в младенческом орешке сердца чувство исключительного превосходства ее я: оно еще, невесть как, но возьмет свое, пробьется и проскочит там, где не сумеет ничье другое. Так будет - и всему неутешительному миру вопреки! Он не заметил за ее скоропалительным физическим расцветом, что еще стремительней в ней нарастал талант упрямого желанья - наследственный напор тех жажд, что жизнь не утолила в матери, смерть - в отце. Видать, ножевой парень снабдил ее и впрямь какой-то необычной геной хваткой. Мольберт, профуканный художником, пригодился ей: владелец поразился, обнаружив в первых же ее, как бы от делать нечего, попытках явную способность к рисованию. Он принял все за чистый фарт, но она в тайнике души была убеждена, что так же точно

смогла б заговорить языком музыки, стиха, балета, - подвернись не к живописи, а к этому аналогичная возможность. Он больше для забавы стал ей показывать какие-то азы: как строят конус, шар, кладут штрих... Она не то что схватывала - выхватывала все на лету. Но, главное, в ней сразу было то, что не всегда дается и сноровке: атака на предмет, характер. Даже порой с увечьем для предмета, без почтения правил - она не слишком-то, глотая в спехе, и старалась их разжевывать, налегая больше на индивидуальность, которая зато всегда выпячивала ребром из ее пусть не вполне техничных, скорых на руку творений, - на зависть будущим разноспособным и усидчивым собратьям по ученью. И так, где-то под занавес школы было решено и подписано: она по стопам оформителя поступает в то же, что закончил он, московское художественное училище.

Когда она сдала экзамены за десять классов, сразив всех еще сильнее, чем "Бесприданницей", резвым знанием цитат и дат в гуманитарных дисциплинах, он счел, что уже может беспрепятственно дотлить ее до самого конца, но с изумлением наткнулся на такой решительный отпор, какого отродясь невинность не давала легкомыслию. На прямое насилие он бы рискнул навряд ли, но главный фокус обнаружился в другом. Когда он, следуя фарцовой косточке своей богемы, попробовал взять то же торгом, оказалось, что не она, нимфетка из народа, у него, а он у нее, нимфетки из народа, на крючке. И как почувствовал - стоило ей смиренно заявить, что может хоть сейчас его избавить от себя, вернуть диван излюбленным "девулькам", - сойти оттуда сможет только без обеих губ. Он брал ее с собой, где мог: на шашлыки у председателей, купанья, в рестораны. На людях, подливая масла в честолобие, она изображала полную невольничью покорность, безотказность в малом и большом; но люди, истекавшие слюной зависти и вождения на их плейбоистый союз, и не подозревали, какое вождение испытывал он сам - когда после всего она усаживалась с книжкой под торшер и с такой уничиженной кротостью просила пощадить, что даже у него, отдавшего сполна святыням лозунга и барахолки, невольно расцеплялись руки. И только чтоб не перегнуть палку терпения, в конце концов позволяла ему унижительную скудность того, что не лишало ее девственности. Нет, она вовсе не собиралась уступить ее кому-то подороже. Но просто не имея своего ни нитки и уже чуя наперед, что на ее тернистой тропке к Цели еще придется поступиться многим, ежели не всем, - берегла эту смешную, может быть, условность, как некий неразменный капитал, как то, для чего все, - иначе, собственно, чего все жертвы ради? На оформителя она уже смотрела, как на вчерашний день, только трамплин, пусть не совсем корявый, в иные и сияющие небеса.

Но первая попытка поступления не удалась. Она прошла с блеском по рисунку и провалилась с треском по литературе. Наивные вершки цитат и дат не укрывали полного невежества по существу: она хоть и могла уже свободно отбубнить обратное, все искренне не понимала, чем плох, в сравнение с существующей наличностью, тот хмырь из "Бесприданницы", - испытывая больше сострадания к праздному нытью и драме, зависть к социальной беззаботности и старомодным платьям героини. Уже за дверью она поняла, что говори в том духе, от себя, может, было б и лучше. Но в ее городе учили только что бубнить, и здесь, с обратной стороны захлопнувшейся двери, всего досадней было, что не виной таланта и ума, а в силу чистой географии происхождения - что угораздило ж ее звезду карабкаться с каких-то выселок! - она не конкурент тем, кто, может, во сто раз бездарней от природы!.. Он же, наоборот, был подло рад, чего и не скрывал. Еще перед Москвой он выпустил последний козырь: предложил расчет по высшей и отчаянной валюте брака. Прозрел он раньше, прежде чем она прозрела в отношении своей ничтожной роли возбуждательной конфетки, он бы и так, задаром, получил все то, чего теперь не мог отнять ни за какую цену. Но чувство, видящее дальше всеоружия расчета, в нем только тут впервые выбилося из опрометчиво зауженных границ - и в его тридцать с гаком, как всякая перестройка с полпути, ему же первому выходило боком. Она его отфутболила щелчком: ты несвободен - прежде всего, у тебя жена - святая женщина, кем я буду в ее и собственных глазах? И потом я еще чересчур мала для такого шага, мне надо учиться, вдруг ребенок - а ты и со мной поступишь точно так же? - Но за всем этим чувствовалась уже железенькая ручка. И потому теперь он был так непристойно рад ее, пусть вынужденному, возвращению. Деваться ей все равно больше некуда, а за год, он надеялся, уж как-нибудь добьется своего... Он говорил ей, что до нее просто не знал женщин, ни одна не заводила его по-настоящему больше, чем на два-три раза, а с ней он каждую минуту, как подросток, заводной. И сделает для нее все, расшибется в доску, - видать, малый действительно был с роду не педант и с той же безрассудностью, как прежде по части безобразия, теперь был готов служить чуду неожиданной, как гриб из-под асфальта, страсти.

Но ангельской способности прощать в ее сиротском арсенале не было, как детства. Что там выиграло молодым волчком - желанье мщенья. И оснований на то, по самым скромным счетам, было больше чем достаточно.

Она рано, когда другие только усваивали и примеряли на себя законы жизни, поняла, что на ее случай не предусмотрено ни кройки, ни шитья, - и, как цветок, ступай по свету голенькой! По справедливости, если у нее не

было отца да в сущности и матери, ей полагалось больше - чтоб хоть как-то заравняться к прочим. А доставалось меньше, ничего. Пусть мать - последняя и чем-то таким впрямь перед жизнью виновата, - она-то чувствовала себя, а с легкой помощи художника и местной улицы уже законно почитала не только не последней, а наоборот, может быть, из самых первых - и по конкурсу не только красоты. Но почему когда эти другие хвастали друг перед дружкой, по уши в наиве: "А у тебя папа сколько получает? А у меня мама двести, а папа даже не знаю, сколько, он маме каждый день десятку на еду дает", - это было и чисто, и умильно, и похвально за невинную игру в хозяйский интерес. Или когда с тем же якобы невинным умыслом демонстрировали "ах какие миленькие туфельки, носочки, трусики..." А когда то же надевала она - это всех бросало чуть не в обморок. Они ее дразнили в спину "содержанкой". Но разве их не содержали папы с мамами? А ей - там выхватит заказ, повертев попкой перед толстым магазинщиком, там выменяет или продаст шмотку в пользу брата - приходилось самой содержать своих. По тем законам, в которые ее пытались ткнуть носом, как щенка в кашку, ей и братцу не выходило в жизни вовсе ничего. И такой роскоши существовать по ним она себе позволить не могла. Она могла жить только исключением. И исключаться надо было сразу, резко, в корне - чтоб не повторить бездарного финала бесприданницы.

И у нее по возвращении в ее полудевический пенат уже вполне сложилась четкая и мстительная мечта. Она поступит - на следующий год, через - всеми правдами, но пуще, разумеется, неправдами. Поскольку беззаботный правый путь в соперничестве с теми, кто имел и золотое детство, и бригаду репетиторов, и верный шучий блат, - не про нее. А шанс не затеряться навсегда в тех выселках либо позорной золушкой, либо не менее позорной содержанкой - только один. Нет, она не обольщалась своим талантом к рисованию. Он - лишь подспорье. Но она уже вполне постигла свой другой талант, другую власть, похлеще всякой живописи и пируэта из балета, которую без дополнительных трудов вручало ей мужское население улицы. И если даже здесь, теперь, для содержанки, из мгновенной пакости густые соглядатаи готовы были с ходу пасть на все - так неужели для нее той, сказочной художницы с мольбертом, как она себе светилась в грезах, за настоящую ее любовь не нахватают с неба самых ослепительных алмазов? И тогда она швырнет один этому дрянному городку, который ненавидела уже, как свой пенат, как само слово "родина", созвучное какому-то исходному позору; всей этой пляжно-магазинной сволочи с ее животными замашками и словом с которым состояла не иначе как только классной, жаль, не коллективной телкой...

Но ей не терпелось поместить уже сейчас - и прежде всего самому содержателю, на чей отчаянный закрик она успела примостить с собой и присных, воистину заставив его помогать не только трудному подростку - братец рос головорезом - и падшей матери фамилии. Если до поражения на экзаменах, в котором он не умыслом, так радостью был виноват, ее трудно было выгнать из мастерской, то теперь еще трудней затащить туда же. На нее висли гроздьями. Самый усатый грузин на рынке кормил ее душистой дыней - только за счастье покормить еще и персиком. Она так умела кроить дремучую туземную фарцу, что та сама одаривала ее за бесценок мелкой тряпкой: стоило стянуть на глазах майку, чтоб примерить новую, - и были чудики, которые от этого борзели. У нее был приятель бармен, который предлагал ей это же лихое "все" - но она уже могла себе позволить роскошь не принимать ничего, кроме привилегии грошового кредита и коктейлей на халяву. И был приятель математик, 24-летний аспирант их педа, талантливый и голый как сокол, с которым она крутила страстную, до полного измота, чуть не потери головы, любовь в крохотной комнатке его провонявшей навсегда нечеловеческим жильем общаги. Он был ей мил, такой же сирота, в неразрешимой ссоре с местными и в переписке - герр такой-то! - с зарубежными профессорами. Она бы вышла за него не думая, уже никто другой с такой безумной робостью и страстью, с такой отдачей самого себя так именно ее, каждый волосок и клетку тела, не любил и не целовал. Но кроме тех семи квадратных метров общежития, которые она вылизывала и прибирала, как кукольный, ненастоящий домик, ему с его реликтовой - откуда только здесь? - чистотой в ближайшем будущем да и в дальнейшем тоже не светило ничего. Он сам топтал свою звезду, которая могла б стать и ее звездой, - но в нем была звезда другая. Пленявшая в его объятьях и ее - родимчиком какой-то допотопной, кровной правоты, с которой все действительно до фени. И может, не будучи тоже пленницей догмата, она б и решилась сменить все блага мира на восхитительную отверженность с милым в семи метрах шалаша - не веяло б такой несносной вонью с кухни и сортиров, не питай она какой-то еще более глубинной аллергии к нищете, неотделимой для нее от стойкого позора и несчастья. На этом все меж ними и рвалось. Она сама видела у него пахучее тем, сказочным еще по "Бесприданнице", Парижем приглашение на ученый слет в Японию, куда он мог поехать, впиши каких-то пару прощелыг в свой труд. Она не задумываясь вписала б туда хоть весь город: тот же трамплин, только вместо ее позорного еще почетный, с упором не в кровать - в Японию! Она не сомневалась, будь у нее на руках такие козыри, уж вывернула б душу вшивой городской науке, разочалась за все: семь

метров, вонь, все унижения трудового обделенного сиротства. Он не хотел понять, а она не могла ему объяснить, что дело не в каких-то кознях профессуры, а просто никакой талант здесь никому не нужен вовсе. Цвела одна лапша: жирели с колбасы, фарцовки и партийной службы. Был у нее поклонник - комсомольский босс, который как-то спяну, пробуя раздеть ее, бахвалисто разоблачался сам: двухкомнатная есть, а светит и трехкомнатная; один раз в год может купить и перепродать с наваром автомобиль; одна загранка задарма; обкомовский паек и дача, - так что на ставку не смотри - копейки, - а может и без кольцеванья взять в секретариат: комната сразу, через год-два - однокомнатная, - но в жизни это выглядело уж как-то слишком омерзительно, в сравнении с книгой... И он, как Дон Кихот, как идиот, пытался этому кривому царству, где все смотрят вдоль, а живут поперек, перечить своей прямызной, готов был пресмыкаться перед хамлом-швейцаром из кафе, вахтером из общаги - но не поддакнуть сволочам, хотя бы не себя, ее заради! Но и она, уже хлебнув тоски по цепким небесам, уперлась на своем и жаловала ему только сердце, но не руку.

Но больше всех выпадало оформителю, чья невероятная реформа, кажется, вполне могла бы искупить первоначальный грех и смилоствить если уж не до любовной - хоть какой-то человеческой снисходительности. Но, зная, какая-то уже порочная предвзятость подсказывала ей, что люди не отзывчивы на милость и побежденных надо добивать. Его официальный наконец развод она встретила без тени ободрительной эмоции - как он в свой черед злой радостью ее провал. И не только что не пыталась замаскировать свою гульбу, еще выпячивала - в том иезуитском плане, что это де такая горестная для нее же месть ему, реванш бессилья за невинное бесчестье. И то, что он, не удержав за гриву, время от времени пытался грубой силой накрутить ей хвост, только сильнее затягивало его ж петлю, которую он с такой фантастической проворностью поспешил накинуть даже прежде, чем избавился от старых, чисто символических оков. Она исчезала на ночь, а то и две, звонила где-нибудь под утро: "Я поняла, что больше не нужна тебе. Вернись к жене и забудь меня ради всего лучшего, что между нами было". Он орал: "Где ты? Только не вешай трубку!" - "Нет, после того, что произошло, я не могу к тебе вернуться. Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал". И хоть он знал почти наверняка, что она сидит сейчас на коленях у какого-нибудь исходящего слишком знакомой жадностью прохвоста и, может статься, вовсе без всего, - не мог ничего с собой поделывать, вымаливал под страшные обеты адрес и гнал по смутным предрассветным улицам, рискуя не правами только - головой, надеясь все-таки, что она хоть что-то для

нее значит. За целомудрие ее он мог быть более чем спокоен, но кто б знал, как мало это тешило его!

Он, кстати, знал и математика, и бармена, и босса, и когда математик, загнанный своей неходовой звездой в собачий ящик, после очередного брачного отказа взрезал себе вены, чудом сохранив несчастную прописку в этом мире, вместе с ней таскал ему в больницу цитрусовые и соки, - и это был какой-то особенный, глубокий миг в той жизни; ее вдруг самым неподдельным образом разобрало такое жгучее раскаянье к обоим, что, казалось, не стало б в ту минуту одного, она б за все величье жертв и непредвиденную широту и отдалась бы окончательно другому.

Но это и был лишь миг, на дворе уже стояло лето, и лихорадка с новым поступлением живо вытеснила из головы неразрешимую альтернативу.

Она решила, что на крайний шаг пойдет только в самом последнем случае, надеясь все же проскочить - не по конкурсу, к которому уже готовилась с учетом прежнего, так по людскому сердоболию: удавалось же морочить дома и торговлю, и фарцу, и даже комсомол, снабдивший ее сюда лихой рекомендацией, а брата заодно путевкой в какой-то их спец, недоступный рядовому детству лагерь... Они заранее установили, кто был кто, и оформитель сам навел на мужика, который раньше слыл за бабника и вместе с тем имел какой-то вес в комиссии. Она подкараулила его в коридоре и рассыпала перед ним из папки на пол рисунки с вырезками из областной молодежки - те же авансы комсомольского хлыща. Он с плохо гнущейся уже галантностью подобрал пару - старикан в усиленных очках, повертел и даже похвалил; наконец своим вооруженным глазом разглядел ее, взволновался, потянул сухие, но обличавшие не сухаря явно руки... Проговорили минут с десять, выпросил, утешил, обещал, всучил визитку...

Она недобрала одного балла - и позвонила. Он недослышал, с ходу принял за другую, но она с отчаянной отвагой пролетария, которому терять и мяться нечего, просила личной встречи, и он после недолгой ломки согласился на свиданье в мастерской. Когда пришла, узнал, опять заволновался, стал снова утешать - но ей от него были нужны отнюдь не утешенья. Он только разводил руками, очень кстати звал на выставку и даже кинулся презентовать альбом... Она бухнула прямо, не веря ни на миг в действительность угрозы, что готова стать его любовницей за недостающий балл.

Но он, похоже, съел за чистую монету, прибалдел:

- Что ты, детка милая, как можно, это преступленье!

Она сронила бусинку слезы на грудь и закрутила пуговку на белой блузке; он перехватил ее ладони:

- Бедняжка! Ты так хочешь поступить! Если б я что-то мог!



- Вы все можете! Исправьте, ну пожалуйста, что вам стоит!

- Да так давно уже не делают!

- Все поступают, все по блату. Я же не виновата, что у меня никого нет! Меня мать даже не пускала, я удрала, вернусь - убьет, что мне теперь, пойти и отравиться?

- Да я бы рад, но как? Если б ты еще была москвичка - с твоим баллом на вечернее, и то навряд ли...

- Я пропишусь.

- Как? Надо же еще работать.

- Возьмите меня своим секретарем.

- Но как ты пропишешься?

- Неважно, сделают. Только вы пообещайте.

- Но каким образом? Неужели... Нет, я не допущу!

- Какое вам дело? Все равно никому нет никакого дела! - Она заплакала, и он своей дрожащей старческой рукой стал гладить ее волосы, дуря на мякине окончательно.

Но времени на нюни не было, она наспех вырвала из него искомый посул и побежала к оформителю, который ждал через квартал в машине.

- Поехали.

- Куда?

- Куда-нибудь. К твоему приятелю. Мне нужна прописка.

- Кто ж тебе ее сделает?

- Ты. Нарисуешь в паспорте, как в трудовой. Ты же все взял. Потом потеряю, дадут новый, - и она ему пересказала коротко весь разговор.

- А где ты собираешься жить?

- Сниму, переведусь - дадут общагу.

- Ты хочешь сказать, я сниму.

- Это сейчас неважно. Главное, старик. Ну что ты ползешь, как муха!

- Нет, это важно. Я, конечно, уже лох, но не хочу быть полным. Чтоб ты тут за мои бабки жарилась со всякими мальчиками и стариками...

- Мне ничего от тебя не надо. Только нарисуй.

Он остановил машину и повернулся к ней.

- Уже не надо? А было хоть когда-то что-то, кроме бабок, надо?

- Ты нарочно выбрал время меня мучить?

- Я тебя? А ты? Скажи, кто ты такая? Я тебя снял с панели, но за два года знаю меньше, чем тогда. Я пахал, как бобик, за твою любовь, но можешь ты вообще кого-то, кроме себя, любить? Скажи хоть раз, что тебе надо?

- Небо в алмазах.

- И все? А я, кретин!.. Так на первый! - И он со всей капитулянтской силы смазал ее по лицу и рассек перстнем щеку в кровь.

- Забирай шмотки и проваливай.

Но небо не осыпалось от выпавшего косо первенца, и она уже прекрасно знала, что делать с непредвиденным трофеем. Она из будки набрала старика, он, к счастью, еще был на месте.

- Меня сейчас избил мать. Я вся в крови.

- Как? За что?

- Я все ей рассказала.

- Что рассказала?

- Все. Она сказала, что я больше ей не дочь. Я сейчас пойду и брошусь в реку.

- Где ты находишься? Стой, никуда не уходи!

Вместе со шмотками она успела вытащить и принадлежности для гербового рисования. У старика в мастерской тоже стоял не такой великий, зато куда изысканней против провинциального сородича отесанный ампиристый диванчик.

Но проквартировала она там недолго. Сперва он ее переселил на чью-то дачу в Переделкине, пока хозяева отдыхали на даче под Тарусой, потом в какую-то огромную, как дом-музей, московскую квартиру - пока наконец боязливое желанье тайны, которая ни для кого, конечно, не осталась тайной, не заставило снять уже простую, как казалось после тех хором, однокомнатную квартирку в рядовом - каким только рядам вот так, с вакансией, доступном доме. Но и в короткий промежуток странствий она успела обостренным нюхом новичка схватить вкус всей этой новой, близко не похожей ни на что бывшее роскоши. Там, у тузов отечественного ей пошиба, была, по-ихнему, копейка и лишь то, что можно за нее купить. Здесь - нечто большее - такой вазон, такой газон, метраж, весь антураж - с тем колдовским, особенным дыханьем залежалости и барской неги в каждой половице, что в принципе не поддавалось купле, не имело денежного исчисления. Там делали свои алмазы, грабили, спекали из подножной грязи, и они были сделанные, несли, как рукотворная сивуха, с какой-то беспокойной, на не ровен час оглядкой подлый привкус черновых несправедливых трудов. А здесь - сам подлинник, нерукотворное, нетрудовое, как бы дары тенистой и таинственной грибницы, отмеченные задумчивой наследственной резьбой, особым матовым отливом благородства службы. Не наглый блеск каких-то двух, как в голове тупицы, граней, а бесконечное причудливое взаимоотраженья многих, творящее такую глубину, от которой, заглянув раз, невозможно оторваться. Здесь все не делалось - чудесно доставалось. Принцип обога-

ишения тех, хоть шастал на вершок под полом, был предельно прост: прямое воровство и спекуляция на дефиците. А здесь при всей, казалось бы, легальности занятий и афиш до сути докопаться было нелегко. Мицелий залегал не на вершки, на метры - наружу ж выпирали только красочные шляпки: творческий обмен, турне, почетное участие, Переделкино, Таруса, Ялта, Берн, Чикаго, решение правления о выделении, - она, как прежде фокусы штриха и построения, все это с жадностью усваивала от старика. Он был наивен, непрактичен, трусил, как огня, жены - но эта элитарная непрактичность, отрешенность мира, в котором творили, жили, представляли на международных сборищах страну, каким-то фантастическим путем обскакивала без труда весь лютый практицизм былых приятелей-дельцов. То, что писал старик, было ни о чем, ни для кого, все тот же вечный гобелен из серии "свинарка и пастух", на его вернисаж ходил он сам, жена и хроника программы "Время", его альбомы лежали на всех прилавках и шли только в нагрузку и дары - но сам факт лежания оплачивался на порядок выше трудов того же оформителя, ходивших нарасхват. Тут значило только одно: причисленность к грибнице, будь ты хоть кто, последняя поганка - как сынок его Сашок, чьими занудными заметками в "Вечерке" старый хрен проел ей уши, - но именно он исповедовался перед корреспондентом из "Ди Вельт" о чайных советской молодежи, раскатывая с маршем мира по Европе. Нет, сам старик как раз не был ей чересчур противен. Он был охотч и за свою охоту был готов платить - обычный натуральный оборот эпохи развитого дефицита, хоть и обряженный в хитон причудливого старческого романтизма. Так он всерьез считал себя не старым кобелем, а эдаким вечнозеленым нашим Бенвенуто, которого весь мир и молодежь - за исключением, естественно, жены - и рвались искренно любить, и ему еще со всех за это что-то причиталось. Когда его машину, которую то и дело загонял на ловле баб Сашок, отказывались брать в ремонт без очереди, он, как сама кровно оскорбленная заслуга, восклицал: "Бардак в стране! Они дождутся, что я выеду к чертовой матери из этого государства!" - хотя навряд ли за его пределами был сам собой кому-то нужен. Но уже ничто не могло сбить с него этот придурковатый комплекс первородства: он вырос в правилах грибницы, и таракан не верит, что он таракан; старик был для нее хотя бы таракан полезный. Она не страдала с детства чистоплюйством и не испытывала большого омерзения от его старческих цупаний и даже пуканий - когда, намучив донельзя, для окончания процедуры облегчала благодетеля рукой, - так точно, если бы пришлось, могла б ставить клизму, вытирать блевотину, таскать больному утку... Был зло нелеп тот сволочный закон с его распределительным, как на дверях продмага, поталонным списком, который все льготы, ес-

ли уж нельзя без льгот, отдавал вот этим климатическим больным и их дурным сынкам, - тогда как ей, со всем талантом и красотой, кому воистину должно принадлежать, за тот талон не дозволялось даже побороться! Когда старик зачитывал ей интервью Сашка, в котором доморощенная серость была и сквозь двойные стекла перевода, ее бесило сознание того, что, оказавшись на сказочном балу она, смогла б не хуже облапошить простака из "Вельта"! Но почему он - ослепли, что ли, меценаты? - стяжает самозванцем Золушкины лавры, если Золушка страны - она! За ней был тот хоть, исполнившийся неожиданного пафоса и братства черновой народ родного захолустья. Они хоть что-то делали, шустрили, рисковали, отгачивали глаз-алмаз, чтоб не долить в коктейль ровно семь граммов: граммом больше - сядешь, меньше - прогоришь; должны были давать заезжим итальянцам и своим ментам за пару туфель, за вареные штаны, которые на местном черном рынке стоили ровно двух официальных зарплат того же бармена. Они ж не виноваты, что какой-то бес устроил так, что честные в родном краю, как раки в городской реке, просто не выживали! А за ним кто? Пукальщик-отец? Она уже по-классовому, как не научит и марксизм, всей шкурой ненавидела грибницу. Но в духе строя, ампутировавшего само понятие классово-борьбы, всосавши с детскими соплями сказочное приглашение к равенству и братству, отнюдь не собиралась что-то там ломать - чего не удалось и тем огобеленным в халтуре бронзы и холста свинарке с пастухом. Смекалистый умок подсказывал единственный реальный путь - втесаться в список, присосаться к победившим, покамест унавоживая почву в лапах старого романтика-бздуна, без коих ничто, никакой мыслимый труд не мог ей обеспечить даже пищу и жилье, не говоря о главном - переводе на дневное.

И вот, не без легкого трепета в поджилках, она пришла на первый день занятий в тот, можно для нее сказать, предбанник, вестибюль судьбы, попадание в который стоило ей, может, больших, чем кому-то, хлопот. Прежде всего, конечно, не терпелось разглядеть поближе, что за публика. Публика довольно скоро разобралась на две части - наподобие того, как было еще в школе, где для каждой существовало даже прозвище: "крестьяне" - от родителей попроще, и "купцы" - позаковыристей. В основе тонкого раздела лежала непостижимая непосвященному, но посвященному решавшая все разница в типе джинсов и кроссовок, который в свою очередь легко прочитывался в строчке шва и фирменности клепки. Эта, последнего пошиба, молодежь в деле невесть откуда взятого снобизма далеко обставила и стариков - с их креном к романтизму: одетый не по форме клепки уже не числился всерьез; за эту строчку, собственно, и отдавал родной городок цвет девичества на поруганье басурманам - правда сказать, там на прилавки выпадало

что-то уж совсем чудовищное. Она, в своем особом ампула, как-то сразу не засваталась ни к тем, ни к этим - хотя постреливать глазами, на один для всех лад, с первой минуты начали и те, и эти. Но те, кто были ближе, были не нужны, другие не одолевали первыми барьер по сорту спеси. Но ей такая отстраненность пока и была на руку: побольше романтической загадочности, поменьше лишней болтовни. Ей нужен был не просто родовой московский мухомор, типа Сашка. Ей, как всякой Золушке, был нужен только принц. К тому же принцы более демократичны.

И он явился.

В сказочной фирме, которая т а м стоит не пятнадцать, а все тридцать долларов за ту же вещь и в черный рынок не идет - не оборотисто; с волшебным надпечатком подлинности, сделанности под таким вазоном, что отличает терем в Переделкине от самых рьяных жульнических дач. Но как-то сразу виделось и то, что для него такой вазон - сроду не больше, чем ночная ваза; не он служил чему-то из вещей, все - ему; не он носился за элитными девчонками, тряс благородными кудрями - за ним носились. Но довольно скоро она установила и другое: что при тех же или почти тех шмотках прочие, особенно девчонки, сравнительно с чистопородностью его сложенья и лица были уже какая-то потасканная, уже не первой, не рекордной репродукции элита. Молодые вислые груди, опущенные от лени и куренья с детства задницы, - принцессы, подлинной носительницы подлинного при нем и рядом не было. И когда их взгляды первый раз сошлись, по мгновенной вспышке, никогда не следовавшей в адрес тех грудей и лиц, она поняла, что вызов состоялся.

Поскольку он ходил учиться, а верней, сидеть орлом на подоконнике в дневное время, их случайные пересечения в коридорах были редки. Но он перенес дозор на подоконник у библиотеки, и глазные встречи участились. Она не отводила глаз, но и не отзывалась ни одним движеньем; ему мешало вечное наличие свиты, однако, видимо, и без нее он чувствовал себя не королем, - и поединок разгорался.

После недели безответного сиденья к ней подошла вислогрудая девчонка и с нарочитым адъютантским гонорком прошебетала, что один ее приятель де горит желанием с ней познакомиться. Она вмиг оценила всю жалкую подкладку роли посланной, но, потупив взгляд, прикинулась тем, кем была - казанской сиротой и Золушкой, - и отвечала, что чересчур проста для того приятеля, у которого и так полно блестящих, не ее чета поклонниц. Та даже не заметила подначки и с беспечной безоглядностью всех сытых вприпрыжку понесла назад неугодившую стрелу - уже пропитанную с обратного конца сильнейшим приворотным действием отказа.

Он сам настиг ее - послеурочным поздним часом, в переулке - с чем-то полусатанинским-полудурацким вроде:

- Зачем ты убегаешь, как судьба!

Но в глубине зрачков скакал трусливый ужас, было видно, какой под модной упаковкой все же желторотый, сам больше всего дрожащий расширить коленки сосунок, даже знакомство заводящий по привычке не своими силами, по блату; так и подмывало мстительно подсечь, сказать: много чести бегать от сопливых, еще маму приведи! Но у него была решающая фора: он, желторотый, был ей во сто крат нужней, чем она ему. И она ответила:

- Зачем ты догоняешь?

Потом она ему рассказала всю полу- или даже на две трети правду о себе. И он, избалованный и вздорный, но сердцем добрый от щедрот природы мальчик, сотряс красивый чуб и преломил колена - думая, что в этом и есть самая сногшибательная жертва, - перед ее несчастным, небывалым для сынка другого мира случаем.

- Скажи, что я для тебя могу?

- Оставь меня. Сам. Видишь, как мне трудно.

- Но почему?

- Я никогда не смогу стать твоей.

- Почему?

- Ты - чистый, а я - испорченная, дрянная. Ты так обо мне думаешь.

Он думал, что она - сама святая чистота. Одна попытка поцелуя приводила ее в страх, что приводило его в раж: он думал, что она, такая ж простота, как чистота, в отличие от вислогрудых, скорых на любые, хоть не слезя с подоконника, проказы, но тугих на дело, - раздвинет ноги после первого ж толкового лобзанья.

Он загорелся, как фитиль. Писал стихи, стерег в жестоком самоунижении в коридоре, скрывался безутешно навсегда - и объявлялся прямо против окон в телефонной будке, грозя нос в нос сойтись со стариком: она ему внушила, что живет с условием, что ни одна нога не ступит за ее порог. Но действовал, судя по всему, из чистой любви, кажется, и правда искренне не понимая, что от него требовалось; сама идея брака, похоже, была чужда его спонтанной страсти, как мысль о лифчике вольногрудой индианке: зачем стеснять такую красоту? И это ставило сильнейшую загвоздку: искренность как раз арканится трудней всего - не за что зацепиться. Но для чего вообще все эти взаимные происки и из чего? Когда куда вольней, если взаимно хочется, вставить фитиль за надлежащее стекло и жечь законно, с толком, сколько влезет - а не палить напрасно, кое-как! Он злил ее непониманием этой простой вещи, которая еще казалась ее провинциальным гре-

зам не только вполне, но и единственно возможной, - хотя и требовала от нее таких не снившихся ему, счастливцу, крайних жертв. Она все еще думала прорваться невредимой - благодаря вот этому ее двусоставному, двуступенчатому я: пока лишь тратится начальная, подсобная ступень, она ее отстрелит, только выйдет на орбиту, - и еще с лихвой останется в запасе. Все дело в том, насколько сокровенен тот запас, упрямы расчет и прочны на форсажах разгородки.

Видимо, в ней все же крепко сидела эта старомодная укладка, дань провинции - которая, пусть будучи грубей, ходульней в нравах, все ж, как производительница, невольно берегла необходимое, хотя бы в той же трудовой откачке нефти, трезвое начало. И если даже не блюла амурной чистоты, однако и не мыслила безумных трат на прихоть. Столица все выпестывала наизнанку, и бешеная искренность влюбленных принцев вдруг разбивала всякий здравый смысл. Когда в очередной отъезд родителей на дачу она отказалась идти к нему, он от нее шагнул прямо в поток машин - подняв страшный визг тормозов и шквал сигналов, перепугал ее до смерти и сам порядком взбледнул с лица. Но что его туда гнало? Понятно, математик - так ему закрыли вовсе кислород, если отчаялся на такой шаг - за настоящее, не дури ради, - чтоб этот тут кидался сгоряча - не говоря уж, как это мило в отношении нее, - своей завидной миллионам пасынков страны сыновьей долей - за ерунду, которой у нее дома вся цена ветровка, пара сандалет с дешевой распродажи в городе Турине!.. Но это - лирика. Хуже пугало, что его нестойкий фитилек от безутешности начинал помалу как-то никнуть, полыхать неровно, чадя все чаще винным перегаром, не ровен час мог затухнуть совсем чьей-нибудь сторонней милостью. И надо было, делать нечего, подлить огня.

И в следующий выходной выезд предков она, взяв с него три короба правдивых клятв, пошла. Он налакался в три минуты и набросился на нее со своей бредовой лирикой, имевшей сверхзадачей удаление лифчика; работа длилась час и увенчалась, к чести нападения, успехом. Она взмолилась:

- Пощади меня! Мне страшно!

Но он уже, как фокстерьер, который даст скорей лишиться себя хвоста, чем жертвы, мертвой хваткой впился в грудь и продолжал, не внемля ничему, хоть бей, бесстрашно удалять дальнейшую одежду - а с ней и всякую пощадную надежду. И тут ей самой впервые изменил расчет. И для нее тот час, атака юной и желанной плоти не прошли бесследно; раз в год само стреляет и ружье; заряд, раскаленный в жаркой рукопашной, сдетонировал, отбросив ум за разум, все переборки, возводимые с таким великим тщанием, рухнули, она сама, дуряя, сбила с ног последнюю одежду и потя-

нула молодца к той неуставной вольности, что творили с ней оформитель, математик и старик. Но здесь стряслась другая непредвиденность. Принца в момент как окатило из ушата, он вскинул голову и обалдело вытаращился на нее - но она уже не могла ничего с собой поделаться, разнузданная насильно плоть не в состоянии признать осечку, билась и молила с конвульсивной, вложенной в нее самой природой силой... Он еле выворочил непослушным языком:

- Ты что, противно.

И дикий зуд желанья разрешился в слезы - стыда, бессилья, непроходимого, как в складках материнских губ, сиротства.

- А ты хотел, чтоб противно было только мне? Ты вон какой, у тебя все есть: дом, папа с мамой, еще обзавестись очередной игрушкой! А тебе не противно, что на мне каждая тряпка - старика? Он завтра явится и потребует своего - и мне останется только выброститься из окна или стать обыкновенной шлюхой?

- Противно...

Он опустил голову и сунулся ей в грудь - как тот же фоксик, но уже побитый. Но ей теперь, после своего политического краха, он был и сам противен, а противней всего, что вот она сейчас уйдет, не солоно хлебнув, от только замаячившей удачи, а он так и останется со своей неотъемлемой алмазной форой за спиной, и все несчастья, бури, слезы в мире не сотрясут и волоска его заранее отмазанных от всего этого золотых кудрей!

Она ошиблась. Жизнь счастливица, еще немало, как будет видно, подпогавив ее собственной, оборвалась досрочно, - и тут на пленке первый плач: она показывает мне фотографии. Красивый мальчуган, черт бы его побрал; как знать, может, не выскочи он муравьем под колесо судьбы, им оказалось бы на пару и не худо. Но я хочу здесь предъявить другое, выходящее за рамки самого рассказа, но не выходящее из головы впечатление. Я видел близко выражения глаз, лиц осиротевших матерей - наше вторжение в Афганистан, вторжение непостижимых сил природы к нам в Армению, к несчастью, надавали поводов. И вот что здесь, на этом месте исповеди, дернуло меня по сердцу. Вот это выражение в ее глазах - не скорби, нет, скорбь дерет старух, - какой-то неоконченной, доступной только матерям любви, как бы протянутой безумным неповиновением за кордон земного. Довольно неожиданное по соседству с тем фривольным эпизодом, по возрасту, которым она и успела обогнать мальчика ненамного. - оно и на меня подействовало самым странным образом. Стоит начать очередную тему в области морали, по которой я служу, и вспомнить то ее лицо - как что-то провисает начисто



в мозгу, сбивается язык, буксует в пирующей машинке клавиша. Пусть даже остальное на три четверти лганье; неважно, что вдогонку той фривольности... Нет, это-то и важно, именно! Это немислимое, да просто, по-нашему, кощунственное сочетание, - оно-то и соорудило во мне тот странный образ, об который спотыкается мой труд. Представьте фантастическое полуразрушенное здание - хотя бы наподобие тех гиблых бастаионов с памятных армянских снимков. Но не из камня или кирпича, а из каких-то умозрительных, но так же неестественно и дико сбитых плит. А почему вся эта дичь видна - за ним, верней, прямо в нем каким-то чудом встает другое - оригинал, прообраз дивной гармонии и красоты. Но, как живая плоть в раздробленном моллюске, оно все сдавлено, изранено, иссечено увечной внешней кладкой... Как будто строили из лучших, или еще каких-то побуждений эту скорлупу, но потеряли, если имели сроду, общий план, не соизмеряли продолжение с началом, левое с правым, произвол желаний с правилом, - отчего все то и дело рушилось, корежилось от внутренних и внешних катастроф, - но стройка продолжалась... И вот на какой-то, не прошедший даром миг я увидал, сквозь строй руин, во всем исходном волшебстве тот, изначальный подлинник. Все то же самое, но все не так! Там есть утрата - но она не скорбь, скабрзность - никакая не скабрзность, нет ничего кощунственного вообще, и видно, как строенье далеко ушло от образа: что вымахало здесь, пустует там, и наоборот - сдавленное внешне хочет жить, колотится, как узник в клетке, мышца в тесном гипсе... Там все так ловко переплетено, что ни одно не ранит, не терзает, не казнит другое. Любовь, борьба не рвут за глотку, как враг врага, перетекают исключительно друг в друга, как жизнь перетекает в смерть, - и смерти вовсе нет. Там как-то удивительно, как за чертой платоновской пещеры, царит один закон природы, все с величайшей материнской скрупулезностью возлюблено и учтено, и бич не хлещет в гневе, если что-то чересчур, не так; все - так, и самого бича в природе нету... И вот мне, в мысленной распарке, возмерещилось дальше, что этот дивный бред - не бред, а явь - но только за каким-то чрезвычайно отдаленным рубежом, в какой-то сказочной, как золото Маккены, впадине за гребнем, на который мы, человеки, может, только-только начали взбираться. Только еще возводим, с риском жизни, наше псевдоздaнье, не понимая толком ни своих потуг, ни истинных природных правил, почему все это каждую секунду так несносно жмет и саднит, бомбится изнутри и валится от внешних потрясений? И просто выдернуть саднящее, как из подошвы гвоздь, нельзя - только накроет хуже; и мы, как триста человек армян в завале цеха, как заложники в собственном плену, обречены на восхождение до конца, на постижение до точки - хотя бы своей архитектурной лжи, - и

лишь оттуда сможет засветить спасительное нисхождение... И вот на чем пасует мой моральный труд: что, если и эта песня тоже только в стиле псевдо? Пусть даже искреннее, даже пусть необходимое - но все-таки бессмысленное ввиду грядущего разбора громоженье? Что, может быть, тот человек, которым мы являемся сегодня, еще ничуть не венец, не царь природы - а лишь какой-то промежуточный, еще во многом пробный вариант? Иначе как объяснить этот парадокс: создан для счастья, как птица для полета, всего полно, а счастья-то и нет! Где не стихия, там свои война, тюрьма, вражда - по восходящей в сторону маразма: Ольстер, Вьетнам, Иран - Ирак, Афганистан, - что дальше? Куда еще заведет нас единственный мотив: зуд счастья - а иных, убей, в живом не вижу; каких еще понадобится страшных боен и стихий, чтоб узреть с вершины - может статься, крайнего отчаянья - путь вниз, к гармонии, заложенному в нас самой природой Эльдорадо? Где, может, и эта нынешнему миру негодная душа, фингальный вариант, окажется угодной бесфингально? Или вся эта бесфингальность, эльдорадность - все же бред, одна вечная утопия картавых мудрецов, и никакого запасного варианта нету? Впрочем, загадка темная, лучше вернусь к моей, то бишь ее истории.

Меж тем на ее внешность, как на клейкую бумагу мухота, пытались налипнуть и другие - не так уж чья при случае барьеры кастовых и прочих глупостей, - а улица, свободная от всякой касты и стыда, держалась просто нагло. Но то ли в ней был затаен, как, может, в любой женщине, и тут проклюнулся характер однолюбки, - что все прочее после принцевых дурачеств и безумств уже казалось пресным; то ли и впрямь народец подобрался пресноват: люди, как называл их Принц, с громким голосом и тихим умом. В редких гениях вопреки заветным ожиданиям ходили как на подбор одни очкарики и замухрышки, в прямой речи все какие-то пришибленные и зажатые невпроворот. Она этой ущербной гениальности не понимала и не воспринимала, к тому же, памятуя о печальной доле математика, который редким исключением был и в жизни не урод, интуитивно и побаивалась. "Основная" публика, как Принц, в корне презирала всякий труд, из наслажденной жизни предпочитая еще кое-как понятный ей "балдеж" под мощную стационарную и ходячую наушную акустику и уж никак не постижимую в их и без того, казалось, кайфном жизненном устройстве травку. Она, как истинная провинциалка, вдобавок и заложница необходимости, вкладывалась в учебный труд сполна: не пропускала ни одного занятия, каллиграфически-автоматически записывала лекции и конспектировала, как все примерное студентство страны, ткущее в тиши читален свой один, из поколе-

ния в поколение, текинский ковер, первоисточники. С успехом в области искусства было хуже. Талант-то был, но для дополнения необходимых мастерству огранки и шлифовки требовал, как обнаружилось, не просто текинского мерного - безмерного труда, который еще то ли обернется, то ли нет, а жизнь отхватит; она ж сюда рвалась не для тщеславных оборотов, жизни ради, и потому предпочитала отдавать старательную дань по-текински, в читалке. Впрочем, многие, как она удостоверилась, тянули еще хуже. Принца она вообще не видела ни разу при мольберте, он сам говорил, что родители вписали его в заведение, как в гвардию. Размолвка оказалась прочной: он больше не звонил и не стерег орлом на подоконнике, в те редкие разы, когда запархивал по пути с попойки на попойку подстрельнуть у вечерников вечно недостающего блестящей юности рубля, гордо пялил очи мимо и воротил красивое лицо. Но ее в конце концов не слишком обескуражил первый промах. Еще не все было изведено и здесь, в училище, и по улицам, вероятно, ходили не сплошные наглцы: впереди распахнуто маячило большое лето, с его бульварами, пляжами Серебряного бора, улицей Горького, Калининским проспектом, исполненные грезных тайн Дома работников искусства и кино... Да и самую первую на только зачинавшемся столичном фронте любовь она не числила потерей окончательной. Главное было избавиться от старика, перевестись и получить, как допуск к самой жизни, собственную койку в общежитии, без чего, конечно, дело туго: все тайны рано или поздно прознаются, и не всякий отнесется к ее шатким обстоятельствам с такой беспечной солидарностью, как Принц. И потому, пока выбросив из головы все лишнее, она ввиду уже неотдаленной сессии еще прилежной налегла на кисть и каллиграфию.

Но старый блудодей, не дотянув немного до законного освобождения, иным и страшным, как удар дубиной, образом избавил ее от себя: в один прекрасный день испустил дух прямо в ее постели - пока она смывала в ванной его старческую, скудную, как у младенца, сперму. Жена нагого трупа на ее крик ужаса по телефону ответила с таким невозмутимым резонерством, как будто речь шла не о смерти, о каком-то мелком штрафе, кокнутой стекляшке:

- Я так и знала. Я ждала.

И по беспредельной ироничности судьбы вышло, что оплакивала его конец она одна. Грудастая мадам, разряженная, как попугайка в сезон любви, надушенная до щипоты в глазах "Диором", гортанным, булькающим на жиру голосом распоряжалась действиями "скорой"; Сашок все больше молча тербил усы, видать, уже прикидывая впрок вопрос раздела дачи и вазонов: старик давно жил на дивиденд с былых заслуг, который теперь автома-

тически переходил уже к ним непосредственно, минуя старого растратчика и волокиту, - так что наследникам особенно слезиться было не с чего. Но для нее это был действительно удар, всех катастрофических последствий которого она даже не могла представить с ходу. Ее душили злые слезы даже не от очередной, как снег на голову, немилости судьбы - от всей, как это часто в горе, совокупной жизненной обиды. Ну почему в самом деле - кому что, а ей, как по чьему-то приговору, только этот снегопад, под которым она, как задница под плетью: сколько ни вертись, достанет все равно! Одно-го хочется: жить, жить, а жизненный улов - просто какой-то фатум! Один безумец режет себе вены, другой бросается под автомобиль, третий бьет в кровь, четвертый оторвал свое и хоть бы хны: в блаженстве жил и от блаженства умер! А ей распутывай и исправляй, как хочешь, подлые ходы фортуны! И все за что? Единственное, мизер - койко-место в общежитии! И некуда даже не только что обжаловать неправосудье, выплакаться всласть!

Когда все кончилось, старика, как новорожденного, спеленали и вложили в колыбель носилок, чтоб спровадить, как с прогулки домой; Сашок наконец бросил ус и, не стесняясь ее присутствия, кинул матери:

- Надо этой сучке сказать.

И ей сказали: старика здесь не было, ты ничего не знаешь, мы тебя не знаем, - и бросили одну в пустом и страшном доме, с едким запахом духов и медикаментов, грибницы и гробницы.

Она достала стариков коньяк, налила по рюмке себе, ему и, следуя в затравленном печалью мозгу какому-то суеверному наитию, устроила скудные поминки по ушедшему: раз уж ушел, пусть спит безвредно! И ветхий, затесавшийся невесть откуда в памяти обычай, как неожиданный, но верный друг, укрощал помалу собственную боль. Она вдруг поняла, зачем пропащей матери нужен был в хламе чумазый образок, зачем таскают в церковь отпевать покойников - не им припарки! С двух рюмок у нее закружилась голова, тоска озолотилась чудным пламенем напитка. Все врут, она одна права! Потому что хочет правильного: жить порядочно и хорошо. Что для этого надо? Но почему для этого должно быть что-то надо? Ничего не надо, чтоб каждый день всходило солнце, шел дождь, росли цветы, трава, человек родился, любил. Почему только на жизнь кто-то накинуд это надо? И жизнь должна происходить, как смерть, сама. А если работать - то всем вместе, задно, как при коммунизме. Тогда всем всего хватит. Ведь каждый может сделать гораздо больше, чем сам съесть или унести. А когда все врозь - только, как дети, ссорятся и отнимают друг у дружки. Тогда б и она могла по-настоящему создать все счастье и родить детей тому, кто больше

нравится. Принцу, например. Он бы тогда не сходил с ума, не злился на весь свет и не бросался под колеса. Или математику. И ей ничего было бы не надо, только где жить и что надеть. И никто б не завидовал никому, все жили б и жили, с радостью, как птицы. И это - чистая правда. Хотя скажи кому-то - засмеют, как дурочку. Потому что эти умники все сами дураки. Но если это правда, значит, так когда-то обязательно и будет. Но только она, разумеется, не станет ждать, пока за горами свистнут раки. За то, что сделал для нее старик, - мерси. А остальное она как-нибудь вырвет у жилистой судьбы сама. Жизнь не страшней, чем смерть, она еще покажет этим московским умникам, на что способна. Они еще побегают за ней, поносятся, как за картинами маэстро Пикассо!..

Из сладкого оцепененья грез ее вырвал звук ключа в замке входной двери. От страха она чуть не грохнулась со стула, в первое мгновенье показалось, что ломится какой-то вызванный воображением из призрачного мира гость. Но оказалось кое-что похуже: человек.

- Привет! Уже кайфуешь? А Сашок в натуре прав!

И не гость - а подлинный хозяин площади, следовательно - и положения. Он бросил заплечную сумку на стул, опорожнил, не спрашиваясь, старикову рюмку и предложил ей в эту же минуту убираться. Первый реальный плод с дерева беды - только она и думать не могла, что вызреет так скоро! Вопрос - куда? Пьяная, на ночь глядя - со стариком ушла единственная связь с широкой на пустые метражи грибницей, - и только взмывшие блистательные грезы рассыпались в единый миг о жизнь, которая опять была страшней. Она с отчаянной надеждой на невесть что, на выручавший не раз экспромт, набрала Принца, даже оформителя - но на сей раз фортуна даже не вступила с ней в игру: обоих не оказалось дома. Ну ладно, ночь еще перекантуется, а дальше? На сессию был нужен хоть какой-то угол, договор о переводе уже был, но без страховки покровителя ее могли спасти только круглые пятерки, тотальная зубрежка, которой не займешься на вокзале - да и хотела б, не позволят, заметут. Она молила слезно, как могла: еще месяц, ну полмесяца, за любые - которых у нее и в помине не было - деньги! "Ты что, цыпка, какие деньги, тут ментами пахнет! Вы порезвились от души, а на мою задницу приключения! Но Сашок в натуре прав! В общем, дашь - останешься. Нет - пойдешь на Банный, там все равно дашь. Такой, как ты, хорошая старушка сладст навряд ли".

Она заперлась в ванной, и пока он досасывал коньяк и раскатисто гоготал по телефону, последней трезвостью нетрезвого ума пыталась разрешить жестокую, обратно ниже пояса забитую задачу. С одной стороны, почти взятый город. сессия, перевод - вся жизнь; с другой - девственность, -

и куда ни кинь, клин: одно без другого мало значило. Но так ли впрямь? Не завышен ли запрос? Почти у цели - пусть не с главной, тоже не пустячной буквы - и практически безжертвенно, бескровно, не достало одного, последнего вершка, - так, может, тут и есть тот крайний случай, чтобы распочать НЗ? Неужто сдаться, отступить теперь, да и куда, как ни размашисты родные ненавистные просторы, за спиной - Москва! И она выбрала всю жизнь.

Когда он разглядел кровь, спросил:

- Ты что, хочешь сказать, что ты целка?

- Нет, месячные.

- Ну-ну, раз в месяц все вы целки!

Она его терпела молча, как фашиста, стараясь, как страна, скрасть позор официальным непризнанием, нечеловеческим усилием изображая казнь такой же расплевой, как для палача, пешечной отдачей.

Но вся ягода свалилась только поутру, когда он оборвал ее раздавленное полузабытье, из-под которого век не хотелось выбираться стихом повыразительней всей бальной лирики и посвящений Принца:

Здравствуй, цыпка! Ночь прошла.

Одевайся - и пошла!

Она, как оглушенная, не видя дальше носа, поднялась, оделась, вероломный хохотун, играючи, помог собрать весь ее недолгий скарб, навесил через плечо тот самый, оформительский еще мольберт, спустил, как поводь, на лифте, вывел из подъезда.

- Ну, тебе куда? Мне в другую сторону. Чао!

И вот сбылось не в бровь, а в глаз: она, художница с мольбертом из вчерашних грез, стояла посреди московской улицы гражданкой без понятной цели и прописки, с единственным в мозгу: что чем обратно в материнский дом, куда прикабалил ее режим проклятых и уже полуфиктивных корочек, - уж лучше правда к неуютным уткам, в воду. За ночь пал снег, как один, рассыпавшийся в пыль алмаз, и хорошо, по-яблочному отрумянился на солнце. Шли странные, несопряжимо с ее печалью звери - люди, все в радостном, добытом заблаговременно новье; она по-бессознательному тоже двинулась на яблочное солнце, наткнулась на скамейку, села. Так, значит, яблоко не про нее? Мысль, вечный двигатель, казавшийся доселе неуязвимым, ударились в эту последнюю неусвояемую дичь и стала.

И вот в таком как бы уже небытии она чисто машинально, по инерции убитого солдата, зафиксировала, как напротив остановились "Жигули", вышел водитель, потом оказался подле нее, лет двадцати пяти на вид, в ондат-

ре и очках, равно далекий от дурацкой красоты и гениального уродства, что-то типично среднее, с рекламы ряженки и роликов Госстраха, и непомерно боязливое впридачу.

- Девушка, извините, вам плохо?

Она не ответила ничего, он посмелел:

- Вы так замерзнете. Вас подвезти? Где вы живете?

- Нигде.

И тут наконец тупая безысходная тоска остановившегося механизма изошла в горячие, живые слезы, в глубине сознания раздался тук, другой - и то, чему она успела справить отходную, опять пришло в движение с подоспевшего как раз чужого и спасительного поворота.

Он посадил ее в машину, избавив наконец от пут мольберта, и по дороге к нему домой она, не слишком искривляя истины, пересказала суть своей беды: хозяин выгнал из квартиры, денег нет, прописка липовая, ей не сдать сессию, не получить общагу и деваться некуда. Подробности она уже досказывала его матери, дивясь потом сама, как исхитрилась вдруг, без подготовки, на живую нитку разыгравшейся снова, по возвращении бытия, непроторной боли облапошить далеко не такую простодушную, как чадо, слушательницу. Впрочем, этим искусством девяти десятых истины она уже владела так, что, кажется, могла б и под наркозом, детектором лжи, пыткой, вусмерть пьяная неотлично исправлять ошибки мало благосклонной к ней судьбы.

И потерпевшую оставили великодушным приговором на две недели в одной из трех комнат оборудованной без сказочных излишеств и вазонов, скорей, с запасливой барсучьей прочностью квартиры. А потом и еще на целых полтора года.

Но прежде, если уж фортуна повернулась так, она решила испытать все ж не казавшийся ей вовсе битым шанс другого счастья. В том, что спаситель будет предлагать ей руку, она не сомневалась ни на волос - с той минуты, когда он этой же дрожащей от волнения рукой спускал с нее, как бретельку лифчика, ремень мольберта. Да просто так, из гуманизма, потерпевших из пучин не тащат, вон их барахтается сколько за бортом: битком набитые бараки и общаги, родишь - освободите помещение! И для него, она могла б поклясться, самым убедительным моментом был, по снятию пальто, тот же французский лифчик, выдававший как нельзя лучше грудь, - и тут, что безусловно, в пользу простоты, момент чистой истины - в отличие от баек под дотошную маман. Но ей какая в этом всем корысть? Куда фашист с клешней, спаситель - со спасеньем, - но, кроме разве московской прописки и авто, она за то время, пока ее прощупывали на семейном рент-

гене, не обнаружила в нем никаких примет героя, ради которого рвалась на золотой столичный прииск. Но принудительная мудрость жизни более чем внятно научала не бросаться и синицами в погоне за лихими журавлями.

И подготовив отступательный рубеж ссылкой на какую-то невразумительную надобность в общаге, она из первой будки на углу позвонила Принцу. Он оказался дома и один, не давши вставить слова, заорал, что погибает без нее - она легко представила, как именно происходила та погибель, - и после более чем месячного невспоминанья настолько нестерпимо жаждал видеть сей же час, что готов был платить такси в оба конца.

Она поехала - с шальной надеждой все же как-то ограничиться одним. Он наакался снова с беглостью мустанга, но на сей раз его лирика была исполнена прискорбных интонаций, копая больше в адрес самого творца периода страданий, перевалила к сверхзадаче позже, справилась быстрее; она попыталась перевести речь на предмет обратного конца, но безуспешно: он обращался преимущественно к самому соску, и ей, честно сказать, такое безалаберное обращение после всей пережитой пропасти и мрази было всего желанней, как забвенье, как безрассудное, по уже вошедшему в кровь двуличию, спасенье: переходить, переиграть ошибку злой судьбы, переведа - даже невесть, для чьего обмана больше - утратный счет с фашиста на него.

И было все почти по-настоящему, почти в дугу: и боль, и кровь, и те, там не отлившиеся, отлившиеся наконец здесь и сумасшедшей нежностью размазанные по щекам обоих слезы. И когда она, храня остаток разума, сказала: "Я пойду", - он, начисто лишась прежнего фразерства и стихов, как мольбу бессильного, пролопотал: "Я тебя никуда не пушу".

Что в нем была за власть? Она не верила на всякий случай и правдивым, а уж его сердечный бред, ясно, не мог стоить и гроша! Но... она ничего не сказала впопыхах о перемене места жительства, а не сказав, не видела, как убедительно обосновать нужду возврата, - да и сказать, затребовать сейчас каких-то клятв - что толку, все равно их даст! Она устала биться, будь что будет, несчастный бабий ум как ни хитер, но так уж сбит, что все отдаст за ночь с любимым, - а она его любила - вот где проруха, пострашней всех ужасов фашизма! И, как декабристка, пошла б следом в рудники, шалаш - во всяком случае здесь для перемены участи не требовалось ломать весь мир, достаточно было сломать одного - хотя еще неизвестно, насколько это легче.

Утром его сдернул с постели телефон. О чем он говорил вполрта в огромном холле, она не слышала, но вернулся с такой же точно струшенной, как в первый миг знакомства, несуразной миной.



- Что случилось?

- Родители!..

- Ты что, их боишься?

Он как-то наспех выправился:

- Да нет... Черт! В магазин не сходил, мать разорется!

- Ну так сходи. Пойдем вместе.

- Да, пойдем.

На улице от странной напряженности он перекинулся в другую дичь - какого-то безостановочного, неестественного балагурства, - но повернул не к магазину, а к метро и чуть не впихнул ее силком в непроворотливые двери:

- Ну, пока! Звони! Я позвоню! - и уже хотел засветить пятки, но ей пришлось, преодолев лавинный стыд, сказать:

- Я у тебя забыла сумку.

И шли назад, уже молчком, оба пунцовые, как раки, брали сумку, он малодушно снова сунулся за ней, но когда разошлись двери лифта, она, уже не сдерживая лютой немочи минувших страшных суток, повернулась к нему:

- Знаешь, ты кто? - и с не меньшей, чем ночные страсти, полнотой вложенья плюнула в его красивое лицо.

Но что ему? Утерся очередным самоколупательным стишком - он как раз собирался перепоступать в литинститут и набирал эмоций, - а ей немислимимым и крестным ходом надо было возвращаться в новую семью и снова что-то лгать и не краснеть; и она лгала и не краснела, что прозанималась допоздна в общаге, но ее выставил оперотряд, не осмелилась так поздно возвращаться и звонить и просидела до утра на Телеграфе. Но верил ей теперь один сынок. Мать, главная идейная и кадровая власть семьи, отсюда заложила в сердце прочный кукиш недоверия, который ей до самого конца так и не удалось ни выкусить, ни разогнуть.

Она получила все "пятерки" и одну "четверку". Что хоть несколько и подняло ее подмоченные акции в семье, для перевода оказалось недостаточным. Перевели двух только самых крепких блатников; старик, как видно, был последний рыцарь на грибнице, остальных так запугало развернувшееся как раз круговое наступление порядка, что все ее старанья и мольбы и уже неподдельная готовность дать не увенчались никаким успехом.

Пришлось давать спасителю - в который, в третий раз, только уже прямо обратно первому, разыгрывая несуществующее, рассовмещая окончательно творимое изображение и суть. И в результате главное сокро-

вище, которое она так рьяно, всей честью и не честью берегла, ушло за фук, как Колобка, сожрали по кусочкам. Но кто обкутермит такой базар-вокзал?

Видимо, она все же не зря так дорожила этой вроде чисто символической, принципиальной человеческой принадлежностью. Принципиальность - вообще в живой крови. Матерый эск выкальвает на ручищах: "Не опозорю вас работой", - и не позорит никогда, хотя раздели его нетрудовой доход помесячно на срок командировки, выйдет мизер, в тех же героических краях на вольном найме больше б заработал. То есть не легкой жизни ищет, трудно бережет свой принцип, и лагерная ездка даже в чем-то, может, его, как поход к святым местам у мусульман, стихийно укрепляет. Другие из той же тяги к принципу, к нагорной власти, ностальгируют сегодня по сталинизму, по золотой поре, когда праздник был праздником и всенароден, как война, враг - врагом, колбаса - колбасой, и в угол тоже ставили на всю принципиальную катушку. Трудно, говорят, жили, но празднично, принципиально. Не верю, чтоб этот лютый праздник был, как сейчас толкуют, чисто аферным порождением кучки злых прохвостов. Великий прозорливец отворил, как жилу, мощный конструктивный зов принципиальности, и, может, не перегни палку относительно ближайших бражников, еще мы долго были б счастливы. Поскольку смерть, если и зло, - не худшее, во всяком случае терпимое в природе. Предательство - вот что не знает снисхождения. Ужасный тип Иуда, самый плохой человек на земле, даже отбеленный от всех других грехов, обвиняется в единственном: хриstopродавстве. Как показательно, что не убийство, не разбой, не что-то еще из откровенной и широко представленной в нашей родословной уголовщины, - а именно этот, даже мало решающий по ходу бытовой проступок стал нарицательным для самого дурного, груз вины таков, что даже не требует (не в пример нашим кодексам) какой-то внешней кары: предатель самоубивается, поскольку не может жить сам по себе, и купленный на его сребреники агробизнес не может их отмыть и производит до скончания века что-то страшное. Но штука в том, что и Иуда в высшей степени принципиален. Из дела ясно чувствуется, что действует отнюдь не из сребреников, уже несущих печать его конца, действует, как сам Христос, из принципа - уж коли такой дан ему в сюжете, и, больше заботясь о последовательности роли, чем о последствиях, все-таки свой, не менее отчаянный, чем Христов, поступок совершает - а мог бы просто повитийствовать, как Петр, уйти в кусты и никого не целовать. Но уж такой чудовищной измены - самому себе - не мог помыслить даже этот смелый, высоко правдивый миф. Стало быть, жизнь приемлет

все: и мир, и меч, - не приемлет только одного: деструктивности. Всем на ее широком поле разворот и честь: и Цезарю, и Бруту, и Манон Леско, и смехотворному во всем, кроме великой преданности избранным эмблемам, Дон-Кихоту, и Чичиков становится по-настоящему противен только тогда, когда пытается перековаться - за что и жжет его ревнивый автор. И, значит, добро и зло не в добре и зле, таких же полюсных, как углы бойцов на ринге, - а только упоение в бою, в священной схватке шельмы с шельмой, - и дайте ж развернуться! Один знакомый иностранец, которому я как-то взялся жаловаться на тяготы и ущемленья нашей нынешней борьбы, мудро сказал: "Не хнычь, главное, вы начали бороться, а общество, которое борется, обречено на процветание". Неужто это угадал по-своему и наш архитектор, вколовший в общество борьбу, как допинг в лошадь для рекордного рывка, - и опять же только чуть перелошадил дозу? И то, сколько поныне публики за проволокой - и все кремни! Вот только незаметно что-то равных туч закоренелого порядочного контингента. Может, потому, что те держатся кучней, да им и все условия: чего-чего, колючей проволоки, вот этих казематных, надлежащих им удобств, даже самой природной адекватности, - у нас в достатке, и не переводятся принципиальные антигерои. Где ж герой? Не оборудован, что ли, настолько же прилежно, как медвежий, человеческий угол? И кто он, как понять? Моя подбитая вояка, кто она все-таки - героиня или анти? Могу сказать одно, что здесь, в итоге сказанной утраты, с ней происходит, как мне кажется, какой-то перелом. Досюда мне лично в ее облике светило даже что-то симпатичное: какое-то своеобразное достоинство, какой-то низовой, плебеистый напор, даже какая-то порядочность - хотя бы по отношению к себе, - а это уже вещь немалая. Но вот дальше все как-то сыпется. Не только пьянеющая речь, сами мотивировки теряют подкупающую вразумительность и логику. Взять хоть рождение ребенка: зачем было рожать, если спасители, как она ж утверждает, с ходу оказали себя такими сволочами, - а ниоткуда не следует, что шаг был надиктован невозможностью аборта. Необъясним и этот их сволочизм, с которым они выпихивают ее затем с дитем на улицу, - коли она действительно за все сожительство формально не была грешна. Да, там потом всплывают письма - веская улика, но все равно непостижимо, почему спаситель, если уж назвался таковым, не настоял на браке сразу, все оттягивая на материнском поводе гуманный акт, - довольно все-таки, по ее сомнительному положению, бдительность бесчеловечная... Видимо, для нее в самой символике потери и заключился тот самый деструктивный элемент; проще говоря, сломали, стервецы, хребет: живое ж дело хрупкое, можно так обидеть - не поднимется... Но почему, хочу понять, мы все какие-то обиженные? Где цело-

век - там сразу темное царство, море зла, мильон терзаний, кайлы и стрелы, оскорбления природы, - обезьяны, кони, если их не драть зазря, радостней живут, принципиальной - и, главное, ни в каких колючих зонах и кнутах под это не нуждаются. Так надо ж было подниматься с четверенек!

Итак, она сама тут твердит о какой-то смене вешек: якобы прежние утратили вдруг всю заманчивость, смертельно потянул обычный доморощенный уют, животная уверенность в куске и крыше, и она, едва поняв, что забеременела, с головой ушла, как в монастырь, в будущее материнство, кухню, нерасписанного мужа. И даже, занавесив таким образом собственную звезду, попробовала на правах ночной кукушки заразить его звездным недугом. Бесполезно! Дневная клушка все в этом доме раскуковала наперед, его максимум можно было при желании перецепить с подола на подол, но пристрастить к чему-то самовольному - ни в коем свете. Он был типичный и тепличный паинька, даже без признаков дворянской фронды, за которого жизнь всю дорогу раздвигала маменька своей мощной, как бульдозер, грудью: стыдился партбилета, папиного блата (папа сидел в главке как раз над его работой) и тратил этот блат не на форсаж карьеры, а на мелочное, с маминной подачи, крохоборство типа получения летней профсоюзной дачки, соцстрановской поездки, внеочередного дефицита и т.п. Зато в кровати вел себя, как пионер. Разглядывал ее, как невидаль, при всех огнях (когда родители, естественно, не дома; мама б не простила), изобретал одна другой дурней радости и позы, в которые ее, значит, загоняла жизнь, а его - вот эта нерастраченная, с головой ушедшая под юбку творческая прыть. И вся его пытливая любовь, коварство против которой ей потом вменили в счет, была де только неутертой вовремя корыстью дорвавшегося до заветной щелки недотепы, которого, при всей ондатре и авто, просто не подпускали бабы попрличней. Он и сам по наивности сознался: так с глупой юности, когда его еще лупили в школе и запрягали в хоровые пакости, в мечтах и ждал: будет сидеть красивая девушка, одна и плакать, он подберется, эдаким благородным пауком наоборот - цоп и выручит. И вот - везет же дуракам, но хоть бы не до такой буквальной степени! - дождался!

По правде говоря, она сама не знала, кто из троицы отец. И хоть легко уверила спасителя, что он, мать, кажется, с самого начала была убеждена в обратном. И все дрожа своим ревнивым выменем, чтоб с родовой норы не перепало неродному, заявила так: куда спешить? спешит тот, кто торопится. Мы же не знаем, откуда она пришла. Пускай сперва родит - там, погляды, обженим и пропишем. И она с такой же безалаберностью, как с Прин-

чем, - но там еще могу понять: любовь, а тут никак - не стала домогаться прав, доверилась авосью.

Роды оказались преждевременными - для любого случая. Мальчонка был похож на нее одну - и только. И исполнение брачного обета отложили впредь до наступленья большей ясности.

Она бы все равно докуковала своего: спаситель так к ней прихотился, что рано или поздно б уломал узаконить их и мать, - все снова уничтожил Принц с его мозгами и страстями набекрень, в котором сперва выиграло за-поздалое, как у всех не хлебавших лица баловней, раскаянье - а затем, когда лихо грянуло, и вся безумная, уже во благо искупления, любовь, вот тут-то и накрытая из главного калибра вздорных сил судьбы.

После плевка они месяца три обходили стороной друг друга. А потом, уже весной, он подстерег ее на самом первом месте встречи. Но в глазах теперь плясала не шкодливая цыплячья трусость, а черт знает что: какая-то безвыходность, поломанность, тоска. Рыпнулся с одним словом: "Прости". За что? Ребенок, поломавший из увлекательного озорства любимую игрушку, конечно же, не виноват и сам подавлен неумышленным злодейством: и не хотел, или хотел не так, не пакостно - а вышла пакость! Хорошо, когда отеческий ремень подкинет вовремя прозренье: игрушку надо беречь. Ему давали новую. Не потянул одну учебу - пхали в следующую, одну девчонку испоганил - непочатый край других: внутренняя казнь за предыдущее на будущее не распространялась. И добрые, безбедно одаренные от рожденья руки превращались, как у сказочного, не виновного в самом себе злодея, в крюки: к чему ни прикоснутся, опаскудят обязательно. Он сам не мог вырваться из заколдованного круга неосуществляемых возмездий, где каждая мелкая поганка неизбежно дорастала до большой и сходила прочь без тени воздаяния, можно было сколько угодно бить баклуши, куролесить, пачкать, лгать, - да, где-то там, но где? - все зло моталось на незримый ус, но в каждом именно конкретном случае никакого памятного завитка, как в море борозды, не оставалось. И хоть эта гладь всегда в конечном счете выходила гадью, какое-то порочное устройство человеческой природы не позволяло, вопреки известному барону, выдернуться через собственные кудри, требовался, по-архимедовски, какой-то внешний стимул. Поэтому, видать, и он, как недополучившая необходимых доз науки задница к ремню, как изведенный шоколадностью пайка цинготик к грубой пище, стихийно из своих мотаний по учебам, хатам, кабакам тянулся к ней; недоставало, чтоб прибиться окончательно, какой-то, может, последней вразумительной затрещины, хорошей трепки.

Но как было ее задать, если он мотался на сверхпрочной, как морской

канат, родительской пуповине, а она сама еле держалась на своем неверном волоске! Ответила: "Иди ты к черту!" Она не сомневалась, был бы хоть малейший пяточок, куда поставить ногу, чуть времени, - уж прикрутила б жеребца, брыкаст - да ей как раз такой и был впору!

Но пяточка не было. Все лето прожили на даче, она, отгородясь от нелюбезной псевдородни холстом, писала с пузом перестроенный сюжет, большое полотно под названием "Родители на даче". Фигура в центре - сам герой в погибели от сладкой жизни. тут - гости уже вдрызг. тут - только позвонили в дверь, дверь нараспанку: "Заходите!" - и видно, как уже кренится к неминуемому родовой вазон... Занятое художество; жаль, это все, как она утверждает, утратилось на стадии последующих скитаний...

А прототип меж тем, по долетавшим слухам, действительно спивался. хуже того - скуривался. И вместо следования в литинститут, удрал с какой-то киносъемкой к среднеазиатам, ближе к травке. Она гуляла в осеннем сквере с малышом, помалу приходя в себя после тяжелых родов и еще более тяжелых послеродовых баталий, мысленно говоря себе: "Вот есть сын. жилище - и слава богу. Все люди - сволочи, давно ясно, ну и что? Ведь подбирают даже бездомных щенков, кошек на помойке. Не выбросят туда маленького человечка только за то, что у него отцы - такие подлецы! Не он же и не она в этом виноваты!" Тут-то он, легкий на помине, и возник. Пожухший, как осенний лист, смешавший наконец исходную свежесть лица с противоестественным синюжным отпечатком. Она не вздрогнула, не удивилась: ничего другого и не ждала от его безумной и бессмысленной, только на вид лакомой свободы от всего. Спросил, стараясь, как перед сержантом, гнать дыханье мимо:

- Кто?

- Сын.

- Нет, отец?

- Ты. Счастлив? Может быть, усыновишь?

- Я просто мразь.

- Нет. Ты сам - сынок. Пожизненно. Вы все тут в Москве - сынки. У нас прилавки голые, чтоб у вас все было. А что толку?

А где-то через пару недель его забрили в армию - то ли благодаря нашествию новых порядков произошла осечка с папиной рукой, то ли набился самоволом, - неизвестно. Явился в тот же сквер, уже и без прежней кудрявой силы, брякнул, чмокнул обоих - и ушел. А еще через полгода пал от душманской пули за понюх век не снявшейся ему, безжизненной земли в ущелье Кандагара.

А все эти полгода он писал ей до востребования - только ей, ни отцу, ни

матери - и пока входил там в разум, она его здесь лишалась начисто от этих писем. Ее накрыли со всей связкой. И когда он писал, как чувствовал, перед самым концом: "Любимая! У нас дожди. Все, что у меня есть в жизни, - ты и сын. Мне страшно не того, что здесь, а что если б я не попал в этот сюр, то никогда бы не узнал, для чего живу. Теперь я знаю. Только б дожить!.." - она стояла на не менее скалистом для нее столичном тротуаре, опять без крыши и прописки, только уже не одна - сам-друг: вместо мольберта на ней висел теперь этот самый маленький и мало в чем повинный человечек.

На этом месте снова хлещут слезы, половины пузыря как ни бывало, я отправляюсь за водой на кухню, и старуха, до этого все молча злобившая глаз, неожиданно вступает в разговор: "Вы из милиции? Я ничего не знаю". - "Чего вы не знаете, бабушка?" - "Ничего не знаю. Я ей сказала: будете драться, сквернословить - убирайтесь. Она говорит, муж. Какой он ей муж, проститутка! У ней тринадцать паспортов - и все фальшивые. По трое суток дома не ночует, кавалеров водит! Сейчас развели эту демократию, перестройку, а я так скажу: просто люди совесть потеряли. Не люди, настоящие зверье, таких не штрафовать, а стрелять надо, вот тогда будет порядок. У меня самой брат в органах служил, шофером на легковой, в тридцать восьмом забрали его, потом выпустили. Вот страх-то в людях: был, не как сейчас работали, на совесть!.. - И вдруг сама в слезу: - А я для того век прожила, всех родственников похоронила, чтоб меня на старости погаными словами обзывать? Ведь тоже живой человек, больно! Не думают, что сами старенькие будут! Чтоб их тогда родные детки так же прокляли!.." Я возвращаюсь от старушких колких слез к младым, пою ее водой, она, глотая, точно в забытии, повторяет несколько раз одно: "Бог наказал за ложь!" Не ясно, какая именно, из предыдущего или последующего, имеется в виду, но сама выламывающаяся из всей предшествующей системы обвинений мотивировка наводит меня на один более общий, не знаю, насколько справедливый, домысел по части такой трудно объяснимой всей сумбурной повестью загадки. Все-таки трудно, взглянув пошире, обобщительней, понять, почему эта талантливая лгунья и красавица так в целом бездарно просадила свои блестящие задатки, - когда другие с меньшими выигрывают сплошь и рядом, что называется, по трамвайному билету? Может, как ни странно прозвучит, как раз из-за этого чересчур глубинного корешка провинциальной атавистической "порядочности", который ей, несмотря на несправедливый стартовый расчет, так и не удалось в корне вытравить? Конечно, не сказать, чтоб эта коренная праведность как-то б уж слишком была из ее поступков, но сами термины: "бог", "наказанье", "ложь", - и перечеркнутые отдают ка-

ким-то непростительным анахронизмом на этажах сегодняшней лихой застройки. А мир глазаст, наш подлый мир, в котором припевают жоржки-композиторы - а он еще далеко не самый певчий, - и зорко видит, отторгая на корню, не свойское; несется к своему каким-то уже совсем другим, коньковым ходом, легко опережая тех, кто во вчерашней технике пытается переплести, перелукавить сучьи петли жизни.

Короче, подбираясь к финишу, с дитем в одной руке, в другой с сумкой, на дне которой залегал последний козырь в этой ожесточившейся не по ее вине игре - любовные приветы с того света - она приходит в Принцев дом. (Здесь неувязка: судя по рассказу, получается, что выгнали ее еще до смерти Принца, а приходит уже после). И выкладывает всю как есть - ну, разве без каких-то лишних, как партийная газета, устрашающих зазря моментов - правду. Она сама не знает, кто - из двух - отец. Но Принц был, как оно и было, прежде, и она мечтала, чтоб был он. Письма доказывали, что их автор считал только себя единственным виновником всего, а крошку - собственной во что бы то ни стало, - значит, правда - здесь. Они распорядились с ней по-царски. Отец, ошеломленный двумя почти одновременными вестями об утрате и находке, пустил в ход все возможное и невозможное, законное и незаконное, и ее сделали женой покойника, ребенок получил по новой благородную фамилию и отчество, а она - однокомнатный кооператив, предназначавшийся бойцу бессмысленного от начала до последней вспышки фронта. Итак, хрустальная мечта сбылась, как в сказке, - по трамвайному билету. Но жизнь и смерть уже втесали в эту сказочность свое.

И дальше из ее стремительно теряющей осмысленность, как самолет-подранок высоты, речи могу извлечь лишь следующее. Новоиспеченные дед с бабкой не отмахнулись только дорогостоящим жестом, приняли на полное довольство малыша, отпахнули ей все двери к продолжению учебы, даже примостили на полставки без работы при каком-то художественно-лотерейном обществе-халяве. Но, видно уж, какой-то роковой заряд, сродни заклятию Великого Могола, сидел в каратах этого семейства. С ней, вроде бы уж, не в пример парниковому оболтусу, закаленной - или тут уже перекаленной? - на всех открытых почвах и грунтах тотчас по осуществлению невероятного: вселению в с о ю квартиру, - стрясается тот же дурной эффект золотого парника. То есть все побоку, вино рекой, - говорит, иначе не могла забыть фаворита, который в одиночестве ломился страшным призраком в ее де слишком впечатлительную душу. Возможно, так оно и есть, виновный, как всегда, мертвец - но тут, как понимаю, она и взяла реванш за все по части самых смачных наслаждений. Одного не пойму: она ли к этому



времени уже настолько вывозилась в жизненной коросте, что при всех своих наружных и квартирных данных не могла ни в ком из хлынувших на судорожный праздник зажечь порядочных намерений; или ей самой действительно так омерзопакостели все на свете мужики, что не могла сама ничем таким зажечься и, как свинья, искала только грязи? Увы, и само материнство, спасительный природный круг, вышло для нее в круг порочный. Ребенок, только дополняя основной сумбур, попеременно представлялся ей произведением всех троих, раскалывая душу соответственно между ненавистью, губельной любовью, просто тупой досадой на никчемную обузу...

Кончается ее непродолжительная, всего в какое-то полугодие чисто скотской радости, фиеста плохо. Откуда ни возьмись - подозреваю, что как раз из того неувязанного промежутка, где озверевший за своим камнем моджахед кончает Принца - являются Сашок с фашистом. Здесь закувыркавшийся ее рассказ вовсе роет носом землю: вздор полный о каких-то негуманностях со стороны новой родни - хороша негуманность, отвалили хату, какой ей, мало, за всю жизнь не заработать, и заработать - за три жизни не купить! Такое впечатление, что здесь - не в бочке дегтя, в ложке меда! - она и тонет окончательно: никакой народностью, кристалльностью, даже элементарным эгоистическим расчетом, как на заре ее борьбы за сладкое, не пахнет. Что ж мы за остолопы, за такой народ, что только способны на свое величие в войне, в разрухе, в голоде, в кнутах! Пока война, огонь, атас, сама борьба за сласть - все в высшей мере героически: народ, как одержимый моджахед, голыми грудями ходит на штыки, наркомы мрут от честности на хлебе, конструктора, как нам теперь докладывают, прямо в казематах изобретают бомбовозы поубойней тех, что строят в условиях, близких к райским, во свободном мире. И только стоит чуть дорваться до послабки, все: наркомы - жулики, народ - свинья, какой изобретать, не могут в море разойтись два корабля, где гениальные сидельцы, лабухи в науке!.. То же и с ней: пока барахталась в грязи, экзамены сдавала на "пятерки", пересела в князи - как отрезало, взяла какая-то эпидемическая мозговая лень: не то что раскрыть книжку, мольберт - просто стащить на лекционный час задницу, ретивую в других боях, стало трудней, чем две пудовые гири. И вместо того чтоб этим надрывать, она с фашистом и Сашком на лапу затеяла такую просто бредовую, если не бред рассказ, аферу: сменять кооператив, который де давил непомерным коммунальным платежом и все равно не осуществил ей счастья, на коммуналку в доме под снос с какой-то сумасшедшей компенсацией - а там ей как вдове афганца с дитем за часть навара государственную двухкомнатную; жить покуда у фашиста. То есть как бы второй раз кряду выиграть на тот же трамвайный номер! А дарителям, дескать, не

все равно, как оприходует трофей: она уже успела с бессмысленной алкоголической жестокостью ляпнуть, что отпрыск вообще не Принцев, и не пивяйте душу, - нанеся сокрушительный удар по их фатально невезучим попыткам вывести потомство - хоть не из родного, так подметного яйца. И тут до них окончательно доходит, какого сваяляли дурака, пригрев на груди яйцо змеи, не утешенье светлой памяти по идолу, а чистое кощунство; они выкладывают ей на руки это самое утешенье, в два счета аннулируют аферу заодно с пропиской, фашист читает свой стишок, и она, чересчур поздно протрезвев, опять, как в заколдованной игре, возвращается на исходную позицию, - нажив в итоге вот эту фрагментарную кроватку и ворох пестро-ярлыкастых детских шмоток.

Какое-то время затем она пытается цепляться за бывших приятелей по бражке, перемещая уже малость подраспухший скарб с дачи на дачу, пробуя что-то завязать заново, какие-то бесплодные попытки пересуда с уже не размягченным, а ожесточенным в горе всеильным кланом, - вот где взяла терновая похмельная тоска за те умалишенные полгода! Все требовалось срочно, крайним счетом завтра или даже, как любит выражаться наш общий крайний спех за вечно отошедшим поездом, вчера: работа, крыша, деньги, ясли, - но вся погоня вослед недостижимых льгот разыгрывалась как по одним и тем же нотам: свиданье с нужным мужичьем, еще по рюмочке - такси оплачено! - обещание чудес, но только через койку, койка - и конец всем обещаниям. Хорошо, если сбывалось хоть такси: на рубль, до первой станции метро проехаться - и на остаток с подорожных все житие на пару с еще, слава богу, бессловесным крошкой, который тем не менее, к неописуемому материнскому отчаянью, крупнел на глазах, вымахивая в главный камень преткновения: уже и страшно бросить одного, первым делом пытался - весь в нее! - осилить свой штaketник; и крест, как вычеканивалось все ясней, всему устройству, даже в дворники: закон о лимите, с дитем - непрошибаемо. И тут она несет такую дичь: кормила самым лучшим, только с рынка творог, ягодки (когда кормила? и кормила всю дорогу не она), а на ее город выпала какая-то зараза из Чернобыля (по карте топать-топать!), и у всех маленьких детей стали лезть волосики. И потому, когда вконец отчаялась что-то сыскать, с очередной дачки попросили, просто не могла везти так цепетильно вскормленное сокровище восвояси. И понесла его в приют.

Правда, думала, не донесет. (Тут опять вообще обильные в этой плачевной эпопее слезы). Не хотела жить. Может, поэтому и донесла, безжизненно. И после, значит, снова захотела - с дикой, безобразной силой. Но, с одной стороны, что-то в ней, говорит, как обмерло. С другой, наоборот, появился какой-то ненормальный зуд, безумное желание забыться - казалось,

за стакан сивухи грузчику б дала. А с третьей - кинула рассудком: ну что так, в самом деле, раздавать, за вшивый трешник, пятерик на тачку, - чтоб даже выбить этим - что? Прописку дворника с пешней, оранжевого жилета на Савеловской дороге? Ну и - тут за подробностями отсылаю, кто не смотрел, к нашему кино, там их навалом. Только еще одна деталь: дела пошли обратно в гору, но весь вкус к алмазам пламенным, палатам как-то окончательно иссяк, и как сняла, хоть наконец за кровные свои, без одолжений, эту комнатуху у карги, так и не стала искать лучшего, хотя доходы позволяли... А я-то не взял в толк до последнего: вот чудо старое! лаёт, продает с пол-оборота, а не гонит; что ж ей - одинокой! - надо: лай, или деньги под матрац, или еще что-то третье, непостижимое из устриц-глаз?

В общем, вот так, без помпы, походя - устала ль она к этой точке разговора, или к этой точке жизни, - и происходит то, что происходит. Чудно, как перемертен мир! Вчера еще: не может быть! только не со мной! у, проститутки, бюрократы! А нынче глядь - и сам не заметил, как уже здесь, и потихоньку перенимаешь здешние законы жизни, пафоса, морали; и у - уже на тех, по ту сторону черты, прилавка, мира. Принципиален человек, но и живуч отчаянно! И даже не поймешь, чего в нем больше, принципа или жизни, сходящихся универсально в одном этом крылатом у!

Но тут, после пары слабо ненавистных слов в адрес старухи, ее рассказ и выдыхается. Глаза просохли, смотрит тупо, словно запамятовала, с чего начинала и для чего. "А дальше?" Так же отрешенно жмет плечами. Ничего. Ездил к матери. "И что с ней? Пьет?" Пьет. "А брат?" Уехал. "В командировку?" В командировку. "Ну а - ?"

Математик отбыл безадресно - по приглашению в пахучий зарубежный край уже не на ученый слет, а навсегда, - так, стало быть, и не смогши сладить здесь свой принцип с жизнью. Оставался единственный - к кому она и ткнулась блудной возвращенкой. А он, оказывается, уже откуда-то знал всю подоплеку - или прочел чутьем всеильной ревности в глазах. И с ходу отвесил ей точно такую же плюху, как на памятных московских расстанях. И ей эта плюха показалась слаще самых сказочных привид на свете - потому что был хоть один, кто протащил хоть это сквозь все в мире дикой жизни и нелепой смерти, коль уж другого ничего протащить не удалось... Ну а затем приехал с этими неважнецкими картинками и, видимо, уже неотделимой от них страстью к алкоголю. И пошло: нахлещется - и в бой, расписались - ничего не изменилось.

- И бьет... заслуженно?

Нет. Конец оптимистический. Они уже решили обменять его мастерскую на другой город, подальше от всех старых катастроф, открыть офор-

мительский кооператив, уже все на мази, заминка только за бумагами. Поэтому и просит убрать ее: увидят на новом месте, может все накрыться, сейчас и так жмут кругом кооператоров... Все этот кабак проклятый, как чувствовала, что не надо было идти, он затащил. К ней сунулся один, он выступил, она хотела развести - и схлопотала; тут как раз облава. Просто не стала в милиции говорить, чтоб его не путать, ее там знают, такие сволочи, туда же путных не берут, какую-нибудь подлянку сотворили б обязательно... Сама б давно отсюда соскочила - малый вяжет руки. Он орет тоже: забирай! Куда? Она ж не сволочь, неужели, были б ясли, не взяла б! И так чуть не каждый день ездит, за бабки подкармливают, выдают на руки. Даже лучше - пока у них кутерьма; главное, скорей закончить, выехать, столько стерпели - так еще немного...

Я спросил:

- Сколько ж тебе сейчас?

- Двадцать один.

Мы так решили, что убыль невелика, и выбросили эти кадры.



*Под этой рубрикой мы думаем печатать отрывки из хороших и не совсем забытой классики, как-то любопытно, на наш взгляд, отзывающиеся в текущем дне. Конец века - не конец света, - утешительный резон, который наиболее может найти в переболевшем.*

**ИВАН КРЫЛОВ**  
(1769 - 1844)

### АЛКИД\*

Алкид, Алкмены сын,  
Столь славный мужеством и силою чудесной,  
Однажды, проходя меж скал и меж стремнин  
Опасною стезей и тесной,  
Увидел на пути, свернувшись, будто еж  
Лежит, чуть видное, не знает, что такое.  
Он раздавить его хотел пятой. И что ж?  
Оно раздулося и стало боле вдвое.  
От гневу вспыхнув, тут Алкид  
Тяжелой палицей своей его разит.  
Глядит,  
Оно страшней становится лишь с виду:  
Толстеет, бухнет и растет,  
Застановляет солнца свет  
И заслоняет путь собою весь Алкиду.  
Он бросил палицу и перед чудом сим  
Стал в удивленьи недвижим.  
Тогда ему Афина вдруг предстала.  
"Оставь напрасный труд, мой брат! - она сказала. -  
Чудовищу сему название Раздор.  
Не тронуть, - его едва приметит взор;  
Но если с ним кто вздумает сразиться, -  
Оно от браней лишь тучнее становится,  
И вырастает выше гор".

1818 год.

\* Алкид - одно из имен Геракла, сына Зевса и Алкмены. Басня написана в 1818 году на сюжет древнейшей басни Эзопа "Геракл и Афина".

# СМУТА НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ

или  
ПОХОЖДЕНИЯ  
ВАНИ ЧМОТАНОВА

*Подпольная литература наконец-то на столах и книжных полках читающей публики, и в этом время, которое с легкой руки острословов называют "смутным". Обращаясь к "Смуте новейшего времени", мы преследуем двоякую цель - снять пресс запретности с еще одного талантливое произведения и посылить предупредить те события, которые в фантастическом предсказании автора, пожелавшего остаться неизвестным, могут грянуть на головы подуставшего от политических свар народа.*

*Как думаешь, чем кончится тревога?*

.....

*Слыхал ли ты когда,  
Чтоб мертвые из гроба выходили  
Допрашивать царей, царей законных,  
Назначенных, избранных всенародно?..*

*А.Пушкин "Борис Годунов".*

Почти неприметный пассажир ехал в пригородном поезде, установив в ногах кожаный чемоданчик на "молнии", крепко сжимая его пятками. Это был Ваня Чмотанов. Именно он - автор событий, потрясших весь цивилизованный мир в 197...

Поезд шел в город Голоколамск. Пассажиров было негусто. Привычно клевали носами, просыпались, зевали и оглядывали местность, засыпанную февральским снегом.

Многие вздрогнули, когда двери в вагон отворились и вошли контролеры, щелкая компостерами.

- Ваши билеты! - сказал толстый добродушный ревизор с пшеничными усами.

Второй был тощ, с туберкулезным лицом. Он гнал перед собой безбилетницу лет пятидесяти. Она доказывала, что не могла успеть взять билет. Тощий молча подталкивал ее в спину щипчиками.

Холодок прополз в животах пассажиров. Проверка каких-никаких, а документов.

Билета не было у Вани Чмотанова. Он на мгновение смутился, но вспомнил о множестве бумажников в карманах пальто, приготовился выслушать негодование общественности и отдать трешку. Неожиданно идея осенила Ваню. Он растегнул "молнию" на чемодане и, глядя в голубые глаза толстяка-ревизора, поманил его пальцем.

Ревизор надменно поджал губы. Ладно, он получит

рубль, но не теряя собственного достоинства, - и нагнулся к Ване. Чмотанов открыл крышку. На толстом слое ваты, охваченная смертным сном, лежала... голова. Черты лица головы были знакомы до боли. Бородка, острые скулы, огромный покатый лоб и обширная лысина. Ваня рассмехался.

Ревизор чмокнул губами и закачался. На миг лицо его посинело, как от удушья, щеки прыснули щетиной.

- Вот так билетик... - прошептал он и пробил себе компостером ноздрю. Шатаясь, толстяк пошел навстречу тощему, обнял за плечи и с нечеловеческой силой повлек из вагона. Тощий безучастно подчинился.

Ваня застегнул чемодан, глянул в окно и отдался потоку воспоминаний. Казалось, прошло сто лет, а ведь еще утром...

\* \* \*

В юности Ваня Чмотанов учился в хлебопекарном техникуме. Занимался хорошо, учителя не могли нахвалиться. Конечно, стипендии не хватало, Ваня кое-как сводил концы с концами. Перед защитой диплома Ваня практиковался на Опытно-показательном хлебозаводе-полуавтомате им. Урицкого. Неожиданно он догадался, как можно улучшить положение с продовольствием. Каждый вечер привозили контейнеры с дрожжами в картонных коробках. Каждое утро Ваня выносил под платьем смятое в лепешку нежное светло-коричневое вещество. Теплый запах дрожжей окружал Ваню, но отравленные самогоном вахтеры (они варили его "на конус" тут же в своей будке, переделав электропечь "Чудесницу") не слышали духа выносимого продукта.

Однажды "Чудесница" сломалась. Вахтеры стояли трезвые и злые, и наивному обогащению Вани пришел конец.

- Что-то, как у бабы, раздуло! - сказал вахтер, ткнув Ваню в непомерный бюст. Вмятина от кулака так и осталась.

- Мускулы! Я спортсмен! - холодея, прокричал Чмотанов, но с него сорвали уже пальто и потрошили разорван-



ную рубаху. Выбрали дрожжей 74 килограмма 250 граммов и бублик.

Бублик вызвал особое негодование суда и публики.

- Мало народных дрожжей подсудимому! - гремел прокурор. - Ему бублички подавай! Работать - его нет, а на сладкое тянет! - он с возмущением тыкал пальцем в бублик, подшитый к делу в качестве вещественного доказательства.

Судей поразило то, что до неприличия походил Ваня на молодого Владимира Ульянова. Все видели татаро-монгольский разрез глаз, скулы, пушистые ресницы - удивительный образ того, великого, который пошел другим путем. Чмотанову этого простить не могли, но никто не высказал вслух и намека. Ваня получил десять лет.

В лагере Ваня прошел свои университеты.

Каждый праздник с его помощью приготавливали живую картину: строили из смолистых бревен подобие броневика, Ване взамен рваного ватника выдавали из реквизита КВЧ старомодное пальто и кепи и ставили на бревна, приказав вытянуть руку в сторону полей и лесов за проволокой. Развевался кумач, прожектор с ближней вышки выхватывал вдохновенное лицо Вани-Ильича; администрация запевала любимые песни вождя.

Урки добродушно, но тихо гоготали, подталкивая друг друга, а по окончании торжества обучали Ваню своим наукам. Искреннее восхищение Ваниных соратников по бараку вызывали его пальцы: длинные, стройные, с выпуклыми миндалевидными ногтями.

- Хорошо работать будет Ваня. С такими пальчиками пояс снять и одеть - не заметят, не то что бублик.

Чмотанов вышел в полсрока, но сел снова года через три: пытался вынуть бумажник у посла иностранной державы, когда тот любовался в Третьяковке "Троицей" Рублева.

Итак, февральским днем 197... года Ваня работал в очередях в ГУМе, где выбросили импортные подтяжки и собралась чудовищная толпа, захваченная единственной страстью: дойти до прилавка и получить свою пару небесного цвета с блестящими стальными пряжками. Ваня взял

тринадцать бумажников и решил устроить обеденный перерыв. Ел он долго, не торопясь, на верхнем этаже гостиницы "Москва". Затем Ваня вышел пройтись и был привлечен огромной очередью, тянувшейся из Александровского сада. Чмотанов побродил, подыскивая клиента, но публика двигалась небогатая, лучше сказать, бедная. Он продвинулся вперед по очереди и поработал с попавшимся прибалтом. И спохватился: слишком уж близко подошел к гранитному кубу, и выйти сейчас - значит привлечь ненужное внимание. Мысленно выругавшись, Ваня побрел со всеми.

- Подождемся к черте! - командовал старшина милиции. - Строго по два! Строго по два! - Ваня поежился. "Точно в санпропускник идем", - огорчился он.

- Правее подождемся!

Прямым углом очередь повернула к дверям мавзолея и сняла шапки. Тихо вошли в полумрак, откашлялись и спустились вниз.

- Не отстаем! Не останавливаемся! Строго по два! - негромко предупреждал офицер с голубой повязкой на рукаве.

Пройдя два пролета, Ваня повернул направо и стал подниматься по лестнице. Розовый свет лился из стеклянного ящика, сверху громоздилась чугунная пирамидка, повторяющая очертаниями мавзолей. Стекланные боковины украшали гербы и флаги литого чугуна. Внутри в красноватом свете лежал Он. Невольно замедляли шаги граждане, но офицеры молчаливо оттесняли подальше от гранитного барьера к стене, торопили проходить и делали знаки друг другу, поднимая два пальца.

...Он лежал в темно-оливковом френче в той же позе и с тем же выражением усталости, с каким его застала смерть.

- Скорее пройдем! - бормотала охрана.

"Человек двенадцать стерегут, не меньше", - подумал Ваня.

Выходя наверх по лестнице, он заметил портьерки и желтые латунные двери. Отделившись от потока, бегом поднимавшегося наверх, потрясенного не столько образом

Его и пережитыми чувствами, сколько молниеносностью посещения, Ваня шагнул за портьерку и встал там, никем не замеченный. Он еще не понял, зачем ему это понадобилось. На всякий случай проверил, заметят ли. Не заметили. Ваня быстро вышел и смешался со всеми.

Идя вдоль кремлевской стены, Ваня осознал, что за идея неожиданно оформилась в голове.

Под стеклом лежали миллионы.

"Рокфеллер, в газетах пишут, коллекционирует мумии голов узников Бухенвальда, - размышлял Ваня. - И платит за них сотни тысяч в валюте. Купить домик с огородиком на Кавказе. Жениться на Маняше. Сотни тысяч за голову безвестного каторжника, миллиарды - за голову гениального зодчего. Миллиардов 40 дадут, а то и 200".

\* \* \*

На другой день Ваня подходил к удивительному по простоте линий сооружению, но вместе с тем и величественному, за дверями которого лежали все капиталы Америки и Африки, вместе взятые. При Ване были: нож, хирургическая пилка, пластмассовый баллончик со сжатым сонным газом (за недорого отдали на минаевской толкучке), превосходный набор отмычек для банковских операций, электроминоискатель и то, что за границей называется вдохновением.

Чувствуя себя необыкновенно ловким и сильным, Чмотанов мягко ступал последним.

Офицер отвернулся посмотреть, не остался ли кто в гранитном тамбуре. Ваня скользнул к саркофагу. Безмолвные часовые, стоявшие по углам, как прежде заметил Ваня, спали, дыша ровно и не мигая. За одного из них Чмотанов и спрятался.

Офицер проверил пломбу в поддоне саркофага. Словно рысь, следил за ним вор века. Дежурный снял чехол с телефона и набрал номер.

- Алле, алле. Жорик? Это я, Шолкин. Закруглился. Все в

порядке. Что-что? Ха-ха. Волосы в бороде? Вот будешь завтра дежурить, тогда и считай. Ха-ха. Пока.

Потом офицер снова позвонил.

- Позовите Нинель. Алле, Нинель? Здравствуй, дусик. Еду к тебе, моя девочка. С работы звоню. Порядок. Все ушли, один я остался. В оперетту? Очень мило. А потом к тебе? Еду. Пока.

Офицер зевнул и, воткнув штепсель сторожевой системы, вышел в желтую латунную дверь.

Чмотанов зашевелился, подкрался к розетке и выключил иностранные хитрости. Поудобнее устроился рядом с телефонным столиком за портьеркой и отдался потоку мыслей о будущем.

Сменялись караулы, топя сапогами. Негромко командовал разводящий.

Пробило полночь.

Час ночи.

Два.

- Кось! - сказал наружный часовой. В подземелье голос солдата раскатывался, как в бочке. Чмотанов замер.

- А? - вполголоса отвечали.

- Злодей этот Шолкин.

- Злодей, - согласился второй.

- Ты, говорит, если еще хоть раз пропустишь политинформацию, всю зиму в наружке прстоишь. Через час, говорит, стоять будешь.

- В декабре я нос из-за него отморозил - три часа стоял через час. Градусов 30 было.

- Это он любит.

- Ох-хо-хо, скоро ли пересменка?

- Три четверти пробило.

Ровно в три часа ночи Чмотанов натянул респиратор и открыл баллончик с сонным газом. В склепе зашипело. Часовой сон превратился в наркотический.

Пробило четверть четвертого.

Чмотанов встал и подумал: "Размяться бы". Он залез на саркофаг, сделал на руках стойку и походил немного. Затем спрыгнул и быстро сорвал пломбу. Осмотрев замок, Ваня коротко хохотнул. Вместо замка под трехбородочный япон-

ский ключ вор века обнаружил обычный замочек от канцелярского стола. "Средств не было!" - хихикал расхититель, отпирая замок булавкой. Он поднял стеклянный верх на петлях, словно кузов автомобиля, и залез на ложе. Став рядом с Ильичом на колени, Ваня вздохнул... Осторожно, как мину, приподнял он голову с належающего места, и... голова осталась у него в руках. Положив ее рядом с собой, Ваня лихорадочно, словно золотоискатель, сунул руку в отверстие, прикрывавшееся головой, и нащупал что-то комковатое. Он вытащил горсть обыкновенной пробковой крошки.

"Это как же так?.." - ошеломленно сказал Ваня. На глаза навернулись слезы. Он схватился за кисти рук, будто утопающий, и они, твердые и холодные, как железо, отвалились - из рукавов посыпалась толченая пробка.

Страшный гнев охватил Ваню Чмотанова. Невидящим взором оглянулся он вокруг - сломать, разбить! Так подло обмануть его!

Донесся отрезвляющий бой курантов. Осталось полчаса до смены караула. Ваня завернул голову в тряпицу и сунул за пазуху. Спрятал под платье не понадобившийся инструмент, закрыл крышку саркофага.

Тоска душила Ваню. Он подошел к сопевшему часовому и толкнул его кулаком в живот.

- Чаво? - спросил часовой. Он стоял смирно и, не мигая, глядел на Ваню.

- Плохо служишь! Побывали здесь до меня.

- Так точно, товарищ капитан.

- Завтра под суд пойдешь.

- Служу Советскому Союзу, - прохрипел часовой и зашвырнул носом.

Чмотанов поднялся по лестнице, тихонько потянул на себя стылую бронзу двери. В узкую щель Ваня увидел заиндевелую брусчатку площади. Гудели прожектора. В косой тени стоял часовой - вольно, чуть пристукивая каблук о каблук.

"Ишь, распустились, - с неожиданной злобой подумал Ваня. - Четвертый час ночи - они и рады, что никто не видит. Ишь встал, будто семечки покупает!"

Ваня достал из кармана кепку с большим козырьком, нахлобучил на уши, поднял воротник.

...Часовые остолбенели. Из черного проема двери бочком протиснулся Владимир Ильич. Щурясь от резкого света, он искоса снизу взглянул на лицо белобрысого солдата и ловко подхватил выпавший из его рук карабин:

- Осторожнее, товагищ! Дегжите погох сухим.

Ильич вложил карабин в безвольную руку часового, осторожно потрогал пальцем лезвие плоского штыка и покачал головой:

- В наше время красноагмейцы лучше относились к огужию. Сознайтесь, батенька, ведь штык туповат?

- Туповат, товарищ... Владимир Ильич, - выдохнул белобрысый. И позабыл, что надо дышать.

Его товарищ, смуглый парень, закатив белки, медленно сползал, обтирая спиной стену из черного лабрадора.

- Вы из каких мест будете, товагищ? - остро глядя на белобрысого и ухватившись за лацканы пальто, спросил Чмотанов.

- Вологодские мы... - прохрипел часовой.

- Значит - шутить не любите! - резюмировал Ленин. - Тогда - прощайте. И помните - импегалисты тоже шутить не любят. Так и пегедайте товагищам... - Ильич ловко взял под козырек и деловитой походкой зашагал вдоль трибун к Историческому музею.

- Очнись, дура! - пнул сапогом белобрысый своего напарника.

Тот со стоном разлепил веки, поднялся, опираясь на карабин.

- Слышал, как я тут с Лениным разговаривал? - спросил вологодец. - Наказ его знаешь - все беречь и никому не отдавать?..

- Докладывать будем? - простонал смуглый.

- Кому? Лейтенанту? Нос у него не дорос, ему докладывать... Я Ленина видел, а он что? Пусть он на политзанятиях докладывает...

...Чмотанов подошел к Историческому музею. Отделившись от стены, к нему шагнул человек в штатском. Он заглянул Чмотанову в лицо, открыл рот - да так и застыл.

- Здагствуйте, товагищ! - не вынимая рук из карманов, кивнул агенту Чмотанов и свернул за угол.

Агент прирос к асфальту. "Докатился, - мелькнуло в его мгновенно вскипевшем мозгу. - Не зря баба пилит: "Не пей!" Уже и Кузмичи\* мерещатся..."

Чмотанов миновал Лубянку, когда далеко-далеко куранты проиграли четыре часа ночи.

Простота похищения разочаровала Ваню. К чему все приготовления, если его изощренной изобретательности не предвидели хранители древности?

- В Египте потруднее было, - с обидой рассуждал Ваня. - Лезешь в усыпальницу к фараону, и вдруг - хлоп! - плита позади падает. Или в лабиринт попадешь, рыдай, пока не сдохнешь...

Полный тоски и безучастности, Ваня выехал в Голоколамск к знакомой вдове, его верной подруге Маняше, чтобы отдохнуть и обдумать дальнейшее. Дело предстояло трудное. Снова Чмотанов почувствовал в душе разгорающуюся любовь к риску и удаче.

\* \* \*

Караулы сменялись. Привычно печатая шаг, усыпленные Чмотановым люди дошли до казармы и повалились на нары.

Доступ, как обычно, начался в 11 часов. В Александровском саду царила давка, но подходили к дверям тихие, благоговейно снимали шапки и парами шли мимо стеклянного ящика. Тихонько плакала старушка, мутно вглядываясь в бессмертный образ того, кто за десять дней по-

---

\* Александр I, победитель Наполеона, простудился и умер внезапно в Таганроге. Его тело было доставлено секретно в столицу. В народе распространились слухи, что будто царь "пошел в народ" и живет под чужим именем в Сибири. Вместо него якобы в могиле лежит простой крестьянин Кузмич.

В настоящее время ходят также слухи, что в мавзолее Ленина лежит не тело вождя, а обыкновенного гражданина. Каждые несколько лет, когда мавзоль закрывают на "ремонт", туда кладут новое тело вместо загнившего. Голову изготавливают из воска по рецепту лондонского музея восковых фигур "Мадам Тюссо".

тряс земной шар. Многие, не видя лица, полагали, что так и должно быть. Другие мысленно дорисовывали недостающие дорогие черты.

- Не останавливаемся. Пройдем скорее, - командовал дежурный офицер Жорик.

Последней в этот день вошла супружеская чета. Должно быть, приехали они из провинции. Одеты были оба в старомодные китайские плащи из крашеного брезента.

- Скорее! - предупредил Жорик.

Они ринулись вниз, подчиняясь команде. Чета разлетелась и ударилась лбами в дверь листовой латуни. Дверь задела, словно уронили гитару.

- Тихо! - грубо сказал Жорик.

Трепеща, чета взошла на смотровую площадку и, щурясь после белоснежной площади, приглядывалась к мумии.

- Паш! - спросила жена шепотом. - У него почему головы нет?

- Тихо, дура! - супруг напряженно оглядел ложе. Самой существенной части тела действительно не было. Пот хлынул ручьями по спине супруга. Он увидел, что лежит целых три головы, потом их стало шесть, и головы, размножившись, заполнили целиком стеклянную коробку, словно кузов машины, груженной навалом капусты.

- Черт! - глухо крикнул супруг. - Черт!

Он качнулся и ударился головой об острый край гранитного парапета.

- Паша! - закричала женщина и упала рядом с ним на колени. - Паша, прости меня! Ну, закатилась куда-нибудь, всякое бывает!

- Посетителю плохо. Нашатырь, - скомандовал Жорик, подготовленный ко всем случаям в жизни.

- Не беспокойтесь, мадам, - нарушая устав, офицер взял под руку обезумевшую от горя женщину. - Вашему мужу окажут необходимую помощь.

- Ну, вот, ни объявления, ничего... - всхлипывала женщина. - Лежит безголовый, а у меня муж нервный, контуженый, инвалид второй группы... В сто лет раз в Москву приедешь, дороги не знаем, ничего не знаем...



- Кто безголовый? - ледяным тоном спросил Жорик.

- Безголовый, безголовый! - зарыдала женщина, тыкая пальцем в сторону саркофага.

Жорик оглянулся. Неожиданная слепота затмила взгляд.

Он побежал вниз и, приподнявшись на цыпочках, прижался носом к стеклу.

Красноватый свет. Френч. Ботинки. Все по уставу. Протер глаза. Головы... не было. "Как поступает настоящий офицер на моем месте?" - подумал очень медленно Жорик. Он вынул пистолет и вложил кислую сталь в рот.

- Товарищ капитан... умер товарищ, наверное.

Грохот выстрела потряс благоговейную тишину. По стеклянному торцу опустевшего саркофага, трепеща кусочками холодца, с мелкими прожилками сосудов сползали мозги дежурного офицера.

\* \* \*

В эту ночь правительство не расходилось. Гарнизон развели и посадили под замок. Составили список лиц, допущенных к чрезвычайной государственной тайне. К столице были подтянуты танковые дивизии. Улицы и общественные места патрулировались агентами в штатском и переодетыми солдатами.

Ждали возникновения враждебных слухов и приготовились брать всех.

Совещались.

Словно угроза черной оспы нависла над городом. В пижаме и ночном колпаке привезли академика Збарского.

Совещались.

Генеральный секретарь плакал, как ребенок, размазывая краску с бровей. Плакали все. Никто не знал, что делать. Подсказать было некому. До начала работы мавзолея оставалось около полусуток.

- Так быстро реконструировать невозможно... - сказал оправившийся от приступа ужаса Збарский. - Если постараться... месяцев за шесть... сможем!

- Полгода! - застонало Политбюро.

Гениальное всегда просто.

- Знаете ли, - сказал Генеральный секретарь, - актёра положим на время.

- Ура! - закричали в интимном кругу.

- Привезти актёра Роберта Кривокрытова! - распорядился Начальник искусств.

Через полчаса актёра доставили - дрожащего, с подтеком под глазом.

- Фингал откудова? - раздраженно спросили допущенные к тайне.

- Сопротивлялся гражданин! - чеканил агент. - Кричал, что не имеем права.

- Черт вас дерит! Чисто ни одного задания выполнить не можете! - кричал Начальник искусств. - Загримировать Кривокрытова!

Актёр что-то бормотал и вырывался. Его почти унесли и... ввели вскоре пожилого и растерянного Ильича.

- Годится! - сказали все.

- Роберт! - мягко, по-отечески начал Генеральный секретарь, взяв из рук референта текст речи. - Вам выпала трудная, ответственная, но почетная, благородная задача. Дело в том, что тело Ильича взято... так сказать, на реставрацию... Но было бы неудобно и политически неверно прекратить доступ в мавзолей. Это прекрасная почва для слухов и враждебных домыслов...

"Неужто сперли Кузмича? - нервно подумал Кривокрытов. - Не может быть".

- ...Так вот, Роберт, вам придется полежать вместо праха. Справитесь ли? Сумеете ли воссоздать образ вечно живого Ильича, но вместе с тем и как бы неживого, то есть он, конечно, вечно живой, но в мавзолее он не совсем живой вечно живой, не так ли? На время работы переведем вас на кремлевское снабжение.

- Нужно подумать, - сказал Кривокрытов и решил про себя: "Ясное дело, сперли".

- Да, системе Станиславского предстоит трудная проверка, но она выдержит, я уверен! Константин Сергеевич требовал, чтобы на сцене... все было, как в жизни... Но мав-

золей лишь в определенном смысле сцена... мне предстоит создать не совсем живой образ неживого... то есть я хотел сказать, неживой образ вечно живого... или, точнее, живой образ не вечно... простите... вечно неживого!

Кривокорытов запутался и вспотел. На него в упор смотрели начальники искусства и безопасности.

- Ну вот и прекрасно! - облегченно закончил Генеральный секретарь и кивнул Начальнику безопасности:

- Отберите у товарища актера подписку о невыезде, подписку о неразглашении, и пусть обживает рабочее место...

Стояла чудная зимняя ночь. Около Спасской сопровождающие Кривокорытова лица отперли дверцу в стене и долго спускались вниз по мраморной лестнице. Затем шли по узкому коридору под площадью и вновь начали подниматься. Ярко освещенная крышка люка поблескивала надписью: "Западный выход". Офицер открыл ее, и группа вылезла в мавзолее.

Суетились рабочие, откинув кузов саркофага, - проводили трубы микроклимата.

- Здесь, товарищ Кривокорытов! - рапортовал офицер охраны. Актер оглянулся. Тошнотворный приступ тоски морозил душу. "Боги, боги искусства, зачем вы покинули меня! Неужели лежать в гробу по системе Станиславского?" - внутренне стонал актер.

И лег репетировать.

Он сосредоточился, положил руки: левую - плашмя на грудь, правую - чуть сжав в кулак. Скорбно расслабил веки.

- Великолепно! - раздался по радио, спрятанному под подушкой, голос Начальника искусств. - Но уж слишком живой. Нельзя ли немножко умереть? - приказывал Начальник.

Кривокорытов подчинился.

- Так держать!

Доступ в мавзолей начался в 11 утра.

В интимном кругу обсуждали, что делать.

- Не лучшая находка, этот Кривокорытов.

- Идея! - воскликнул Начальник искусств, бешено вращая глазами. Столпившись, выслушали проект. Смеялись и гладили себя по животам.

\* \* \*

Ваня Чмотанов сошел в тихом Голоколамске. Душа его наслаждалась прекрасным зимним днем и покоем провинции.

Он прошел через город. Рядом с развалившейся церковью стоял аккуратный чистенький домик. Из трубы шел дым. "Нежданная радость - это я", - тщеславно подумал Чмотанов и свистнул. В окне мелькнуло лицо. Загремели засовом.

- Ванечка! - восклицала Маня. - Соколик мой необыкновенный!

Маняша была совершенно круглая по телосложению, курносая: она встречала друга в чудесной мохеровой кофте цвета весенней лягушки.

Они расцеловались в дверях.

- А я, дура, думаю: заловили моего соколика, давно не видать.

- Нет, Маняша, жив твой соколик, прилетел с миллионами.

Маня раскраснелась и с истинно голоколамской страстью впиалась в губы Чмотанова.

- Экий архипоцелуй, Маняша! - шутил Ваня, обвиваясь вокруг нее плющом.

Они сели за столом в передней избе под образами.

Выпив самогону, Чмотанов поцеловал подругу и сказал:

- Эх, заживем, Маняша, вскорости...

\* \* \*

Кривокорытов трудился в поте лица. Первый день отлежал тяжело, но постепенно настолько освоился и так сосредоточился, что по окончании доступа приходилось будить его. Кривокорытова успокаивало еле слышимое шарканье толпы; поначалу тяжелы были уколы тысяч глаз, впивавшихся в бесконечно дорогие черты, но явилось второе дыхание. Догадались пустить по радио музыку. Роберт лежал, с удовольствием слушая медленное танго. Неустан-

но следили и за идейностью актера. "Сегодня я прочту лекцию на тему, - услышал однажды Роберт вкрадчивый голос, - почему не следует верить в Бога".

"Все люди смертны, - ласково говорили в наушниках, - и всем предстоит умереть. Но не совсем. Человек превращается в атомы и электроны, которые неисчерпаемы. Бессмертно также дело пролетариата, его диктатура. На давным-давно загнившем Западе полагают, что она постепенно смягчится! - доверительно сообщил лектор. - Этому не бывать. Диктатура установлена раз и навсегда и постепенно распространится на всю бесконечную Вселенную. Лежите спокойно, Роберт".

По чьей-то невидимой просьбе им заинтересовались журналисты. Разумеется, расспрашивали и писали об официальной половине деятельности маститого актера - в театре, дома, среди коллег. Слава Кривокорытова росла. Завистники распространили слух, что он подкуплен одним учреждением. Кривокорытов с негодованием отвечал стихотворением поэта, написанным по-новаторски - "от противного". "Да, я подкуплен. Я подкуплен березками белыми... я подкуплен глазами любимой..." Завистники смеялись: "Бэрьюзкой!"\* Но в наш век рационализма, смешавшего арифметику и поэзию, стихи эти подкупали искренностью чувства.

Однажды в середине марта Кривокорытов проснулся и принимал ванну. По актерской привычке он решил поупражняться перед зеркалом. Взглянул - и охнул: на лбу набух огромный фиолетовый прыщ. "А через три часа ложиться!" - сокрушался Роберт.

Он спешно вызвал гримера, тот кое-как справился. Можно даже сказать, что теперь лицо поклонника "пассионаты" обогатилось печатью раздумий великого философа, мыслившего не понятиями, а континентами.

Кривокорытов не оценил нового штриха, а даже расстроился. Он шел по служебному подземному ходу в отвратительном расположении духа.

---

\* Так произносят иностранцы название советских магазинов, в которых рубли не признаются и продукты продаются только за твердую капиталистическую валюту.

Но когда он лег и мимо пошли тысячи людей, он вновь преисполнился важностью задачи и подобрел.

Все шло хорошо.

В полдень с последним ударом курантов Кривокорытов ощутил неудобство в левой ноздре. Постепенно осознавал он причину. Невыстриженный волосок щекотал в носу. Тихо, но губительно, с каждым вздохом приближая страшное. Роберт собрал в кулак весь профессиональный опыт актера. О, если бы можно было почесать нос рукой. Ведь и раньше бывали подобные случаи. Роберт вспомнил, как нужно было зарыдать, когда положительная героиня в одной пьесе провалилась в сортир и утонула. И он закрыл лицо рукавом из бутафорского шелка и превратил гомерический смех в трогательный плач.

Волосок шевелился. Рушились города, кричали женщины, свергались правительства, и весь земной шар объял огонь новой мировой войны.

- Алле, алле, Кривокорытов! - раздался голос Начальника безопасности. - Что это Вы задумали?

Кривокорытов напряг железную волю актера.

- Бросьте вы эти штучки! - загремел Начальник, и неумолимо приблизился миг предательства Родины. В голове Кривокорытова помутилось, он раздулся, как лягушка. Земной шар сошел со своей орбиты и неотвратимо падал на раскаленное солнце.

- Ап-чхи!

- Я тебя расстреляю, собака! Продажная шкура! Фашист! - орал Начальник в подушке фальшивой мумии. Актер понял, что все кончено. С воем он вскочил на четвереньки, запрыгал, рыдая, под стеклом.

Ударившись головой о крышку, падая, Кривокорытов каблуком распорол перину, и гагачий пух затопил хрустальную гробницу. Актер бился в застекленном пространстве, словно гусь в пухоципательной машине.

Оцепенение посетителей длилось вечность. Страшным ревом взорвались сошедшие с ума. Толпа бросилась к саркофагу.

- Воскрес! Воскрес!

- Задохнется!

- На помощь!

Чудесная весть, словно ток, пронизала очередь. Народные массы хлынули в склеп, повалив и растоптав охрану. Вмиг была сорвана крышка. Под вой и хихиканье сумасшедших, затравленно глядя, выпрямлялся Кривокорытов.

- Воскрес! - орали кругом и плакали, хватаясь за полы темно-оливкового френча.

Офицер Шолкин побледнел и протискался в каморку с телефоном. Он отрапортовал о случившемся Генеральному секретарю и деловито, поглядев на часы, застрелился.

Охрана, залегшая под голубыми елями, встревожилась гулом и бегущей толпой.

- Наверное, мятеж, - решил майор Разумный. Он долго пытался дозвониться до начальства. Никто не подходил к аппарату. Чувство одиночества сдавило сердце майора. Он подумал, что Кремль взят, вспомнил о своей ответственности и скомандовал:

- Рота! Рассеять мятежников!

Застучали пулеметы из-под елей. Стрельбу услышали на крыше ГУМа, на Спасской и Покровском соборе и поддержали Разумного. Ударили крупнокалиберные, из древних бойниц со стены били из карабинов и автоматов.

\* \* \*

Генеральный секретарь плакал, как мальчик, рвал телефон, вызывая с окраины танковую дивизию...

- Самозванец!.. - кричал он и тер кулаками глаза. - Гад несчастный!

Дозвонившись к Слепцову, побежал по гулкому коридору, сзывая товарищей по классовой борьбе. Споткнулся, упал на ковер и втянул голову в плечи, решив, что сзади на него бросился десант мятежников. Но в коридорах никого не было. Бросился по лестнице. Распахнул неприметную дверь кабинета для совещаний. Выпучивая глаза, застыл: на окнах, прицепив ремни к защелкам фрамуг, висели начальники искусства и безопасности.

- Караул! Убивают! - закричал Генеральный секретарь, отступая задом и не отрывая глаз от конвульсивно дергавшихся ног соучастников.

\* \* \*

- Скажи! Слово скажи! - выла толпа.

"Сказать, что случайно здесь, - убьют!" - вспыхнуло в мозгу Кривокорытова. Медленно, как во сне, поднял он правую руку, простер ее над толпой.

- Товагици! - начал актер. - Да, я воскрес. Может быть, вгагам габочих и кгестьян это покажется вздогом, небылицей. Нет, воскресение мое отнюдь не опговегает учения Магкса. На том свете я часто мучился. Человек неисчепаем. И атом тоже. Использовать все возможности, собгать все силы - это задача, котогая по плечу только тому, кто готов отдать все силы пролетагиату. И вот я сгеди вас, догогие товагици. Сообща мы одолеем все тгудности, всех бюгокгатов.

Кривокорытов кончил, и в наступившей тишине отчетливо проступила пальба.

- Что это? - спросили в толпе.

- Кое-кому теперь не поздоровится! - раздался истерический крик. - Мы не дадим в обиду нашего Ильича!

- Впегед, товагици! - обрадованно воскликнул Кривокорытов.

Толпа хлынула к выходам.

Актер, пятясь, приподнял крышку служебного входа. Торопливо шагнул - мимо ступеньки - и с грохотом провалился в подземелье. Тяжелая лепешка чугуна, захлопнувшись, долго гудела над лежащим в беспомощности самозванцем.

\* \* \*

Генерал Глухих сразу разгадал маневр генерала Слепцова, двинувшего танки в столицу. "Ага! Вот тебе и хунта!



Врешь, не проедешь!" - подумал он, но позвонил на всякий случай Слепцову.

- Что-то ты поехал, Григорий Борисыч, - медовым голосом спросил он.

- Генсек приказал, - уклончиво ответил Слепцов.

- А мне вот почему-то не приказал! - радостно засмеялся Глухих.

- Значит, не та фигура...

- Да? Ну, будь здоров, Григорий Борисыч.

Глухих выдвинул фланги и ударил на дивизию Слепцова, охватывая ее с северо-востока и юго-запада. Завязался тяжелый, изматывающий бой.

\* \* \*

- Пекин дайте! Пекин! - кричал Генеральный секретарь в белый правительственный телефон.

- Соединяю, - безучастно отозвалась телефонистка.

- Алле! Это кто?

- Сяо-сяо? Фай дунь фо?

- Это я, Москва! Фео жень чин чи!

- Кто говорит?

- Москва, Генеральный секретарь! Дайте председателя Мао!

- Председатель занят. Звоните на другой неделе.

- Нельзя! У меня тут государственный переворот!

В трубке затихли. Слышны были посторонние разговоры и споры по-китайски.

- У вас пелеволот? - отозвались из Пекина.

- Да!

- Плосили пеледаты: так вам и надо. - И в трубке щелкнуло.

- Предатели! - взвился Генеральный секретарь. - Все предали! Все пропало!

Он оторвал трубку и топтал телефонный аппарат.

Бросился вон.

"К Ульбрихту!" - стучало в висках.

\* \* \*

Ваня Чмотанов, кряхтя и зевая, просыпался рядом с Маней на жаркой перине. Натоплено было ужасно, во рту еле шевелился язык, высушенный самогоном. Он слез с кровати и босой вышел в сени. На лавке стоял заботливо приготовленный ковш с ледяным огуречным рассолом.

- Хорошо! - ухнул Ваня, выпил - и схватился за щеку. Чудовищно заныл зуб.

Встала подруга и готовила самоварчик.

- Мань, - оглядывался Ваня, - а чемоданчик где мой?

- Чемоданчик-то? Помню, помню, спрятала... вон на печке-то, под валенками пошарь.

- Забыл сказать, Мань, чтоб, наоборот, на холод вынесла. Как бы не запахло.

- А что в нем-то?

- Сувенир, Маняша, стомиллиардный.

Ваня залез на печку, разгреб кучу подшитых валенок и луковой шелухи. И спрыгнул с чемоданчиком.

- Гляди, Маняш.

"Молния" заела. Ваня долго дергал. Маня смотрела выжидающе. Наконец она заглянула. И обомлела. В чемодане на вате лежал череп. Ваня смотрел тупо. Маня перекрестилась.

- Так, как... - прохрипел Чмотанов. - Вот, значит, какой прах бывает...

В желтоватую корку, окружавшую череп, встыли щетинки. В глазнице лежал некрашенный деревянный глаз. Тоскливо торчал фаянсовый носик от чайника. Ваня вытащил гофрированное картонное ухо.

- Мощи, значит... Вот те и миллиарды, Манюшка...

- Вань! - тревожилась подруга. - Или по кладбищам шаришь?

- Да-а, святыня. - Он вынул череп и бессмысленно вертел в руках. И в затылке увидел аккуратную дырочку.

- Это как же?.. То есть, конечно, стреляли... Только вроде бы не сюда...

Ваня расстроился. Зуб разболелся сильнее.

- Налей, Манюш, стопку. Что же это?

Чмотанов выпил и сидел долго, задумчиво хлопая челюстью черепа на пружинках.

- Темное дело - история, Маня. Что там, зачем, непонятно нам.

В дверь постучали. Ваня скрыл череп одеялом, глянул в окно. У крыльца топтался Аркаша, дружок верный.

- Открой, Мань.

Друзья обнялись и выпили. Горчило во рту, не столько во рту - на сердце.

"Опять по карманам", - с досадой думал Ваня. Но прислушался к рассказу Аркашки.

- Да мы, Вань, через чердак пойдем. Я смотрел, доска одна ходит, вынуть, и вниз. Ты не думай, дело верное. И на Кавказ. А попозже Маньку выпишем.

- Это мы обдумаем, Аркаша. Налей-ка, Мань. - И крикнул. - Ох! Зуб дернуло!

- Дай-ка платком перевяжу, - засуетилась Маня. - Спиртом пополощи, уймется...

Друзья пошли осматривать местность - работать или нет в сберкассе.

- Ванюшка! - окликнула Маня вслед. - А... с костью что делать-то?

- А! - махнул рукой Чмотанов. - На печку сунь.

\* \* \*

Несмотря на будний день, улицы Голоколамска на глазах закипали возбужденной толпой. Милиция жалась к отделению, неуверенно прикрикивая издали.

- Шли б работать, чего языками трепать!

- И тут встал он и говорит: хватит народ притеснять! Одних буржуев, говорит, скинули, теперь вы, говорит, на шею сели.

- Точно, точно. Чтоб, говорит, всех министров к завтраму в слесаря отдать.

- Так что ж, воскрес, значит? А в Бога-то не верил!

- Дурак! Он-то десяти праведников стоит! - сказал лучший плотник города.

- Ну, Томка, а дальше что?

- Ну, тут все начальство и убежало. Главные, говорят, в Америку на танке уехали.

- Через море-то? - скептически сказал лектор по распространению знаний Босьяков.

- У них все есть, не беспокойся. А потом говорит: всем по 200 рублей оклад, мануфактуры по десять метров, квартиры всем выправить. Чтоб, говорит, населению никакого гнету. И пусть, говорит, нэп будет полный.

- А еще проводник говорил, будто насчет водки распорядился.

- В первую очередь. Чтоб, говорит, снова старые деньги были и чтоб поллитровка пять рублей стоила. Полтинник на новые.

- Чудесное дело!

- А военные тут и задумали: танки на него выкатили. А он идет и улыбается. Махнул рукой раз - половины танков и нету, махнул другой - глядь, а один генерал уже с другим бьется. Во как!

- А он?

- Распорядился он и пошел по Рассее смотреть, как народ живет. В скором времени вернусь, говорит, вплотную делами займусь.

- Все это сплетни и враждебные слухи, - разъярял лектор Босьяков. - Как это может воскреснуть мумия?

- Это кто мумя?! - всполошились бабы. - Это для тебя мумя! Отъел брюхо-то, народ дурачишь. А в магазин пойдешь - мыло да консервы. Сам-то за пальтом в Москву едешь, а нам некогда, работаем! Ишь, расфуфырился! Ужо объявится у нас, то-то тебе работу подыщет!

- Иди-ка, парень, - сказал лектору мужик в телогрейке. - За такие слова зубы ломают.

- А я что? - смутился распространитель, поправляя кашне и пыжиковую шапку. - Только по всем законам физики такого быть не может.

- А по какой физике в магазине колбасы нету? - насел мужик. - "Все знаю, знаю", - передразнил он. - Чего же ты не знаешь?

Подошедшие толпились вокруг лектора, потихоньку потыкивая его кулаками под ребра.

- Милиция! - истошно заорал распространитель знаний. - Убивают!

Тут все и началось.

Навстречу трем испуганным милиционерам бросилась людская стоножка. Смертельно побледнели блюстители и побежали к огородам.

\* \* \*

Председатель горсовета Члеников, промахиваясь дрожащим пальцем, звонил в воинскую часть.

- Кто это? Снегирев? Ты-то мне и нужен. Пришли батальон, черт-те что в городе происходит.

- Не могу, - сказал Снегирев, - в баню идем.

- Какая к черту баня?! Бунтуют у меня!

- Ну и что? - злорадно сказал Снегирев. - Помнишь, я машину тесу у тебя просил, ты мне что сказал? А?

- Снегирев! Я жаловаться буду! Я до обкома дойду! Нет у меня тесу!

- А у меня солдаты тоже люди.

- Снегирев, пойми, нет у меня теса, нет!.. Ну, ладно, дам я тебе два кубометра!

С треском вылетела дверь в кабинете и сшибла Членикова на пол.

Из окон исполкома полетели стулья и пишущие машинки. Вслед за ними, вздымая снежную пыль, попадали депутаты трудящихся. В пробежавших по переулку товарищах в нижнем белье с восторгом признали начальника милиции и первого секретаря горкома.

Рассеяв власть, жители бросились к магазинам. Ваня и Аркаша хохотали, любясь упразднением порядка: стихия была друзьям по сердцу.

И вдруг толпу, мчавшую мимо похитителя головы, повело, и она замерла, уставившись на Ваню и Аркашу.

Оба смутились.

Город смотрел и видел бессмертные дорогие черты того, кто поднял Россию на дыбы.

- Он! - истерически закричала учительница начальных

классов. - И щека перевязана, чтобы не схватили ищейки!

Буря оваций грянула на площади перед сельпо. Раздались крики: "Ильич с нами!"

- Аркаша, пора уходить.

- Затопчут, Вань. Речь скажи для виду.

Ваня залез на пивную бочку. Говорить речи ему часто не приходилось, всего дважды в качестве последнего слова.

- Товарищи! - загремел его могучий голос. - Да, я воскрес. Пора навести порядок...

- Картавь, картавь, Ванька, затопчут! - шипел Аркаша.

- ...И мы наведем погядок. Наш габочий погядок. К чегту милицию и прокугатугу! Долой следственныа огтаны! Мы можем жить без надсмотггчиков. И будем жить без них, дагмоедов.

- А вытрезвиловки закроем, Владимир Ильич?

- Конечно!

- А водка точно дешевле будет?

- 50 копеек бутылка.

- Ура-а-а! - гремела площадь, спугивая галок и голубей.

Так в резолюции, составленной Аркашей, и записали.

К вечеру на ногах никто не стоял. Воспользовавшись новым положением дел, Ваня и Аркаша (теперь комиссар по иностранным делам) проникли в сберкассу и вышли с чемоданом купюр.

\* \* \*

Неделю торжествовали. Ваня подписал множество декретов, один другого вольготнее. Трое местных интеллигентов подсунули декрет о свободе печати. Чмотанов подмахнул. "Голоколамская правда" вышла с новым названием "Ленинская правда", с огромным объявлением "Ильич с нами!" и большим портретом Вани Чмотанова.

Съели месячный запас продуктов. На Ваню легло бремя власти. Робкие, постучались к нему первые ходоки.

- Тово, Володимер Ильич, распорядились бы, чтоб пицца была. Бедствуем мы немного. Хлеб сырой, консервы... Нельзя ли насчет картофелю?

Ваня открыл партраспределитель и кормил город еще неделю. Кончились табак и водка. Скрыто начало зреть народное возмущение.

\* \* \*

Тяжелый бой измотал Слепцова и Глухих. Генералы, равные по выучке, образованию и броневой мощи, не могли одолеть друг друга. В дивизиях нашлись герои, бросающиеся под танки противника с гранатой.

Лес горел. Местное население ушло в партизаны. Москва молчала.

Генералы бросили в бой последние резервы.

\* \* \*

Горечь и раздражение накапливались в Ванином сердце.

- Побеспокоил прах-то, вот он меня и бередит, - думал Чмотанов. - Кто же это мог быть? Раз с дырочкой - значит, не Ленин, Дзержинский бы этого не допустил... Неизвестный вождь?

Остатки праха Ваня сунул в кожаный чемоданчик и, не предупредив охрану, ушел из дому.

Чемоданчик жег, оттягивал руку. Ваня вышел на торговую площадь. Ларьки, лабазы... Двое шагнули навстречу - в дрожащих руках зажаты смятые рублевки, глаза бессмысленные:

- Третьим будешь?

"Не узнают..."

Ваня кивнул.

Пили из горлышка, нюхали корочку, отплевывались. Ванины собутельники ожили, стали веселее.

- Халтуришь? - осклабился один, тыча пальцем в чемодан.

- Раскрой, посмотрим, - гаркнул третий, протягивая лапищу к ручке.

- Идите вы к!.. - Ваня подхватил чемоданчик и зашагал

по незнакомой улице. Двое тащились сзади, грозились, улюлюкали.

Ваня сворачивал за углы, торопился и незаметно оказался в поле. Суковатые телеграфные столбы тянулись под гору, гудели провода. Двое не отставали. По твердому насту Ваня выбрался на косогор, спустился в балочку.

Дальше Ваня помнил все очень смутно.

Он побывал в одной деревне, в другой. Оглядывался - сзади все время кто-то шел, и Чмотанов устремлялся дальше. Во рту горело.

"Самогон пили, не водку, - тупо подумал Ваня. - Жулье".

Вечерело, когда он обнаружил, что сидит на смерзшейся горке земли. Вокруг - вкривь и вкось деревянные кресты. У ног - неглубокая яма, головешки. На дне ржавая лопата. Ваня шагнул в могилу и начал копать. Поначалу ему казалось, что надо выкопать клад. Потом Ваня осознал, что он сидит на краю ямы, держа в руках столичную свою добычу.

- Бедный, бедный! - причитал Чмотанов. Он встал на колени, из угла могилы выкатился еще череп, другой, третий...

- И в каждом - дырочка... - коснеющим языком констатировал Чмотанов, рассматривая черепа.

Столичный прах затерялся среди прочих.

Над всеми ними Ваня насыпал маленький холмик.

Затем он шел, сшибая кресты и размахивая руками. У горизонта стыла бледная вечерняя заря.

\* \* \*

...Чмотанов очнулся в избушке, освещенной пятнадцатисвечевой лампочкой. Ветхий лысый дед в латаной-перелатанной жилетке стоял у самодельной книжной полки. Пятьдесят пять томов в одинаковых переплетах и несколько рваных брошюр с буквой "ять" в заголовках - вот и вся библиотека.

- Возвращение блудного сына, - картавил старичок, стягивая с Чмотанова заляпанное грязью пальто. - Пгошу, ба-



тенька, садитесь.. Сейчас будем пить чай! А вы, действительно, случайно не... в некотором годе не годственный мне? Внешнее сходство есть, и довольно большое...

Чмотанов таращил глаза, силился понять: "Картавит, отроду лет сто".

Дед возился у электроплитки, сердился:

- Опять пегегогела! Ну, ничего, мы это починим. Но каковы кгохобогы: сколько тугбин постгоено, и до сих пог энеггия - четыге копейки киловатт. Никакой пенсии не хватает. И опять выход один - нелегальное положение.

Дед ловко вставил проволочку в счетчик, тот перестал крутиться, а плитка занялась малиновым огнем.

Пили чай. Дед толковал о дружке своем Сашке, который живет в Америке и, как и раньше, ни хрена не понимает в мировой политике.

- Сто лет пожил, а ума не нажил. Так и не понял, за что его из Госсии выпегли.

"На что намекает?" - недоумевал Ваня и осторожно спросил:

- А ты, дедок, чем занимаешься?

- Бегегу кладбище, это меня устгаивает. Пенсия полностью плюс заплата. Летом подгабатываю, стогожу сено на лугу. Дело это мне знакомое издавна... Вы скажете - есть дела и поважнее. Лет пятьдесят назад я бы с вами согласился, а сейчас, батенька, увольте. Вы пейте чай, не то остынет. Так вот, заботы были немалые, здоговьишко пошатнулось, суета вокруг, доктога задегали, а я их стгасть не люблю. В Госсии меня всегда тянет уйти в подполье. И я в одно пгекгасное утго ушел из дому. Совсем как гпаф Толстой. Несколько лет жил инкогнито. Писал, думал... К сожалению, ничего не могу показать, на полке этого нет, хганю в укгомном месте. Так вот. Когда спохватился - было поздно: товагици все уже гешили за меня. Появление было бы пгосто неуместно... Я занялся своим здоговьем. Изучал йогу, пегестал читать газеты - кгугом твогилось что-то непонятное... Изгедка пегеписывался с Сашей, мы знаем друг друга еще с гимназии. В общем, не стоит и вспоминать, что было - того уже не вегнешь...

Ваня впился в очертания стариковской тени... Голова,

плечи... до ужаса знакомые... Тень зашевелилась... Буднично зазвенел о блюдце стакан...

Руки у Вани задрожали в нервном тике...

\* \* \*

...Очнулся он в избе у Маняши с мокрым полотенцем на лбу. Помнил только одно: как он шел, перебирая руками кольца плетня, а в небе висел колдовской серпик луны, и зеленые огни парой светились позади в темноте - глаза не то собаки, не то волка...

\* \* \*

Настал день, когда Ваню Чмотанова разбудил невнятный гул и ропот. Он выглянул в окно. Площадь запрудили голокомчане. Мялись, переговаривались, ждали выхода вождя. Было двенадцать часов.

Чмотанов почувствовал нехорошее и подумал: не позвонить ли в милицию? С досадой вспомнил он о поспешной и непродуманной ликвидации следственных органов.

- Ванюшка! Что-то будет?! - пугалась Маня, стоя у окна в полотняной ночной рубаше.

Вбежал, тяжело дыша, единственный комиссар Аркаша.

- Ванька! - кричал он. - Беги! Бить будут!

- То есть как?

Зазвенело стекло в отдаленном конце зала заседаний.

Ропот толпы усилился. Ваня спешно натягивал штаны. С нижнего этажа слышались мощные удары в дверь.

- Пора поговорить с народом, - решительно сказал Ваня.

Он вышел на крыльцо горсовета. Толпа онемела. Так привычен был дорогой образ, что впору повернуть обратно и терпеть.

- Товарищи!! - гаркнул Чмотанов. - Что привело вас сюда? Почему вы не на своих родных фабриках и заводах? Они принадлежат вам, ступайте работать!

- Курева нету, - юродиво заныли в толпе.  
 - Жратвы мало! - басом рывкнула баба в грязном тулупе.  
 - То есть как мало? - грозно спросил Ваня. - Что, так уже все и слопали?

Толпа утвердительно засопела.

- Можно сказать, нету пицци, Владимир Ильич! - бойко крикнул инженер угольного комбината.

Ваня растерялся. Все долго помолчали.

- Вы б позвонили в центр, пусть эшелон пришлют! - посоветовали бабы.

- Накорми, накорми! - разгужевалась толпа. - Пять тысяч нас здесь, сотвори чудо, чтоб еще и запас остался! Твои мы, в столицу пойдем, если б надо.

- Иль не веришь нам?! - прорвался вперед плотник номер один. - Да я за тебя... руку отрублю! Хошь?

- Отруби, - бессмысленно сказал Ваня.

Плотник крикнул, побледнел и вынул топор.

- Товарищи! - плачущим голосом сказал он. - Вот, для родного Ильича руки не пожалею!..

Стало тихо. Плотник поднялся на крыльцо и поплевал на ладони. И положил правую руку на перила крыльца. Потом подумал и положил левую. Высоко над головой лучший плотник занес блеснувшее лезвие и - жажнув - ударил. И промахнулся.

Толпа крикнула, ничего не поняв, и присела. Плотник упал в бессознательном состоянии.

- Виданное ли дело - людей калечить! - заголосили бабы, а пуще всех визжала красавица Полина, жена плотника.

- Ай, какой мастер был! Ай, где ж теперь заработка возьмет! Ай, гроба дрянного сколотить не сможет!

- Действительно, чтой-то очень страшно, товарищ начальник, - сказал рослый парень в спортивном костюме. - Вот лежали вы, где положено, и вдруг у нас в городе объявляетесь, народ смущаете...

В доме напротив горсовета с треском распахнулось окно, и по пояс высунулся распространитель Босяков.

- Да здравствует Ленин! - провозгласил он на всю площадь.

- Скотина! - заорали в толпе. Метко брошенный ком

стылой земли ударил Босякова в лоб. С воем он отвалился внутрь помещения.

- А вот я думаю... что если... - начал спортсмен и, не договорив о своем намерении, ударил Чмотанова в ухо. Толпа перекрестилась.

В ушах Вани поднялся колокольный трезвон.

"...ухо?.." - запаздывая, проявлялось в сознании самозванца. Инстинктивно он уклонился от второго удара, и кулак молодца врезался в дубовую двухметровую стойку, подпиравшую козырек крыльца. Она запела, как струна, и вылетела из пазов.

Крыльцо с грохотом упало и завалило Чмотанова. Публика протрезвела.

- Эх, променяли кукушку на ястреба! - заплакали голокомчане и бросились разбирать доски. Ваню вытащили полузадохшегося, посиневшего. Откачивали. Спортсмена деловито дубасили станционные грузчики.

В дверях новенького финского своего домика показался, держась за косяк, лектор Босяков с перевязанной головой.

- Я же говорил, - плаксиво начал он, - что никакого воскресения быть не может: физика, партия и правительство учат нас...

- А тебя мы поучим! - заревели голокомчане. Босякова повалили и топтали ногами.

Чмотанов охнул раз и затих. Его понесли на руках.

Шли мрачные.

\* \* \*

Два агента, сброшенных на пригородном болоте ночью, проснулись и позавтракали калорийным пайком, свернули надувные матрацы и двинулись к городу.

- Буратино, - сказал агент шедшему рядом товарищу. - Я - Звезда. Как слышите, прием.

- Хорошо, - сказал Буратино.

- Впереди на дороге скопление народных масс. Что это? Прием.

- Несут кого-то, - сказал Буратино.

- Проверим, прием.
- Поглядим, конечно.

Агенты шли по снежному полю в белых синтетических куртках.

Они выбрались навстречу процессии. Как было условлено, Звезда ушел вперед.

- Хороните? - спросил шепотом Буратино у бабы, замороженно уставившейся на импортную форму агента.

- Где брали? - спросила она тоже шепотом, ощупывая материал.

- Чего?

У бабы адским пламенем разгорались глаза:

- Шить отдавали или так достали?

- А! - отмахнулся агент. - На работе дают, спецовка.

- Ну уж! - поджала губы женщина. - У нас тоже вон спецовки да телогрейки дают, срамота, да и только.

- А куда идут все эти рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция?

- Да вот Ленин у нас в Голоколамске объявился, помяли стгоряча. В больницу несем.

- Ленин?! - заволновался Буратино.

- Ну да, Ленин. А что?

Агент протискивался вперед. Баба вцепилась в него и тащиалась сзади:

- А как, со скидкой дают шубки-то, или дорогие?

- Отцепись!

И точно: на руках членов месткома Игольного комбината им. Павлика Морозова лежал Ленин.

"Звезда, я Буратино! - засипел агент в микрофончик, зашитый в носовом платке. - Я у цели, у цели! Как слышите, прием".

- Отлично слышу! - рявкнула шапка на голове Буратино. Тот, чертыхнувшись, стащил шапку, растроганно мял в руках, вертя ручку громкости.

Впереди на дороге маячил Звезда.

"Вызови транспорт, приятель, берем цель!"

- О'кэй! - заорала шапка.

Звезда сошел в кювет, зарылся в снегу и вытащил из живота прутик антенны.

Буратино дернул в кармане предохранитель двенадцатизарядного кольта и шел сзади месткома, пожирая Ваню глазами.

"Полное сходство. Где только он уродился", - радостно думал агент.

Профессионально острым взглядом заметил над горизонтом стрекозу, почти не двигающуюся с места.

- Товарищи! - Буратино выбежал вперед, останавливая процессию. - Ваше превосходительство рабочий класс! Успеем ли мы донести товарища Ленина? Вызовем "скорую помощь"! Вождь пролетарской революции в опасности!

В небе раздался гул двигателей. Буратино замахал носовым платком.

Звезда выстрелил из ракетницы. Вертолет медленно снизился. Голокомчане зачарованно смотрели на транспорт будущего. Вывалилась веревочная лестница. Подпрыгнув и забравшись на перекладину, Звезда подплыл к членам месткома. Уцепившись ногами за лестницу, агент свесился и обнял Ваню за талию.

И тут голокомчане разглядели на светло-зеленом брюхе вертолета иностранные буквы UdSSR.

- Шпионы!! - что есть силы закричал зампредседателя месткома Барашков (сам председатель лежал, трепеща, на комбинате в ящичке с конторскими кнопками). Он подпрыгнул и ухватил Чмотанова за штiblеты. На заместителе повисли четыре члена профсоюза, а последним прицепился Буратино.

- Караул! - заорал Чмотанов.

- Невежи! - визжал лектор Босяков, вынырнув из толпы. - Человек именно тем и только тем и отличается от атома, что он неделим! - Его моментально смяли.

Буратино не потерял присутствия духа. Он лез вверх по живой цепи, применяя против месткомовцев приемы из всемирно известной борьбы хун-ци.

На высоко болтавшейся лестнице висели агенты и Чмотанов. Заместитель Барашков сорвался и тяжело ударился об землю. За ним просвистел чмотановский ботинок.

Сельповский сторож Агтеич сорвал с плеча не-

разлучную двустволку и прицелился в выпуклое брюхо вертолета.

- Бей, Агтеич! Уйдут, бей Христа ради! - кричал у него над ухом безоружный председатель ДОСААФа.

- Дык у меня в одном стволе - соль, а в другом - горох! - по-бабьи причитал Агтеич, не отрываясь от приклада.

- Да не тяни ты! Огонь! - скомандовал побледневший председатель и рубанул воздух рукой.

Агтеич нажал на спусковой крючок.

Громыхнул выстрел. Вертолет крутануло в воздухе. Лестница оборвалась, посыпались люди - и расторопные официанты из ресторана "Дорожный" поймали Ваню Чмотанова на растянутое полотнище переходящего Красного знамени.

- Огонь! - опять рубанул воздух досаафовец, и сторож Агтеич всадил горох в моторную группу вертолета.

Машина ринулась к земле. Грянул взрыв.

В стороне от дороги взвилось пламя над грудой продырявленной фанеры.

- Так их... мать! - ахнул председатель. - Будут знать, как Ленина воровать!

Доблестных зенитчиков окружила толпа. Им жали руки, пытались качать. Агтеич самодовольно крутил ус и кричал: "Знай наших!"

Заграничный стервятник догорал в поле.

...Ваня Чмотанов со строгим лицом, вытянувшись в струнку, лежал на алом полотнище. Люди жались к нему все ближе, держались за края знамени. Осторожно положили рядом с Ваней оброненный ботинок.

Барашков прикладывал снег к раздувшемуся носу.

- Ладно, пошли обратно, - сказал он. - Не вышло, про считались злодеи. Впредь будем бдительнее.

- Заступник ты наш родной! - причитала баба в телогрейке, протягивая к Ване руки. - Веди нас! Будем холод и голод терпеть, только не серчай на нас, скорее поправляйся!

Ваня, пришедший в себя, слабо улыбнулся и, преодолевая чудовищную головную боль, взял под козырек.

\* \* \*

- Аркадий, - сказал Чмотанов. - Мне пора соскакать. Подыщи машиниста на станции, скажи: надо ехать в Разлив. Или как сумеешь, но чтоб паровоз был. Сегодня ночью я отбываю.

- А я? - тоскливо протянул Аркаша.

- А ты останешься здесь в качестве Чрезвычайного и Полномочного Комиссара! Мандат выписать?

- Мы можем и без мандата кровя пускать кому следоват, - презрительно усмехнулся Аркаша и расправил плечи. - Ну и тряхну я их в тереберину мать, пусть знают, кого потеряли. Хошь, речугу двину, когда отъезжать будешь? "Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам..."

- Брось паясничать! - нахмурился Ваня. - Промедление смерти подобно. Дуй за паровозом.

\* \* \*

Глухой ночью с запасного пути станции Голоколамск-1 без гудка отходил паровоз "овечка". И хотя все свершалось инкогнито, без свидетелей исторического события не обошлось. В дубленых полушубках, пятаках и валенках толпились они у отдувающегося белым паром локомотива. Сыпал сухой снежок, с невидимой мачты слепили глаза станционные прожектора.

Старый машинист Стакашкин потянул ручку реверса, и городские огни медленно поплыли назад. Чмотанов не выдержал и выглянул, сжав кепку в руке.

Его сразу узнали. Раздался сдавленный крик: "Да здравствует...", - но кричавшего повалили, накрыли тулупом. Люди бесшумно рукоплескали. Корреспондент "Ленинской правды" бешено чиркал неработающей авторучкой в крошечном блокнотике. Рядом с подножкой набирающего скорость паровоза бежала заплаканная учительница начальной школы и, закидывая вверх голову, впитывала навеки любимый образ вождя.

Чмотанова проняло это непосредственное проявление



чувства. Он понял, что должен сейчас, сию минуту сделать что-то для этой женщины, осчастливить на всю жизнь... Резкий ветер бил Чмотанову в лицо, выжимая слезу. Он нащупал за пазухой тяжелый пакет с деньгами голоколамской сберкассы, но в тот же миг ощутил в самой глубине сердца укол: "Не то..." Он высунулся по пояс в окно и, глядя в глаза задыхающейся, отстающей учительнице, крикнул:

- Держи-и! - И швырнул в протянутые руки свою историческую кепку.

Паровоз прогрохотал по выходной стрелке, окутался паром - и все осталось позади.

\* \* \*

- Не так, паря, лопату держишь... - начал было машинист Стакашкин, но осекся. - Простите, Владимир Ильич...

- Николай Иванович, - мягко поправил Чмотанов. - Теперь меня зовут Николаем Ивановичем. Так надо, - пояснил он, заметив, что Стакашкин чешет в затылке.

- Надо так надо, - добродушно согласился машинист. - Я одно в толк не возьму, как мы до Разлива доедем, я по карте смотрел - не нашел...

- Добежемся, догогой товагиц, непгеменно добежемся, - вспомнив, что надо картавить, успокоил его Чмотанов.

- А что вы там будете делать, товарищ Ленин, опять книгу писать? - блестя белками глаз, возбужденно спросил молодой помощник машиниста.

"Вот четг, бгигада попалась инфогмигованная! Видать, ни одного политзанятия не пропустили", - вживаясь в образ, подумал Чмотанов.

- А ты, Гарька, не в свое дело не суйся, - оборвал Стакашкин. - Смотри вперед да помалкивай.

- Я что, мое дело маленькое, - забормотал сконфуженный Гарька. - Смотри не смотри, все равно никого нет, поезда неделю не ходят.

Дрожащий луч паровозного фонаря выхватывал из тьмы серебряные полоски рельсов, уходящих в белую мглу.

На сто первом километре Стакашкин остановил паровоз.

\* \* \*

- А? Что? Где мы?.. - озирался спросонок Чмотанов, прикорнувший на разномычке. Снег валил все гуще. Стакашкин взял лом и ушел в темноту.

Ярко пылал уголь в открытой топке.

- Кум тут у старика обходником, - пояснял Гарька, заметив беспокойство пассажира. - Мы у него завсегда чай пьем, а то и обедаем. Удобно, здесь запасной путь есть. Вот, говорят, нас на электровоз скоро переведут, не знаю тогда, что и делать... придется самим над запаской провода натягивать, иначе с главной линии не свернешь и не жрамши останешься.

- А лом зачем? - подозрительно спросил Чмотанов.

- Так стрелку переводить, - сказал Гарька, прикуривая от уголька. - Тут раньше рычаг был, как положено, да наехали инспектора и отвинтили, чтоб мы не баловали. Переночуем и дальше подадимся. Расписания нет, светофоры не работают, неровен час, на повороте врежемся в кого-нибудь.

"Бестолковщина и газвгащенность и ни на грош тгудового энтузиазма", - возмутился Ваня, но промолчал.

\* \* \*

В доме обходчика было тихо и тепло. Уютно стучали ходики. За окном мягко хлопьями валил снег.

Чмотанова поместили на сухой и горячей лежанке. Ему не спалось.

"Нет, мне с этими паровозниками не по пути. Как пить дать, сами засыплются и меня засыпят. Ну и кадры у Аркадия! Поселились на железной дороге - и живут, не думая, что по ней летит локомотив истории. Ладно, черт с ней, с историей, надо уносить ноги... и деньги. Тьфу, чуть было не кинул их той дурехе. Вот ей ничего теперь не надо, полное

удовлетворение получила. А я еще нет. Будем действовать".

\* \* \*

- Доброе утро, ребята! - будило радио. - Пи-о-нерская зорька! - Запели фанфары.

Проснувшись, Ваня глядел в потолок и вспоминал. Голоколамск, стихия народных масс, кладбище, рейд на паровозе... э, а деньги- то!

Пакет был на месте, под подушкой.

Радио жило своей жизнью.

В комнате хозяев шумел самовар.

Ваня оделся и, открыв дверь, замер.

За столом сидел пожилой милиционер с погонами младшего лейтенанта. Оттопырив губы, он дул на блюдечко с чаем. На столе лежала ветхая черная кобура...

С невозмутимым видом сидели присутствующие. Машинист уткнулся в чашку. Гарька и хозяин дома в ситцевой рубашке внимательно слушали милиционера.

- Всю ночь, почитай, шел. Участок большой, а лысых и скуластых у нас вон сколько. Я вам разыскной лист сейчас покажу.

Милиционер расстегнул кобуру. Из нее выкатилась катушка с нитками, попадали на пол пуговицы ("Женские-то зачем?" - не к месту удивился Ваня), баночка с асидолом и граммов сто пятьдесят дешевых бледно-зеленых карамелек. При виде конфет участковый заметно смутился.

- Забыл совсем... Берите, ребята...

Смущенно он оглянулся. В дверях стоял Ваня Чмотанов. Наметанный глаз милиционера не отрывался от лица Чмотанова, медленно наливаясь кровью.

- Гражданин! - позвал он служебным голосом. - Подойдите сюда.

- Это гость наш, Николай Иванович, - засуетился хозяин. - Знакомься, Ерофей Кузьмич...

- Я не Ерофей Кузьмич, - отрезал милиционер. - Я теперь участковый Усякин!

- Следуйте за мной, гражданин! - кинул он Чмотанову, подвешивая к поясу кобуру.

\* \* \*

Растеряв личный состав, генерал Глухих пробирался через чащу. Выйдя на обтаявшую полянку, изможденный, повалился он без сил, но вдруг услышал, как в лесу черты-хаютя. Насторожившись, Глухих поднял голову. На противоположном конце полянки стоял Слепцов и вытирал грязь с кителя. Тихо набухала в Глухих благородная ярость. Слепцов вышел на солнечный пятачок и сладко потянулся. Глухих не выдержал. Страшно захрюкав, он побежал на противника, спотыкаясь короткими ногами, выставив вперед могучий лоб, словно кабан на охотника.

Слепцов немедленно узнал гнусного соперника. Узенькие глазки его засветились, как у Голема. Когда Глухих, хрюкнув, ударил головой в живот несостоявшегося диктатора, Слепцов что есть силы рубанул по толсто набрякшей шее изменника. Они расскочились.

- Хунту устроить хотели, Григорий Борисыч? - провизжал Глухих.

- Предатель! - зарычал Слепцов.

Они снова сошлись. Ревя медведями, ходили они в обнимку по поляне, споткнулись и покатались. Слепцов разорвал воротник изменника и сладко впился клыками в жилистую шею. Противник елозил под ним, стараясь достать из кармана финский нож.

Клыки Слепцова медленно сомкнулись, когда правая рука Глухих, действуя сама по себе, вонзила жестокую сталь по рукоють в спину мятежного генерала.

\* \* \*

На сцене Дворца съездов торжественно воссел поредевший президиум. В зале, оборудованном по последнему слову техники умелыми заграничными рабочими, поместились 1000 человек. Их сходство заставляло думать об испо-

линском лоне, сумевшем породить стольких детей, до ужаса похожих друг на друга. В зале сидели с красными блокнотами узбеки и туркмены, казахи и русские, азербайджанцы и биробиджанцы.

Это был ленинский форум.

Среди делегатов с мандатом N 666 находился Ваня Чмотанов.

\* \* \*

В примолкшей столице, подавленной грохотом шестидневной войны Слепцова и Глухих и комендантским часом, циркулировали слухи. Однако воскресение показалось горожанам немножко необоснованным. Они с жаром приняли версию о том, что прах, по всей видимости, продан за границу за валюту.

- Почему бы и нет? - рассуждали обыватели. - Газ продаем? Продаем. Нефть? Лес? Икру? Водку? Картины? Иконы? Старинные рукописи? Книги? Фильмы? Романы?

- Почему бы и нет?

- Ну что уж так, Петр Христофорович. Святыня. Знамя нации.

- Хе-хе, Пал Палыч, куда хватили, хе-хе!

Мавзолей пустовал. Естественно, официально об этом молчали.

\* \* \*

- Товарищи! Братья и сестры! К вам обращаюсь я, друзья мои! - начал Генеральный секретарь. - Близится великое торжество. Мы должны прийти к нему, как всегда и все как один. Бесконечно благодарны мы великому, гениальному, но вместе с тем и самому простому человеку. Он - самый простой гений всех времен и народов. Свет Его идей озарил, с одной стороны, все континенты, а с другой стороны, затмил все другие идеи. Все мы должны ясно осознать это. Если бы не было Его, что было бы с нами сейчас? Я лично работал бы простым землекопом. Благодаря новым

идеям, я получил все, что я теперь имею. Мы воочию видим всепобеждающую силу Его учения, потому что оно верно.

И вот мы пришли к самому большому празднику на земле. Его будут отмечать все народы. Можно сказать, что если взять любого другого человека, даже оставшегося в памяти потомства, то он просто клоп по сравнению с Ним, его не разглядишь в телескоп. Мы должны ясно осознать это. Перед вами, товарищи, стоит важная и нужная задача, а именно: найти здесь, в этом зале, того, кого природа сделала похожим на Него как две капли воды. Он должен быть товарищем идейно зрелым, морально кристальным. Так-то, товарищи. Ему предстоит большая работенка.

Бурно аплодировали делегаты и эксперты. Зал буквально взорвался песней "Ленин в тебе и во мне".

В перерыве рванулись к буфету. Мгновенно набили сумки, портфели и мешки разнообразной снедью. Многие делегаты познакомились и подружились.

- А ты откуда? - интересовался рыжеватый плешивый делегат с татарскими чертами лица у седоватого плешивого делегата с острой бородкой.

- Я, значит, с Урала. Сднажды приходит повестка из военкомата: с вещами. Баба моя струхнула, война, говорит, с китайцами. Ничего, говорю. Ан нет никакой войны, сюда привезли на самолете. Под суд, думал, пойду. Ну а у вас как там?

- С мясом плохо.

- А у нас с посудой.

- Так у нас и с водкой плохо.

- Это что! У нас и вина не найдешь, сами гоним.

- А у нас ботинки поди купи.

- Ботинки! Я в кепке всю зиму хожу, шапки ни за какие деньги не найдешь.

- Шапка! У нас попробуй картошки достать!

- Картошка! У нас водопровод поломался, три месяца снег таяли.

Прозвенело в третий раз. У дверей в зал дежурили эксперты. Явно неподходящих мягко останавливали и делали знак товарищам в штатском.

В вестибюле стоял стон. Безжалостно вытряхивали из мешков и портфелей продукты и относили снова в буфет. У подъездов дворца фырчали автомобили. Непригодившихся кандидатов увозили на вокзалы и в аэропорты, вручив три рубля и билет до места жительства.

Бурно негодовал Ленин с Урала, когда отняли у него шапку, ботинки и семь килограммов колбасы. Ильичи посмекалистее выносили пиццу под платьем.

Уцелело после селекции всего двести человек.

Их по одному заводили в комнату, где заседала комиссия экспертов под председательством академика Збарского. Приглашены были врачи, художники и старые большевики. Если кандидат не подходил (то есть получал менее 20 баллов), председатель поднимал красный флажок; кандидата уводили направо в коридор. В благоприятном случае - вверх налево по лестнице.

Ввели наконец Ваню Чмотанова.

- Чудесный экземпляр! - громко прошептал профессор Сухин.

- На редкость, на редкость, - согласился доктор Лунц.

- Самородок! - поддакнул живописец Трезоркин.

- А вы что скажете, Марья Конспиратовна? - спросил Сухин старую большевичку Пролежневу.

- Вылитый Владимир Ильич! - сказала старушка, поднося к носу лорнет. - Он. Как сейчас помню... Ах, я тогда была молода, и за мной ухаживал шикарный ротмистр... забыла его имя... Знаете, как в старое время, с усами и саблей. И вот однажды в Мариинском театре, представьте себе, на сцене светло, а в зале темно. И мы сидим с ним в ложе...

Збарский наклонился к Пролежневой и зашептал что-то на ухо.

- Да, да, конечно, - спохватилась Марья Конспиратовна. - И вот я решила во что бы то ни стало встретиться с Ульяновым. Я поехала в Париж. Приезжаю, а мне говорят: Тулин в Париже. Тулин - это кличка Владимира Ильича. Я еду в Париж, страшно волнуюсь, а мне говорят, он в Баден-Бадене. Я сажусь на поезд, приезжаю в Баден-Баден... увы! Он, говорят мне, в Женеве. Я немедленно ночным скорым

выезжаю в Женеву. Прихожу в клуб социалистов, и мне навстречу выходит чудный мужчина с усами, точь-в-точь мой ротмистр. Я говорю: здравствуйте! Ну и пароли, конечно, все чин-чином. Он расспросил меня о настроениях в России, о жизни пролетариата. Чудесно поговорили. И он провожает меня до гостиницы, настоящий джентльмен! Мы прощаемся, он целует мне руку - о, чудный, чудный! - и я говорю: до свидания, Владимир Ильич. А он засмеялся и говорит: "Я - Красин". Как, говорю? Вы, наверное, имели в виду Владимира Ильича? Да! Так он сейчас в Лондоне. Вы представляете? Денег до Лондона у меня уже не было, пришлось вернуться в Петербург.

- Так вы не встречались с Владимиром Ильичом? - раздраженно спросил Збарский.

- Очень сожалею, но не пришлось.

Лунц скрипнул зубами.

- Следующий! - крикнул Збарский и заметил, провожая взглядом Чмотанова: - Вряд ли встретим лучший экземпляр.

Комиссия выбраковала человек десять, когда вошел коренастый, широкоплечий, с заложенной в карман рукой Токтоболот Абдомомунов.

- Он... он... он... - зашелестело в комиссии. Да, это был живой Он. Лукавя, смстрели раскосые глаза. Торчала борода клинышком.

"Вдруг грим?" - подумал Збарский и невольно спросил: - Не хотите ли умыться?

- Зачэм? Савсэм чыстый, - улыбнувшись широкой ленинской улыбкой, ответил Токтоболот.

- Ваш мандат? - ласково сказал Сухин.

Мандат Абдомомунова значился под N 317. Он получил 40 баллов.

- Очень хорошо, Токтоболот. Вам бы лет на 100 раньше родиться. Еще неизвестно, кто бы Лениным был... - сказал Збарский кандидату N 1.

...В глухой комнате без окон при одной запертой двери собралось семеро Лениных.



- Не нравится мне это, ребята. В тюрьму попали, - нарушил молчание Чмотанов.

- Хватил! Вон жратвы сколько набрали, на месяц.

- В начальство пойдем, должно быть...

Дверь распахнулась. Вошли врачи в белых халатах.

- Товарищи, быстренько пройдем медосмотр. Всем раздеться, - негромко приказал д-р Лунц.

- Совсем? - злобно спросил Чмотанов. "Ясно, шмон будет", - подумал он с яростью.

- Да. Побыстрее.

Перед врачами стояли голые копии вождя. Мерили рост. Взвешивали. Выслушивали.

- Сердечко у вас пошаливает? - весело спросил Сухин у номера триста семнадцатого.

- Есть нэмногo, - отвечал Токтоболот.

- Ничего, ничего, - успокаивал врач.

- N 666! Будьте добры, нагнитесь. Так. Теперь...

Но Чмотанов, не дожидаясь команды, раздвинул ягодицы, подумав: "Сядем".

Д-р Лунц остро взгляделся в волосатую темноту и сделал запись в вахтенном журнале.

- Следующий!

Врачи осмотрели всех и ушли с богатым эмпирическим материалом.

\* \* \*

Каждый член отборочной комиссии получил семь билетов с номерами кандидатов. На нужном билете следовало поставить крест.

В присутствии ревизионной комиссии вскрыли урны и огласили результаты.

Пятеро получили по одному кресту. Чмотанов собрал три. Абдомомунов - 37 крестов. Конкурс на вакантное место завершился.

\* \* \*

В банкетном зале собралась масса гостей. Правительство, члены комиссии, семеро кандидатов, представители общест­венности.

Множество было тостов. Много ели. Сновала об­слуга.

\* \* \*

В кухне стоял отдельно поднос с семью бокалами.

Д-р Лунц вошел в сопровождении ассистента, несшего маленький баульчик.

- Будьте добры, наполните бокалы шампанским, - приказал доктор дворецкому.

- Сию минуту-с.

Шипя, золотистое вино лилось из толстогубых бутылок.

Вошел агент, переодетый официантом.

- Оставьте нас одних, - распорядился доктор.

Д-р Лунц расстегнул баульчик и достал широкогорлый флакон оранжевого стекла с притертой пробкой. Надев резиновые перчатки, он извлек пинцетом прозрачный кристалл.

Мгновение пинцет помедлил... и выронил вещество в бокал. В лилию из ниток пузырьков обратилось оно. Кристалл исчез. Токи винного газа поднимались со дна бокалов. Отличить было невозможно.

- Запомнили, молодой человек, в каком именно? - с коротким смешком спросил доктор агента.

- Так точно! Справа, второй по часовой стрелке.

- Прощу вас, маэстро! - улыбнувшись, врач в белом халате указал агенту на поднос.

\* \* \*

В дверях банкетного зала показался ловкий молодой официант. Академик Збарский оживился.

- Дорогие товарищи! Позвольте мне предложить тост за того, чье имя живет в веках!

Хлопнули пробки. Изыячно лавируя, официант подошел к стайке кандидатов. Они чувствовали себя несколько стесненно в роскошной обстановке дворца.

- Прошу вас!

Все разобрали бокалы. Чмотанов мрачно курил.

- А что же... вы?

- Я только крепкое пью, - сказал Ваня. - Это не принимаю.

"Вот черт! Нужен ты нам, собака!" - выругался в душе агент, но улыбнулся:

- Не обижайте нас... Попробуйте... из лучших погребов дружественной нам Франции. И потом... особый тост. За Ленина!

Чмотанов смял сигарету и залпом выпил шампанское.

\* \* \*

Глубокой ночью разбрелись спать тут же, во дворце.

Врачи, почти не пившие, собрались в смотровой.

- Я думаю, Абдомомунов уже готов. Подождем для верности еще полчаса, - заметил д-р Лунц, подравнивая пилочкой заусенец на очень красивом ногте.

В пять утра шестеро взрослых мужчин в белых халатах гуськом шли по слабо освещенному коридору.

- Он здесь, - темно сказал Збарский и нажал на дверь. Она была заперта. Д-р Лунц вынул отмычки и моментально открыл замок.

В комнате храпели. С неприятным чувством врачи включили свет в прихожей. На диване, разметавшись, спала уборщица этажа Капа.

- Что за черт! - шепотом сказал Сухин.

- Тихо! - сжал ему руку Лунц.

Рядом с Капой под одеялом виднелись очертания еще одного человека.

- Бедный. Он словно чувствовал и торопился вкушать последние радости, - прошептал с умилением Збарский.

- А каково ей, этой женщине. Вдруг проснуться рядом с трупом, - сказал Сухин.

- Смерть в твоей постели, это ужасно, - подтвердил д-р Лунц.

Врачи приблизились и осторожно приподняли одеяло. Лицом в подушку, нелепо расставив ноги, лежал Токтоболот Абдомомунов, N 317.

- Взяли! - скомандовал Збарский.

Жаркими руками взялись эксперты за труп и понесли. В полутьме неловко ткнули его головой в шкаф.

В тот же миг труп ожил в их руках и вырвался. Благим матом заорали врачи в белых халатах, никогда не терявшие присутствия духа. Эксперты, споткнувшись, попадали сверху на Токтоболота и образовали бушующую кучу-малу.

- Провокация! - слышались задушенные голоса.

Первым вылез совершенно голый Токтоболот Абдомомунов. В ужасе таращил он глаза на беспорядочную свалку. Охая, хватаясь за бока, от месива светил отделился акад. Збарский. Голая Капа, уборщица, в панике нырнула под кровать. Там же укрылся, хватаясь за сердце, N 317.

- Это что же, уважаемый коллега Лунц, вы ему aspirini высыпали? - ехидно спросил Сухин у Лунца, когда, оправившись, доктора стояли на ногах.

Лунц обескураженно молчал.

- Отвечайте, Лунц! - со злобой сказал Збарский. - Диверсия, значит? Под суд захотели? Мы вас в ваш институт и запрем!

- Что вы... ради Бога! - лицо Лунца позеленело. - Я написал настоящий sublimate... Я обязуюсь... выполнить и перевыполнить...

Лунц в белом халате упал на колени и умоляюще протягивал руки к коллегам. Ничто не могло спасти Лунца.

О, улыбка судьбы! Как часто, отняв у человека последнюю надежду, ты даруешь ему спасение!

Страшный глухой крик донесся из-за стены. Медленный, но сильный яд одолел наконец железный организм Вани Чмотанова.

Лунц был спасен.

\* \* \*

22 апреля ровно в 11 утра открылся для доступа мавзолеей. Тысячные толпы непосвященных и тех, до кого дошел невероятный слух, в сапогах, ботинках, калошах и без калош повалили на Красную площадь.

На подушках лежал Он. Наличествовали все части тела.

Люди, подгоняемые повеселевшей охраной, шли и старались задержаться на секунду дольше, чтобы навсегда сохранить в памяти дорогие черты самого человеческого человека, самого простого и гениального - черты Ивана Чмотанова.

\* \* \*

Вечером того же дня грянул салют. Заплясала Москва. Запели и заплясали все города мира. По Б. Тверской катили бочки с бесплатным пивом. На площадках громоздились лотки с бесплатными бутербродами.

Ликовал весь земной шар.

Стоп. Здесь начинаются недопустимые для исторического свидетельства домыслы, а ведь честное, незапятнанное имя для меня дороже всего.

ОЛЕГ ПАСКЕВИЧ

# Во многом Знания многие печаль

*Тема тюрьмы, вчера оглушительная, сегодня уже несколько набила осколину. Как сказал классик, первый убитый на войне исчерпывает сострадание к дальнейшим. Но этот опус непрофессионала показался нам интересен тем, что описательный вопрос как? относительно процедур тюремного страдания переходит в нем в иной - зачем? Вопрос, который актуален, поскольку вообще страдает человек. Мы позволили себе сделать лишь несущественную правку и сокращения, облегчающие чтение.*

В карцер я попал по жребии, но не случайно. Не попал бы тогда, попал бы в следующий раз - иного выхода не было.

В камере не протолкнешься, жара, духота. А форточку открывать не дают "из режимных соображений". Против такой формулировки бессильна даже медицина. Тем более тюремная медицина.

Дым, смрад, испарения голых тел. Вода поступает лишь по ночам: с рассвета падает давление в трубах. До позднего вечера кран совершенно сухой. И так постоянно, день за днем, день за днем.

Лето, июль, солнечная сторона, каменная стена накаляется. Лежишь, как рыба, вытасненная из воды, - днем и ночью - хапашешь воздух ртом: что делать?

Встали мы наконец, человек пять или шесть, кто помоложе, потянули спички. Мне досталась без головки.

Ну, что ж...

Побил я все стекла в окне. Сразу, не отходя от кассы. Пока вставят новые, можно дышать. Но уже не мне: меня сразу потащили в карцер.

По ходу били, но без особой злости, так, для порядка. В подвале спецкорпуса передали дежурившему там надзирателю. И ушли, не оглядываясь, обсуждая свои проблемы.

Длинный широкий сумрачный коридор. Лишь где-то в его дали прохаживается еще один надзиратель. Слева и справа ряды обитых железом дверей, каждая в неглубокой нише. Резиновые дорожки для скрадывания звука шагов. И тишина. Полная тишина за всеми дверями.

Загадочная и непонятная.

Тускло - туманное пятно окна в конце коридора закрыла фигура надзирателя. Пахнуло чесноком и селедкой. Надзиратель остановился, уперся в бока руками, раздвинул широкие губы:

- Раздевайся! - Голос у него был хриплый, уверенный, безапелляционный. Покачиваясь с носков на пятки в искривленных хромовых сапогах, он стоял, глядя, как я раздеваюсь, его толстый живот, небрежно опоясанный армейским офицерским ремнем, заметно подавался вперед и затем онадал в такт громкому и силлому дыханию.

Я раздевался, складывал вещи прямо на пол рядом с собой. Он стоял, смотрел, все так же покачиваясь, прямоугольная желтая пряжка шевелилась на его животе.

- Раздевайся совсем! Сымай-все! Носки тоже сымай!

Пришлось снять и носки.

- Вещи клади в тот мешок, видишь? Теперь отойди в сторону, сюда. Стой!

Широкое блеклое лицо - вплотную. Глаза-буравы просвечивают рентгеном.

- Рот! Открой шире рот! Подыми язык!

Его быстрые хваткие пальцы прощупывают мои щеки, оттягивают их до предела, обнажая потайные уголки рта.

- Скажи: "А-а-а!.."

- Теперь руки. Раздвинь пальцы, пошевели! Переверни ладонями вверх!

На секунду он отвернулся, в руках у него вспыхнула лампочка - переноска.

- Повернись кругом! Наклонись! Ягодицы раздвинь!

Теперь пятки.

- Подыми ногу! Выше! Согни назад! Другую!

Он подсвечивает переноской, внимательно всматривается в мои пятки.

- Лезвие не затарил? Ну-ну... Присесть! Встать! Присесть! Встать! Еще! Еще! Ничего не спрятал? Еще раз рот. Еще раз: "А-а-а!"

Лампочка - прямо в лицо. Почти уперлась в мой нос.

- А-а-а-а!..

- Не ори! Теперь иди сюда, сюда.

Он распахнул тяжелую дверь, и я ступил в полутемную камеру. Оглушительно грохнуло за спиной, лязгнул засов.

Теперь уже и тюремный мир от меня отсекло.

Я остался совсем один.

- Эй! - раздалось из-за двери. - В обед не ложись, не стучи: горячее - через двое на третьи. Твой обед - послезавтра.

Я не слышал, как он отошел.

Узкая камера, метра четыре длиной. Темно. Крошечное окошко узким колодцем в противоположной от двери стене почти в самом верху в толстых и тонких, одна за другой, меж запыленных стекол решетках. И металлическая тумба посреди камеры для сидения. В углу - резиновая паранна с такой же резиновой ручкой.

Таким я впервые увидел карцер. И было это в Горьком, в начале пятидесятых...

Я стоял совершенно голый на холодном цементном полу, снова и снова вслушиваясь в непривычную после постоянного шума общей камеры какую-то нереальную гулкую и тревожную карцерную тишину.



Поверх тумбы лежал круглый картонный круг по ее диаметру. Рядом с тумбой стояли лапти. Самые настоящие, из лыка, грязно-коричневые и полуразбитые от долгой носки.

Потом я узнал, что тюремное начальство, вероятно, из экономии, да и для дополнительного психологического давления на заключенных решило их по-своему приобуть.

Нашли какого-то умельца крестьянина, заставили плести лапти, и дело пошло: постепенно обули в них всех "тяжеловесов" (свыше тринадцати лет срока). Обули и карцер. Лапти стали необходимым атрибутом горьковской пенитенциарной системы.

С шумом открылась кормушка:

- Получай! - Надзиратель ворохом втиснул в прямоугольное окошко двери какие-то вещи. - Правила поведения в карцере. Запоминай хорошо. Можно ходить по камере. Не останавливаться, не бегать, не прислоняться к стене. Ходить руки назад. Все. Не подходить на метр к двери, чтоб тебя было видно всего. Можно сидеть на тумбе лицом к глазку. Руки на колени, голову держать прямо, смотреть перед собой на дверь. Все. Нельзя сидеть с закрытыми глазами, дремать, спать. Нельзя опускать голову вниз или склонять на плечо. Сидеть ровно или ходить. Все. За вторым замечанием - наказание. Запомнил? Все! Можешь одеваться.

Резко хлопнула кормушка, послышался скрежет навешиваемого замка - "привязал собаку". И опять - тишина.

Я стоял с ворохом чьей-то одежды в руках. И лишь теперь почувствовал холод и сырость. Наконец, сделав внутреннее усилие, начал медленно одеваться.

Тонкие эсковские застиранные трусы. Старые брюки, одна штанина короче другой. Какое-то подобие гимнастерки темного цвета с завязками вместо пуговиц. Все те же лапти на босу ногу. Влез в них и тут же вылез: жмут, непривычно, уж лучше так, босиком...

Медленно двинулся по периметру вдоль стен, руки назад, по инструкции надзирателя.

Непривычно и странно босиком по холодному цементу. Ставишь ногу на пол - слегка обжигает холодом.

Шаг - другой, шаг - другой... Камера совсем мала, идешь, почти как по кругу. Глаза на ходу закрывать нельзя: слева - тумба, справа - стена, и постоянные повороты. К двери не приближаться... Вплотную к стене, наверное, тоже нельзя... Чуть левей, не зацепить тумбу... Идти ровным шагом...

Куда?.. Зачем?..

Четыре шага вдоль стены - поворот под окном; четыре шага вдоль стены - поворот по дуге у двери...

Кажется, ноги уже не так мерзнут. Во всяком случае не обжигает. Но какой твердый шероховатый пол! Как камень. Наждак. Ноги надо ставить ровно, иначе совсем обдерешь...

Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп...

Если б тумбы не было, ходить было б легче. Вон сколько занимает места. Железная, можно так зацепить ногой!.. И убрать нельзя: надо ж на чем-то сидеть. Но почему именно тумба? Можно было б какую-нибудь табуретку... Торчит посреди, как пень. И наверху кружок из картона... Чтоб не так было холодно. Гуманизм!.. Может, сесть?!

Сел на тумбу лицом к двери. Руки - на коленях, голова - прямо, на дверь. Слегка опустил плечи. Не нарушаю?..

Темный зрачок стеклянного глазка неподвижен. Прикрывающая его снаружи резина не дает хоть бы чуть-чуть взглянуть, что там делается, в широком, таком широком большом коридоре...

А почему, собственно, "глазок"? По-тюремному "волчок". Да, так точнее подходит.

Волчек... Волчек...

Именно - волчек!..

Какая мрачная безысходно тяжелая дверь! Она явно имеет свое лицо. Впрочем, что это за лицо... Это - морда. Дикая морда чудовища. Безжалостного и кровожадного.

И кормушка, как рот... И волчек - глаз... У меня начинает мерзнуть спина. Потом постепенно холод охватывает все тело. Сажу, пока холодная дрожь не делается нестерпимой. Поднимаюсь и начинаю ходить по камере.

Хожу и хожу, но дрожь не проходит. Что делать? Если б побегать!..

Пятки шлепают то глухо, то неожиданно звонко, я нет-нет и порываюсь бежать, но сдерживаю себя. При ускорении шагов всякий раз ощущаю, как холодный воздух обвеивает мою все больше остывающую голову.

Тру ее на ходу со всех сторон - вроде полегче... И все иду и иду, временами быстро, как только можно. Потом опять сажусь на тумбу и сажу, тяжело дышу, пока дыхание не выравнивается. Потом снова иду. Снова сажусь...

Гремят миски. У кого-то обед?..

Уже и зубы выбивают мелкую дрожь. Резина волчка неподвижна. Что можно сделать, пока за мной не следят? Побегать? Или заняться зарядкой?

Встаю и начинаю бегать вокруг тумбы, аккуратно и высоко поднимая ноги.

Главное - мягко опускаться на пятки, иначе побью, разобью... Думать об этом, не забывать. И движения. Больше движения!.. И не терять из вида волчек!..

Бег мой почти на месте, но изо всех сил, в унижительном и диком одеянии, с высоким подбрасыванием коленей - я понимаю, как нелеп и смешон. Но бегу и бегу - надо ж как-то согреться.

Кручусь вокруг тумбы, словно привязанный, а глаза всматриваются в темный волчек - ловиться нельзя!..

Резче работать руками! Резче! Тогда и ноги будут быстрее!

Бегу и бегу, заваливая корпус назад, уже почти совсем на месте. Мне надо хорошенько согреться, набрать тепла впрок. Тогда я спокойно сяду на тумбу и посижу, и хорошенько подумаю: я это или не я?..

Цемент. Решетки. Тумба. Лапти. Тускло-желтая лампочка за проводочной сеткой. Железная дверь. Удары босых пяток по цементу...

И это я?..

Надо как-то проверить реальность происходящего. Но как?

Холод... Мне холодно, очень холодно. Уцепиться за руку? Ну и что, если я почувствую боль? Говорят, боль можно убрать или, наоборот, создать ее ощущение простым внушением. Значит, буду я чувствовать боль или не буду, этим ничего не докажу.

Так я это или не я?.. И где я?.. Закрываю глаза. Проходит минута, другая...

Не думать. Не думать. Ни о чем не думать. От всего отключиться. Абсолютно от всего...

...Я ни о чем не думаю... Не думаю...

...Как холодно, однако... Я не думаю о том, что мои ноги болят...

Не думаю об этом... Ну, не болят, так побаливают... И не ноги, а пятки, и непонятно, мерзнут они или обжигаются...

...А если он увидит, что у меня закрыты глаза?..

Может, вообще ничего не происходит, я где-то в другом месте, и все это - плод моего воображения?

Или это я, все-таки я, сижу здесь сейчас, именно сейчас...

Вот моя рука, я сжимаю ее, и она подчиняется мне...

Да, это я сижу здесь, в эту секунду, сижу и думаю, я это или не я...

Но ведь холод вполне реален, и я его ощущаю. Вот и зубы стучат, и руки дрожат, и спина начинает неметь.

А ведь сейчас на улице солнце, жара. И в камере наверху так тепло!.. Сейчас бы прилечь и лежать, лежать...

И снова иду вперед, если можно считать "вперед" бесчисленные круги по камере. Иду и иду, то пытаюсь о чем-то думать, то нет, инстинктивно поживаясь, снова и снова напрягая мышцы холодной спины. Иду, может, час, может, два...

Внимание мое привлек картонный круг... Я повертел его в руках, потом подсунил под гимнастерку на спину, постоял так...

Потом я узнал, что все попадающие в карцер - буквально все! - утепляют себе спину таким картонным кругом. Если, конечно, он есть. Но тогда мне казалось, что я сделал открытие...

...Железный грохот потряс всю камеру. Это надзиратель ударил по двери ключом.

- Голову не опускай! Сиди прямо! - Резина за стеклом волчка покачивалась, как маятник, надзиратель уже отошел! Удары его ключа раздавались то громче, то тише из разных концов коридора.

Я стоял, вслушиваясь в эти удары...

На стене отразились переплет и решетка окна.

Желтое пятно с нечеткими квадратами, скошенными в одну сторону...

"Да ведь это же солнце! - пронеслось у меня в голове. - Как пробилось оно в эту камеру?"

Значит, время уже под вечер. солнце садится. Его лучи, вероятно, попали на стекла тюремного корпуса напротив и уже оттуда отразились ко мне...

Я стоял и смотрел на это слабое напоминание живого, настоящего солнца, и у меня потеплело на сердце, словно получил привет от далекого доброго друга.

Мне было восемнадцать лет. Я был молод и доверчив. Я еще верил в настоящих друзей...

Кстати, теперь в камере солнца уже не увидишь. Ни солнца, ни даже его отражения. Как и "неба в крупную клетку". Все это выдумки некомпетентных людей.

Уже давным-давно в наших тюрьмах на окна надели намордники из плотно сваренных полос листового железа, во многих камерах изнутри закрыли окна еще и сплошной металлической сеткой. Так что ни солнца, ни

неба уже не увидишь. Тюремная наука тоже не стоит на месте. Прогресс налицо...

Между тем желтое пятно как-то уж очень быстро передвинулось к двери, словно бы втиснулось в угол, разом поблекло, исчезло. Похоже, откуда-то тянет сквозняк. Я осмотрелся - в который раз! - и теперь обратил внимание на два отдушника над дверью, чуть выше и по бокам. Плотно обтянутые металлической сеткой, выкрашенные однотонно, как стены, они сперва не фиксировались сознанием.

Я подошел к двери и поднял руку. Легкое ощущение уходящего воздуха. Передвинул руку - встречный прохладный поток ощущался даже лицом.

Прохладный. Даже - холодный. Летом. Откуда!..

Главное - не стоять на месте.

Надо о чем-то думать. О чем-то хорошем...

Как хочется курить!

Об этом не думать. Надо думать о чем-то другом. О свободе?

На днях... во время прогулки... пролетал планер... Учебный... Ан-2... Со всем недавно... и я на нем летал... на таком самолете...

У меня... за технику пилотирования... твердая пятерка...

Опять же прыжки... При поступлении в училище... это должны учесть...

В училище?! Я рухнул на тумбу. Какое училище, опомнись, ты - в тюрьме! И путь в авиацию уже навсегда закрыт. Не только в авиацию - всюду.

Если ты когда-нибудь и выйдешь из тюрьмы, если когда-нибудь выйдешь...

Как жить? Как дальше жить?

Нет, об этом тоже нельзя. Надо о чем-то другом. Но о чем?

Когда-нибудь все это кончится. Не только карцер. Вообще тюрьма. Будешь идти по улице, по солнечной, теплой улице, улыбаться людям, и люди - тебе...

С чего это я им буду улыбаться? И с чего они - мне?

Посадили. Ни за что, ни про что. Перевернули все наоборот. Кто сейчас думает обо мне?

Я никому не нужен. Я для всех уже не существую. Если я отсюда не выйду, никто даже не заметит, что меня больше нет.

Только отец и мать...

Какие улыбки, кому?.. Иду, скажем, по улице. А навстречу - этот самый надзиратель. Со службы...

- Ты что там бормочешь? Под дурачка косишь?

Я вздрогнул: кормушка была незаметно открыта, надзиратель всунул в нее свое ухо, вслушивался в мое бормотание. Видно, ничего не понял, не выдержал, решил подать свой командный голос.

- А чего боком к двери? Балдеешь? Я тебе побалдею!..

Я поднялся. Руки - за спину. Пошел вперед.

Снова хлопнула кормушка. Снова скрежет замка.

Ну о чем еще думать, о чем?!

Следствие... Вот, оказывается, какое следствие... И следователь - плотный, упитанный, ровно сидящий, ровно смотрящий...

Он сидит, полный сил и здоровья. На его стороне и закон, и сила, и власть. И перед ним - я, жалкий, небритый, с всклокоченными волосами, избитый, третьи сутки голодный.

В голове у меня крутятся какие-то обрывки из Конституции. Право на труд, право на отдых... Я не знаю ни Уголовно-процессуального кодекса, ни его статей, ни уголовных законов. И никаких книг, ну хоть бы для ознакомления! Мне никто не дает. И я не знаю своих прав, юридических прав, не знаю, что я могу требовать, и могу ли я что-нибудь требовать вообще.

И все это, чтобы он мог глушить меня, как ему вздумается. Чтобы легко, просто, без всяких помех, он мог мне "сплести лапти" - именно так называется эта работа у большинства из них.

Да... Кажется, лапти он сплел, и довольно прочные...

...Как холодно, как хочется курить!

Холод не дает мне сидеть, я все иду и иду. Превозмогая себя, временами пошатываясь, продолжаю свой странный путь.

Потому что чувствую: в движении - мое спасение.

И снова гремели миски, был ужин, кого-то кормили. Мне дали миску горячей воды.

В окне совсем потемнело. Потом в коридоре зашуршали веником, зазвякали ведром. Послышался женский голос. Или мне показалось? И потом долгая, долгая тишина.

Наконец весь корпус сверху донизу прорезал резкий и долгий звонок: десять вечера - долгожданный отбой.

Я опять опустился на тумбу, застыл.

Где-то на этажах захлопали двери или кормушки. В камере надо мной зашевелились, забегали. Тюрьма готовилась ко сну. Но в моем коридоре было по-прежнему тихо.

Я пошел к двери и стал перед волчком. Он был неподвижен и нем. Я

стоял и смотрел в его темное нутро и просто физически ощущал бесконечность времени.

Вновь где-то раздался удар по двери, чуть позже - второй: замечания за нарушения карцерного режима. Потом вдруг чей-то испуганный крик, шум по коридору: кого-то куда-то тащили или несли. Было слышно тяжелое дыхание многих людей, злое дыхание. Шум удалялся, затихал: остались все те же приглушенные шаги над головой, изредка - неразборчивые голоса. И еле слышные чьи-то далекие стоны.

И тут я вспомнил, что в карцере отбой в двенадцать. Маячить перед волчком и чего-то ждать не было никакого смысла. Я взял руки назад и снова пошел по кругу, дрожа всем телом, с трудом переставляя натруженные за день ноги.

Два часа - много это или немного? Даже уже не два, меньше...

Надо как-то продержаться до двенадцати. И отдыхать. До шести утра. Шесть часов отдыха взрослому человеку вполне достаточно. Я где-то читал... В каком-то медицинском журнале... Это детям надо по девять, по десять часов... А я ведь взрослый мужчина. К тому же спортсмен...

И снова я шел и шел, теперь внушая себе, что в моем положении ничего необычного нет. Просто проверка на прочность, на выносливость, что ли... Оно и не вредно - проверить свои силы.

Какие-то семь суток, подумаешь, ерунда!..

Вот только бы чуть потеплей... Чтоб можно было хоть изредка отдыхать... Ну как солдату в походе - по десять минут через каждый час. А так, в холоде, попробуй усиди на этой проклятой тумбе!..

Потом я решил разозлиться. Начал себя ругать за то, что сижу в тюрьме, и за то, что сам напросился в карцер, хотя ведь иначе было нельзя.

Нельзя-то нельзя, но все же...

Я ругал себя громко, почти выкрикивал новые еще для меня тяжелые тюремные слова, но злость не появлялась, слова глохли и не вызывали желаемого эффекта. Больше того - на меня навалилась сонливость.

Я что-то еще по инерции говорил, все тише и тише. Ноги мои совсем ослабли и начали заплетаться, я сделал еще несколько кругов вокруг тумбы и рухнул на нее, уже не обращая внимания на ее леденящий металлический холод.

Нельзя опускать голову, нельзя закрывать глаза...

Нельзя опускать... нельзя... нельзя...

Сижу с открытыми глазами, лицом к двери и не вижу действительного. Передо мной проходят яркие картины в красно-белом обрамлении, на красно-белом фоне, и это не удивляет меня.

Я не выбираю эти картины, они сами меняются одна за другой. Временами я отключаюсь, может, проваливаюсь в короткий сон, но и тогда сижу с открытыми глазами и продолжаю смотреть перед собой. Мои ощущения раздваиваются; я здесь, дрожащий, с открытыми глазами, и я где-то там, совсем в ином месте, но непреходящий участник событий.

...Море... Красное, красное море и белый, белый песок. Красные волны накатываются на берег, прямо к моим ногам: ведь я где-то здесь, у самой воды... И в ушах у меня шум прибоя...

"Глаза у меня открыты, - мелькает в голове, - они должны быть открыты, только открыты, обязательно - открыты..."

...Красный далекий горизонт, и над ним белое, раскаленное, холодное солнце...

С грохотом открывается дверь. Двое в зеленой форме. Один высокий худой, другой толстый и жирный.

- Самолет!

Выхожу в коридор и забираю "самолет" - деревянный лежак из трех досок, скрепленных двумя перекладинами. На лежаке - серое одеяло. Вношу все это в камеру. Наступил, наконец, и мой отбой.

У высокого фуражка сдвинута набекрень, у того, что пониже, - надвинута на самые уши. Они смотрят, как я устраиваю лежак, одеяло...

- Спать только лицом к двери, и шея должна быть открыта. Совсем открыта.

- Смотри, не шути!..

Грохают дверью и удаляются к следующей камере.

Одеяло старое, тонкое. Чуть не на метр короче нормального. Э, ладно, сойдет. А под голову?..

Лапти. Конечно, лапти! Если положишь один на другой...

Укладываюсь лицом к двери, кое-как подтыкаю узкое одеяло. Бока прикрыты, доски должны нагреться от моего тела.

Теперь поджать, насколько можно, ноги, попробовать спрятать и их...

...Тонкое одеяло совсем не держит тепло. Когда-то мама меня учила:

"Если холодно, сынок, укрой одеялом ушко..."

Что - ушко, если б хоть шею!..



Снизу тянет цемент. Лампочка - прямо в глаза. Одеяло - как решето. И - шея. Шея!..

Какие-то провалы. Полузабытье. Холодная дрожь сквозь холодную полудрему. Жесткие лапти под головой. Я все это чувствую постоянно. Ведь я не сплю. Я все ощущаю. Я мыслю, значит, не сплю...

- Шея! - доносится из коридора. Удар по двери заставляет открыть глаза. Сдергиваю одеяло с шеи, сжимаю его край руками.

И снова погружаюсь в забытье. Быть может, я сплю, но мой сон тревожен: я чувствую край одеяла, придерживаю его руками и ощущаю шею, леденящий холод вокруг нее.

Ночь бесконечна. И бесконечен холод. От него в воспаленном мозгу под утро начинаются бредовые видения, от которых я в ужасе открываю глаза, дрожащий, с колотящимся сердцем и глубоко несчастный:

- Зачем я живу на свете? Зачем все это?!

...Невыносимо резкий и долгий звонок режет по самому сердцу. Тупая боль в затылке. Голову не оторвать. Но снова грохот. Все время грохот. В дверях все те же, в фуражках, у одного - набекрень, у другого - на самые уши...

- Самолет!

Я сажусь, быстро сдергиваю с себя одеяло.

Как болит голова!

Упираюсь в лежак, с трудом подымаюсь на ноги, охая от боли в ступнях, держусь за стенку, сцепляю зубы - невыносимая боль. Но хватаю лежак и тащу в коридор.

- Что, - рогочет высокий, - ножки болят?

У него из-под фуражки выпущен чуб на сторону буйным клоком, как у колхозного гармониста. Второй довольно обнажает желтые зубы:

- Энтот из антилигенции будет. Чай босиком по стерне не ходил.

- А ну, быстрее! Шевелись!

Возвращаюсь назад, опустив голову, чтобы они не видели моих глаз. Мимо них иду ровно, совсем не хромая. Спокойно, не торопясь, усаживаюсь на тумбу.

Ноги совсем распухли, я их побил об цемент. Но надо ходить. Только ходить. И я вновь заставляю себя идти, медленно переставляя ноги, поставляя при каждом шаге.

Пять минут, десять, пятнадцать... постепенно становится легче. Просто тупая, но терпимая боль. И тогда я все же влезаю в лапти - ноги надо как-то беречь, и хожу уже дальше в них...

"Надо чем-то себя занять, - думаю я. - Но чем?"

Кормушка открылась рывком, дали миску горячей воды: "Эй, кипяток!.." и четырехсотграммовую пайку черного хлеба, тюремную, карцерную пайку... Разве можно когда-нибудь это забыть?

Держишь горячую миску, вбирая ладонями тепло. Один глоток, другой... если б чуть горячей!..

"...Итак, надо найти какое-то занятие", - снова думаю я. Может, начать сочинять стихи? Нелепо. Какие тут стихи... Решать задачи? Холодно. И математику я не люблю.

Начать вспоминать что-нибудь хорошее? Не хватит - на все семь суток... Да и о свободе лучше не думать. Себя напрасно травить. Но что-то придумать надо. Надо! И вдруг простая и четкая мысль: нашел!

Так просто, и не надо мудрить. Я проверю себя на прочность, на выносливость. Добьюсь, чтобы пребывание в карцере пошло мне на пользу. Ну, не на пользу... Тренировка. Серьезная проба сил.

Поход. С утра до вечера я буду в походе. В большом, многодневном походе. Вот и занятие, и экзамен себе. Только надо считать километры. А потом - общий итог.

Но как считать? Прежде всего, какова длина одного круга по камере? Сколько шагов?

Раз, два, три... - двенадцать. Шаг я делаю здесь небольшой. Сантиметров шестьдесят пять - семьдесят. Значит, один круг по камере - около восьми метров. Остается считать круги. И голова занята, и тело в работе... Ну чем не хороша идея?... Итак, вперед! Только вперед!..

Трудно писать о карцере, вернее, трудно читать. Все одно и одно: ты и карцер. Больше почти никаких персонажей, ничего сверхудивительного. Мне доводилось видеть кое-что и похуже. Но я описываю именно этот карцер, самый обычный. Рядовой.

Вы, не знающие, что такое тюрьма! Ратующие за усиление уголовного наказания. Призывающие стрелять и вешать, только стрелять и вешать!.. Знаете ли вы цену даже одного дня в тюрьме?

При нашей, мягко говоря, далеко не гуманной, явно отсталой и несовершенной судебной системе.

Хронически отсталой! Пожизненно отсталой! Ну что вам еще сказать?

Может, кто-то из вас и прочтет мой рассказ, надеюсь на это.

Прочтите, задумайтесь, кто знает свой завтрашний день?.. И. быть может, на вас снизойдет Божья благодать, и вы помягчите сердцем.

Ради этого я пишу. Сидя в тюрьме, я думаю о вас.

Будьте душой добры, я призываю вас к христианскому милосердию! Ведь без этого - самого главного - теряется сам смысл человеческого существования.

К десяти вечера я прошел сорок три километра.

То идешь, то сидишь, то идешь, то сидишь... И постоянно считаешь круги.

От лаптей пришлось отказаться, они в кровь растирали ноги. Ходил босиком, сквозь глухую боль. Сидя на железной тумбе и все так же дрожа, я испытывал удовольствие: прошел! Сорок три километра!

Я поставил личный рекорд: когда-то в Суворовском в летних лагерях мы ходили в походы. Но что это были за походы? Продолжительностью два-три часа, кругом - внимательные офицеры-воспитатели, сзади - санитарная машина...

"Пейте соленую воду, это предохранит вас от теплового удара!"

Все это словно в чужой, далекой, полусказочной жизни...

Крики, шум, суета.

- Ты видишь, гад какой, - слышу потом из коридора, - не хочет сидеть. взял да перекусил себе вену. Все стены, скотина, кровью залил.

- Хотел съехать на санчасть? Ну и где он теперь?

- В камере. Прикоцанный до носилок.

- Рапорт написал?

- А то!..

И вот я прошел пятьдесят километров. Почти пятьдесят, не дотянул с километр. Утром, в обед и вечером мне давали, наконец, горячее. Обычная тюремная баланда - синюшного цвета крупинка бегаёт за крупинкой. Но хлебная пайка все так же урезана. Я съел ее, смакуя каждый кусочек.

Не дают ложку - какая ерунда! В жизни так много излишеств!

Вспомнилась Петропавловская крепость. При Советской власти работает как музей. В камере, изнутри, на двери - "Рацион арестанта": хлеб, мясо, молоко... - три фунта, два фунта, три фунта... Список большой, всего не помнишь.

Самая страшная тюрьма царской России. Может, я чего-то недопонимаю?..

...А дрожь все сильнее и сильнее. Я уже заметил, что после десяти, когда ждешь отбоя, холод мучительный.

Но дальше идти, чтобы хоть чуть согреться, я уже просто не мог. Вот и сделал привал. Как солдат после тяжелого перехода. Хотя час, хоть полчаса, надо дать себе отдых.

Ноги гудят, но долго сидеть тоже нельзя: тумба делается ледяной. Через силу поднялся, доковылял до двери. Теперь стали слышны и шаги за стенами: монотонное шарканье многих лаптей. И вдруг я услышал громкий возбужденный шепот мужчины и женщины.

Я уперся головой в железо двери, стоять ровно просто не мог. Теперь я хорошо слышал похотливый шепот мужчины, игриво-заискивающий женский смех - Зюечка из хозобслужбы пришла убирать коридор.

Они стояли в дверной нише почти рядом с мной, отделенные только дверью. И шорох их одежды. Ее одежды!

И его хриплое дыхание. Грубое, наглое, громкое, прерывистое дыхание.

Я отошел от двери, прижался к стене. Надзиратель и Зюечка - обычное тюремное дело...

Ночью с меня сдернули одеяло и унесли в коридор.

В дверь стучали, помню, стучали, полусонный я открывал шею, потом снова натягивал одеяло...

После двух раз на третий последовало наказание.

Холод, мрак за окном и голый деревянный лежак.

Растер опухшие ноги, потом заковылял по камере. Мешал лежак, представил его к стене. И снова по кругу, изученному до отвращения: один, второй, третий...

К подъему прошел двадцать один километр. И вновь:

- Выноси самолет!

Во рту какой-то привкус, десны распухли, зубы пошатываются под давлением пальцев.

Аккуратно и медленно съел пайку, попил кипятку, посидел.

От шести утра до двенадцати ночи - восемнадцать часов. Двадцать один километр я прошел за ночь плюс сколько смогу пройти до отбоя. Это и будет мой новый рекорд.

Ну где бы я еще смог его поставить? И так, вперед! Только вперед!..

Время исчезло. Остановилось. Только шаги по камере, ведущие в никуда. И хаотические обрывки мыслей.

- Не сбиться со счета! И ни о чем не думать!.. Вперед!..

Круг за кругом, круг за кругом - бесконечная карусель. Десятки превращаются в сотни, сотни в тысячи, а я все иду и иду, временами не понимаю, куда и зачем, - выключаюсь, но продолжаю считать, пока вновь не возвращаюсь в происходящее. И так несколько раз: от полного отсутствия до реальной действительности, от исключения до ясности мыслей.

Уже я вне времени и пространства. Только считаю. Заканчивая сороковую тысячу, почувствовал вдруг страшную усталость, остановился, присел на корточки, закрыл глаза.

И тут же грохот по двери:

- Чего сел! А ну, вставай!

Пересел на тумбу, наклонил голову вниз.

Невидимый все стоял за дверью и наблюдал за мной.

Я наклонил голову еще ниже - новый грохот и брань. Тогда я выпрямился, насколько мог, уставился на волчек. Лишь тогда он ушел. Я слышал топот его сапог.

По резиновой дорожке, почти бесшумный, я все равно слышал топот его сапог.

Стало слишком холодно, и я поднялся. Болели ноги, было больно идти, и уже не было сил.

Он снова стучал, я стоял на месте, потом уселся, снова уставился на волчек...

Тяжесть все сильнее и сильнее наваливалась на меня, и я снова закрыл глаза, уже не думая ни о чем. Мозг погружался в сладкую дрему, уши как ватой заложило...

Дверь распахнулась. Вошли четверо, красномордые и явно поддатые. У переднего закатаны рукава. "Ну вот и "буй-команда", - догадался я, хотя видел их впервые, и попытался подняться на ноги. Но не успел.

Выкрутив руки назад, они защелкнули на запястьях наручники, с силой дергали за соединительную цепочку, пока наручники не перестали затягиваться, намертво врезавшись в кости рук. Когда я упал, начали бить ногами, били долго, с азартом и злостью, ожидая, когда я начну кричать.

Они любят, когда кричат.

Во-первых, это является показателем их работы. Показателем качества: если кричит, ясно, бьют от души, на совесть. Работают честно, не щадя своих сил. (А для чего же еще в каждой тюрьме есть своя "буй-команда"?)

Во-вторых, битье заключенного и его жалкие крики поднимают собст-

венное "я" работника и в собственных глазах (вон каким я стал! А кто он против меня?!), и в глазах, так сказать, коллег-сослуживцев. (Силен! Вон как дал в задых, враз памороки вышиб!)

И, наконец, это просто приятно. Приятно бить, когда безнаказанно.

И это должно быть чудесно, когда человек и работа находят друг друга. Когда работа превращается в одно удовольствие...

Между тем боль от наручников глушила боль от ударов. Дикая боль. Я чувствовал, что не выдержу, еще немного - не выдержу...

Перекатываясь под ударами, я наконец ощутил твердь стены. Тогда я резко оторвался от пола и с силой качнул головой назад. Со всех сил врезался затылком в стену.

Мрак, темнота прекратили мои мучения.

Очнулся я оттого, что на меня лили воду, прямо в лицо, из красного пожарного ведра.

Вокруг стояли какие-то люди, стояли и смотрели на меня сверху.

- Очухался, - произнес чей-то голос, и никого не стало, только щелкнул дверной автоматический замок.

И тут я окончательно пришел в себя, попробовал встать и не смог этого сделать. Болела голова, болело все тело, и я остался лежать.

Я лежал на мокром полу, с мокрой грудью и мокрым лицом и не мог понять, плачу я или еще не просох от купания. Меня колотило, трясло то ли от холода, то ли от рыданий.

Я лежал очень долго, может, час, может, два. Когда окончательно окончел, все же поднялся. Тронул голову - на руке осталась кровь. Постоял, держась за стену, и... снова пошел, шатаясь и останавливаясь, снова вперед и вперед, потому что ничего другого мне не оставалось.

И опять ночь, и опять сижу перед дверью, перед железной жестокой дверью, и жду, жду... Просто не хочется жить, потому что жить такой жизнью горько и унижительно и недостойно гражданина и человека.

Было б не так больно, обидно, если б чужие, враги, но свои, соотечественники!..

Это не укладывается в голове. Как жить после этого? Как?

Голые стены, ни крючка, ни зацепки... Вот оно, полное одиночество. Я совершенно один. Не на кого мне опереться, некому поддержать хоть словом!

Голые стены.

А если резкий разбег, и... в стенку?..

Надо быть мужественным, идти до конца.

"Господи! - невольно вырвалось вслух. - Помогите мне собраться с силами, помогите! Я знаю, это великий грех, но у меня нет другого выхода, помогите мне, Господи!"

Я сидел на проклятой тумбе, сидел и дрожал, и слезы лились у меня по щекам, я прощался с жизнью. Мне хотелось хоть чуть оглянуться назад на свою короткую жизнь, хоть чуть-чуть, и тогда - конец. Я знал, что поднимусь с тумбы и свершу задуманное. Просто минуту посижу и - вперед!.. Меня не будет, и мук не будет, и унижений, издевательств тоже не будет.

Я их обману...

Я сидел и дрожал, и мне было странно, что вот я прощаюсь с жизнью, а мысли - о холоде, о боли в ногах, и я не могу отключиться, настроиться на торжественный лад. А ведь такая минута. Такая минута!..

В левом отдушнике, что выше двери, что-то зашевелилось.

Из отдушины вылез гном. Маленький человек в шапочке-колпачке. И начал спускаться вниз.

Сквозь обтягивающую отдушник сетку он пролез беспрепятственно. Как это ему удалось?

Я смотрел на него, он спокойно спускался вниз и поглядывал на меня. А потом подошел и сел рядом. Его острая шапочка-колпачок лишь чуть возвышалась над тумбой.

На чем он сидит? Ведь под ним пустота, совершенно ничего нет.

Он сидел и молчал, словно давая мне время прийти в себя.

А потом он заговорил.

Он говорил, а я слушал, иногда отвечал. Он говорил спокойно и медленно, сидя все так же сбоку, глядя на дверь, как и я. И самое удивительное, что мы оба молчали, но наш разговор не прерывался ни на миг. И я многое понял в тот вечер, что дано не каждому смертному, а может, лишь избранному в жизни бесконечных и многотрудных страданий.

Я больше слушал и все смотрел на волчек и боялся, что надзиратель увидит его. Но волчек ни разу не вздрогнул. И это было тоже удивительно: волчек ни разу не вздрогнул за весь тот долгий и удивительный вечер.

- Зачем ты пришел ко мне? - спросил я в конце. И он ответил:

- Чтобы спасти тебя! - И встал, чтобы уйти, и сказал: - Во многом знании многие печали. Но тебе надо много познать. Живи. Страдай и узнавай. В этом твое призвание!

Грянул громкий звонок, тотчас загремела дверь, мой маленький гость,

спокойно пересек камеру. Он подошел к стене и начал подниматься вверх. Все выше и выше, пока не скрылся за сеткой отдушника.

А дверь уже распахнулась. Двое в зеленой форме, один высокий в фуражке, сдвинутой набекрень, другой, пониже, в надвинутой на самые уши...

- Спать - только лицом к двери. И шея должна быть открыта...

Они смотрят мне в глаза, пристально смотрят в глаза:

- И шея должна быть открыта!..

Но я не опускаю голову. Я не опускаю голову, хотя тот, что повыше, сделал уже полшага вперед.

"Во многом знании многие печали..."

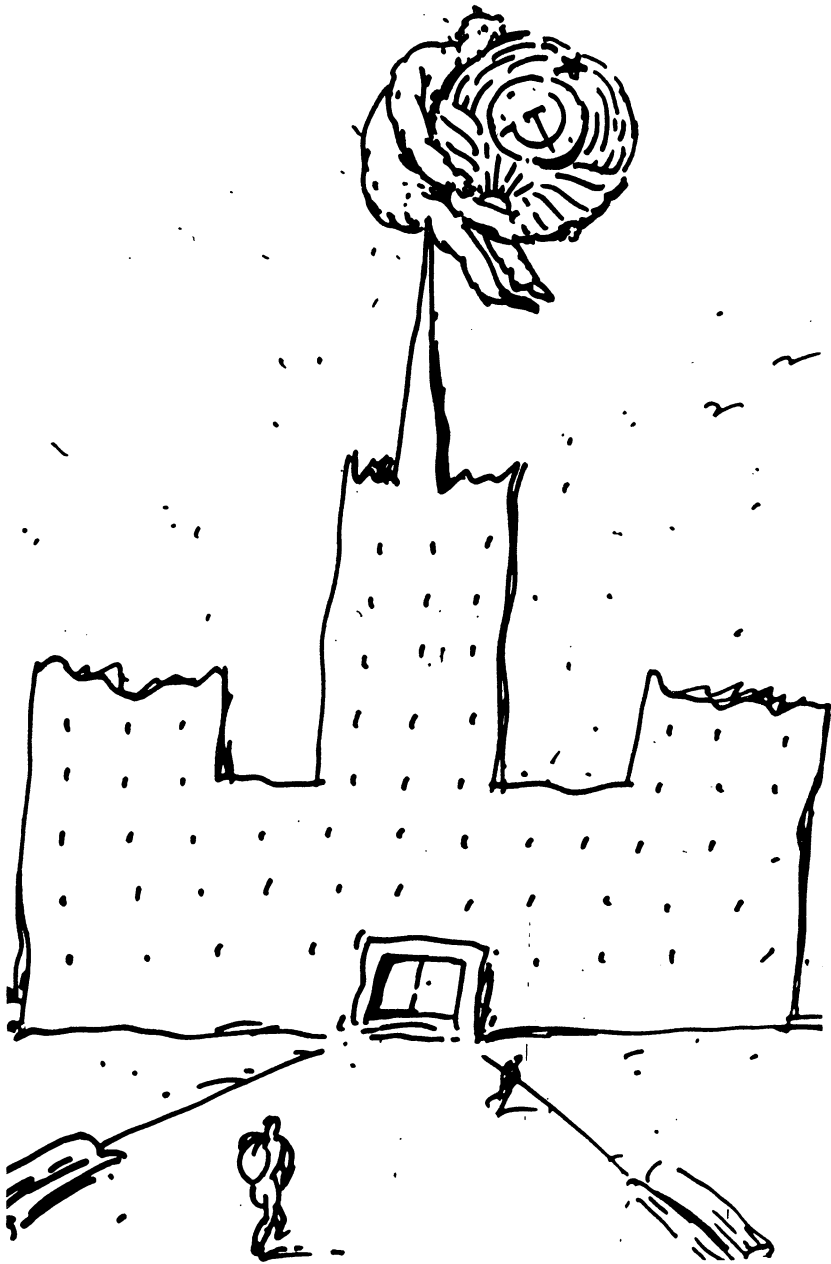
Я смотрю им в глаза. Мне надо много узнать. Я смотрю им в глаза - я начинаю узнавать истину.

Я должен ее узнать. Всю до конца.

Ибо в этом мое призвание!

N-ская тюрьма.





Я не люблю,

КОГДА МЕНЯ

ПЫТАЮТ...

*Представляем поэтов творческого объединения "Первый круг" (Москва) - Михаила Кочеткова (28 лет), Андрея Анпилова (35 лет), Владимира Бережкова (45 лет).*

---

**МИХАИЛ КОЧЕТКОВ****ДВОЙНОЙ АВТОПОРТРЕТ****1. БАЛЛАДА О ДЕТСТВЕ**

Здесь жизнь течет, как и текла, без изменений:  
углем красотки в зеркалах подводят тени  
и, взявшись под руки, выходят на прогулки  
к пустым бульварам, огибая переулки.

И в их накрученных головках, словно в сказках,  
всплывают милые брюнетки в водолазках.  
А наяву - лишь свист шпаны, да лай собаки,  
да бесконечные гуляния, да драки.

Под крик старьевщика: "Берем!" - старик украдкой  
несет старухино тряпье к чумной татарке  
и, сторговавшись, прячет выручку в подкладку,  
браня татарку и предчувствуя разгадку.

Подросток, сизый от прыщей, терзает скрипку -  
на зависть асов-палачей - изящна пытка!  
Там, как в аквариумах рыбы, расторопно  
старухи носом прилипают к потным стеклам.

Там я входил в большую жизнь щенком безродным,  
сок сорняком тянул с хрущевских огородов  
и, как ведется, ненавидел школьный зуммер.  
Я там весной родился и зимою умер...

## 2. АВТОПОРТРЕТ, НАПИСАННЫЙ ПО СЛУХАМ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО

Это ли я, проплывающий рыбкой  
по тихой заводи бывшей хрущевки  
в шапке, натянутой, словно улыбка  
провинциальной актрисы-дешевки,  
в полупальто, популярном лишь в Коми,  
невероятный постольку, поскольку  
слухи ползут: то ли я в Желтом доме,  
за буйный разум прикрученный к койке;

То ли на стройке народной, дерзая,  
юной кладовщице пел комплименты,  
вот и за то ее мужем Мазаем  
сечкой капустной зарублен в клозете!

Это ли я? Нагло и незаконно  
перемахнул, словно витязь библейский,  
из карантина живых, чьи кордоны  
крепче пикетов границ всероссийских?!

Это ли я?..

## ДВА АЛКОГОЛИКА

Два алкоголика на даче  
сидели третью неделю  
и, не закусывая, пили,  
о судьбах Родины судача.  
Один их них - покорный Ваш,  
второй - покойный ныне Гоголь  
с вороной черной, словно уголь,  
стоящей при дверях, как страж.  
И, кстати, не зря!

Ведь, пожелав жене "Адью!",  
уже спешит очкарик Чехов,  
не знаю, как и где прочухав,  
что без него на даче пьют!!!  
Но зря спешит наш санитар,  
мороз и вьюгу кроя матом,  
его в окне едва заметив,  
ворона скажет: "Братцы, каррр!"  
И мы, под стол бутылки спрятав,  
достанем толстый самовар,  
переведя свой разговор  
на тему редьки и шпината.  
И вот войдет великий классик.  
Мы скажем: "Ба! Какие гости!  
Хотите, выпьем чаю вместе?  
Или подать велите квасик?"  
И вот сквозь мутное пенсне  
увидит, как он прокололся, -  
что он сюда напрасно рвался  
через пургу и мокрый снег,  
и скажет: "Да, пошли вы в жопу  
с прокисшим квасом и заваркой!"  
И в ночь отбудет к санитарке,  
как Бонапарт в свою Европу...

А алкоголики опять  
достанут мутные бутылки  
и под чесание в затылке  
начнут о Родине пенять.  
И, убиваясь по Отчизне,  
в далеком доме у реки  
они сидят, как дураки,  
вот так всю жизнь...  
И после жизни.

## ОСЕНЬ

И снова осень. И, промокнув,  
дома похожи на больницы.  
Старухи, прилипая к окнам,  
хватаются за поясицы.  
Трещит на крыше дождь, как будто  
картошка на дешевом сале.  
И электрическое утро  
качается в универсаме.  
И снова осень: сотни в плачь, ты -  
сячи хлюпают носами;  
стоят деревья, словно мачты  
с оборванными парусами.  
И безработные матросы  
садутся вокруг стола на койках;  
носы покрылись купоросом  
не в дальних плаваниях, в попойках.  
Их жирные от рыбы пальцы,  
привыкшие, скорей, к моторам,  
хватают рюмки (лишь китайцы  
так удивительно проворны).  
Вдыхая в вечном заключеньи  
табачный дым грудною клеткой,  
им продолжать свое лечение  
не алкоголем, так таблеткой,  
и тешить душу, что когда-то  
(теперь уж скоро) собираться,  
но, уподобившись пернатым,  
на слабых крыльях не подняться...  
И снова осень. Лист газетный  
торчит из черноземной жижи.  
Нет силы пережить все это!  
Нет силы, чтобы просто выжить  
там, где соборы, как поленья,  
сожгли всего за треть столетья,  
где уж второе поколенье  
общается на междометьях,

где от богатства ломит спину,  
но вечно не хватает малость,  
где осень пахнет керосином  
и коммуналкой пахнет старость!  
И снова осень: значит, гетто  
для второсортных и семитов,  
где гениальные поэты  
потенциально инвалиды;  
в их посиневших пальцах сжаты  
большие метлы, но не перья,  
и, забивая уши ватой,  
скребут асфальты подмастерья.  
Соря смертями, как листвою,  
век затянулся високосный.  
Трещат дожди над головою,  
и бесконечно длится осень.  
А, впрочем, полно. Что-то слишком  
ужасное нарисовалось!  
Здесь можно жить. Здесь можно выжить.  
Или, точнее, встретить старость.

## ИЗ ВЫМЫСЛОВ

Нас занесет когда-нибудь с тобою  
в немую глушь зачуханного Энска,  
чей герб - продукт недельного запоя  
какого-нибудь Снейдерса из местных:  
над боровом скрещен топор, и кружка  
в изящном обрамлении редиса;  
забавный ребус, милая, к тому же  
способный озадачить кроссвордиста.  
Итак. Попав в провинцию, сначала  
ты познакомишься с женою мэра,  
а я с ее супругом - одичалым  
чиновником и вечным пионером.  
И от густого чая краснокожий,  
как на допросе, выложу, раскиснув,  
ему все факты, сплетни и, быть может,

немного из совсем интимной жизни.  
 И мэр, философически вещая,  
 продолжив тему о делении клеток,  
 заметит, что мы все в краю молчанья -  
 продукт, скорей, деленья, чем советов;  
 в наш век Советов и Рекомендаций  
 куда разумней молча слушать "липу",  
 чем возражать. Живи бы здесь Гораций,  
 в историю бы не попал, а влип он.  
 Ведь паралич и тюрьмы для безумных.  
 Лишь жирный суп, режим да свежий воздух  
 (из форточки) дает, конечно, в сумме  
 возможность для общественного роста,  
 а иже с ним и смысл всей нашей тряски,  
 зажатой в рамках заданной задачи...  
 И в подтверждение того он барски  
 укажет на супругу и "Хитачи";  
 и на тебя, как на пример обратной  
 теории с печальной развязкой.  
 И ты в ответ рассеянно из такта  
 ему подаришь кислую гримасу.  
 Мы будем воевать с тобой ночами  
 с клопами, обвязавшись полотенцем,  
 и, может быть, когда-то увенчаем  
 борьбу рождением уроженца Энска.  
 И, как ведется, в церковке музейной  
 ему устроим скромные крестины,  
 чтоб, не дай Бог, ему мое везенье,  
 загнавшее нас в эти палестины.

## ПОРТРЕТ ГЕРОЯ

Раскрытый нараспашку дом,  
 где жизнь видна, как на витрине,  
 где выставляют напоказ хозяйки нижнее белье.  
 То, что под крышей чердаком  
 должно быть голубиным,  
 то, мне поверьте, не чердак, то - райское жильё.



И он снимает этот рай

за три целковых в месяц.

Ах, вы не знаете Его, - Он истинно святой.

Обыкновенный человек

давным-давно б повесился,

а Этот, видите ли, жив и пьет свой кипяток.

Он без сомнения святой

(Один из той "Вечери"),

Он носит старенький хитон за сорок два рубля,

на переносице пенсне "а ля месье Чичерин",

его гнедая борода - невесть в кого "а ля".

Он, регулярно сделав взнос

растрепанной хозяйке,

собачью шапку до бровей, на воротник кашне,

в карманах руки утопив, спускается по шаткой,

прогнившей лестнице во двор,

и, глядь, - его уж нет.

Его боится детвора, старухи ненавидят.

Обидно кличкой Дуремар во след ему шипят,

грозятся в сумасшедший дом

сослать за то, что жидик,

за то, что гад он и шпион от головы до пят,

еще за то, что Он глухой, за то, что не ответит

такой же бранью им в ответ

и, не дай Бог, грубей,

за то, что, голову втянув, утонет на проспекте.

Да, что там много говорить -

за то, что нет слабей.

А там на улице мороз в лицо чахоткой лижет

и носовой платок в крови, промакивая рот;

Он, непонятно, чем живет,

чем, непонятно, дышит,

одно понятно - жизнь его туберкулез грызет.

Он, только за полночь домой

добравшись незаметно,

у низкой двери постоит, горбат и невысок.



и изобилие таблеток  
в кармане твоего жилета.

О том ли думал ты тогда,  
в седле покачиваясь мерно  
на Бриге легком, словно серна,  
вводя в чужие города  
своих раскормленных парнишей,  
уверенных в тебе, пижон,  
настолько, что, скорее, жен  
своих оставили б без крыши,  
чем бросили тебя.

Дружище,  
жениться поздно, кто ж возьмет  
мешок стареющего мяса,  
рыгающего после кваса.  
А это значит, славный род  
успешно катится к закату.  
Осталось проглотить омлет,  
твердить "Все суета сует"  
и ждать на лавочке горбатой  
могильщика с кривой лопатой.

## НОЯБРЬ

Ноябрь татаринoм раскосым  
шатался по Москве, свистя  
"Турецкий марш" разбитым носом;  
и на Блаженного крестясь,  
мечтал о нэпманской ушанке,  
о кабаках, где перебрав,  
танцуют чахлые цыганки  
под звон чужого серебра,  
даря дежурные улыбки  
чуть лысоватым королькам,  
точней, их кошелькам,  
там скрипки:  
в руках сапожников скрипят!

Там - Рай.  
А за окошком - Ад!

Галопом скачут топтуны,  
морозя ляжки на проспектах,  
спеша в объятия жены.  
А вот - провинциальный сектор.  
Он различим издалека  
по телогрейкам и тюкам.  
Россия, матушка Рассея,  
возможна ль ты без ротозеев,  
зевак, старух и старичков,  
глазеющих на транспаранты,  
на фокстерьеров, на Куранты  
и друг на дружку,  
как на кружку,  
глазеет дворник после сна,  
надеясь там найти вина!

Итог - страна разделена  
седым швейцаром при дверях  
на Адский холод Ноября  
и на манящий Рай вина,  
где, как известно, - я!  
Уря!!!

## СКУКА В ДЕРЕВНЕ

Скука в деревне. Стучат топорами,  
и рыбаки возвращаются с дамбы.  
Все развлеченья - следить вечерами  
за фитилем керосиновой лампы,  
петь дифирамбы глухому соседу  
и наводить к его дочери шпалы  
или, все бросив, закутаться пледом  
и с головой окунуться в журналы...

Только не трогают сердца страницы,  
Глупый роман до конца не дочитан, -  
Ах, героиня кончает в больнице!  
Как это глупо и нарочито.

Только не греют ни лампа, ни шашни  
с глупой девицей не первого сорта.  
Скука в деревне, и тянутся пашни  
от подоконника до горизонта...

Скука с утра и до ночи по кругу.  
Не прерывается скучная стройность.  
Третьего дня хоронили старуху.  
Гроб. Да десяток ровесниц покойной.  
И хоронили без долгих напутствий:  
тихо жила - пусть земля будет пухом.  
Может, немного прибавилось грусти?..  
Впрочем, кто я ей? И что мне старуха!

Скука в деревне. И в ставни под вечер  
не постучится ни гость, ни прохожий.  
Видимо, скукою дом мой отмечен,  
видно, и я карантинном обложен.  
За полночь взвоят цепные протяжно,  
и товарняк вдалеке им подтянет!  
Но неустанно стоит моя стража -  
скука по сердцу царапнет когтями...

Ночью туман опускается с дамбы,  
и силуэты домов и растений  
тонут. На свет керосиновой лампы  
вновь выплывают горбатые тени.  
Все та же сила ведет мою руку.  
Все те же строки и те же мысли:  
я сам себе сочинил эту скуку,  
просто живу и скучаю по жизни...  
Скука в деревне. Ныне и присно...

**ВЛАДИМИР БЕРЕЖКОВ****ПЕСНЯ ЧЕЛОВЕКА,  
КОТОРЫЙ ПРИДУМАЛ БОМБУ**

Опять не в сторону любви  
мостим дорогу, как попало,  
благих намерений навалом  
в программе счастья на крови.

И ухмыльнулась, как в кино,  
мечта, которую дождались,  
мы сами за булыжник взялись -  
он потянул всех нас на дно.

Поди скажи, что ты не брал,  
что ты хотел другого счастья, -  
всех уравниет в одночасье  
последний в небе самопал.

Привыкли мы - две тыщи лет  
все ждут последнего мгновенья:  
кто верует - с большим терпением,  
а тут и веры больше нет!

Остался рубль на такси.  
Жизнь не признаешь, как ошибку.  
Держи уверенней фальшивку  
и, как ученый, возгласи:

Не я - другой, не раньше - позже,  
и в этом нет моей вины -  
я бомбу сделаю, и больше  
не будет на земле войны...

\* \* \*

Я в перестройку не могу не верить -  
я это видел тридцать лет назад,  
хотя не знал про чернобыльский ветер,  
про диссидентов, водку и Герат.

Военнослужащий или чиновник в банке -  
мы все равны, мы все одной помолки;  
я пил "Агдам" в Москве, въезжая в танке  
то в Прагу, то в газету "Комсомолка".

В душе и в теле сохраняя бодрость,  
мы слушаем бесспорные слова...  
Нас Родина толкнет еще на подлость -  
поскольку знает, что всегда права.

\* \* \*

Я не люблю, когда меня пытаются,  
мне неприятен гвоздик под ногтем.  
Производительность труда не возрастает,  
а падает и качество притом.

Когда идешь в Свяжский переулок,  
туда, где ждет тебя райпытоотдел,  
так негуманен кажется и гулок  
твой персональный маленький расстрел.

Мы знаем, что бюджету не хватает,  
и что со всех сторон одни враги,  
но что-то слишком нас порой пытаются -  
испанские - не надо - сапоги.

Я стал бояться электрического тока,  
увиджу кипятилок и весь дрожу,

и отменить я пытки понемногу  
со всем гражданским мужеством прошу.

Конечно, может, я чего сгущаю -  
ведь не отменишь сразу все подряд.  
Оставьте дыбу, я по ей скучаю,  
но пусть не так хоть яицы болят.

## СТАРАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ ПЕСНЯ

*В. Делоне*

Ты умер вдалеке, на станции чужой,  
не стала для меня твоей - твоя могила,  
и я остался здесь, а ты вдвойне ушел.  
Как нас разорвала большой машины сила!

На Пятницкой дома как были, так стоят;  
знать, руки не дошли, не тронули их руки.  
И поезда опять в Абрамцеве зудят.  
В Сибири, как всегда, передний край науки.

Но многие ушли, Губанов, например.  
Он про тебя не знал, так ты ему там свистни,  
возьмите что-нибудь на райский свой манер  
и выпейте вдвоем за мой остаток жизни.

Мы будем мы - пока вы помните о нас,  
пока летит с небес дурманный свет свободы;  
не оставляйте нас, особенно сейчас,  
в решающие дни, в сомнительные годы.

Да вы и сами счет еще не подвели -  
пока что точки нет, и это нам виднее,  
и перед вашим небом не оправдать земли,  
ни той, что далека, ни этой, что роднее.



## ГУБАНОВ

Благопристойные друзья  
и проститутки с алкашами!  
Как с вами нынче пил бы я  
на деньги, что цветы зажали.

Но в пене вашей хмеля нет -  
прокисли и дела и рожи,  
последний бродит в вас привет -  
стихов моих живые дрожжи.

Какая осень на дворе!  
Какой стакан вина налили  
в березовой моей дыре,  
в России, где меня забыли

благопристойные друзья  
и проститутки с алкашами,  
где каждая моя семья  
моим читателям мешает,

где каждый рвет мои куски,  
чтобы остаться рядом, рядом, -  
вы и такие мне близки,  
как рюмка, что покоит ядом.

Ты розу мне еще подашь  
и будешь ластиться отныне -  
но я теперь уже не ваш;  
уже не ваш, мои родные.

\* \* \*

Декоративное житье,  
как керосиновая лампа;  
я с детства полюбил ее,  
свой угол освещая слабо.

Не так, видать, судьба плоха,  
ее укус - укус осиный,  
и копоть на стекле стиха,  
как гарь на лампе керосинной.

Мой черный стих квартирой плыл,  
гостей и стены беспокоя.  
Я хорошо, наверно, жил,  
раз мог придумывать такое.

Восьмидесятые года.  
Закрывают лавки с керосином.  
Их не откроют никогда  
среди валютных магазинов.

Мне б лампу к черту потушить,  
разбить стекло недорогое,  
из дома выйти, в мире жить,  
где солнце общее такое...

\* \* \*

Мы встретились в Раю.  
За нашу добродетель  
Господь, прибравши тело,  
и душу взял мою.  
Увы! Его мы дети,  
нам жизнь уже не светит,  
я песенки пою.

А в раевом вокзале  
я купил азалий,  
апостол Петр мне сам их  
в букетик завязал;  
друзья встречают в зале,  
они, конечно, взяли,  
один из них, с усами,  
сказал, что завязал...

Эй, жизнь, привет - подарок!  
Ни разу не ударив  
и разменяв задаром  
под тару для вина,  
бросались мы годами,  
ну а потом гадали:  
где гость, а где - татарин,  
и с кем нам пить до дна...

Грехи, года, законы  
сменились котильоном,  
к тому же очень скоро  
вернут нам для услад  
наш дворик, где пионы,  
где рвутся шампиньоны,  
где у забора споры  
ромашки и числа.

Нет мук - и нам не больно,  
в ограде рая - вольно;  
наверно, лучшей доли  
для нас на свете нет.  
Что жизнь - чего там помнить! -  
а Рай любовью полон,  
лишь мысль: не желтый дом ли  
Господь подсунул мне...

Мы встретились в Раю.  
За нашу добродетель  
Господь, прибравши тело,  
и душу  
взял  
мою...

**АНДРЕЙ АНПИЛОВ****ПОЭТ И ГРАЖДАНИН**

Пока поэт с бандитской рожей  
дымит отравой в потолок,  
спит гражданин - супруг хороший  
и молодежи педагог.  
Он спит, наполненный кефиром,  
любитель жизни и газет,  
пока общается с эфиром  
с бандитской рожей поэт.

Спит гражданин - предельно ясен  
и атлетически сложен.  
Поэт, как никогда, опасен  
и до зубов вооружен.  
Он смял какую-то бумагу  
и точит, сволочь, карандаш...  
Но гражданин не лезет в драку -  
он спит, храпя на весь этаж.

Храпит, голубчик, каждой ночью,  
спортивен, меток, свеж и бодр.  
Уже поэт походкой волчьей  
блевать выходит под забор...  
Такой способен и убить  
за строчку, вырванную с мясом!  
Я так хотел поэтом быть,  
но гражданином быть обязан.

## ПЕСЕНКА О СВЕТЛОМ БУДУЩЕМ

Не торгуют на паперти краденым,  
добрым людям свободу дают.  
По советскому бывшему радио  
запрещенные песни поют.  
Тишь да гладь от Москвы до Саратова,  
не полощут знамена войска.  
И тоска по ночам не царапает  
просвещенного члена ЦК.

Сколько совести пропито, граждане...  
Сколько жизни легло под сапог...  
Но - не вышло, начальник, по-вашему.  
Значит - есть над Россией Бог!  
Комсомольцы давно с комсомолками  
православных рожают детей -  
так что спи под кремлевскими елками,  
сам наукой своею владей.

Ты ко мне подойди как положено  
да с собою за стол посади.  
Сколько разного нам и хорошего  
можно сделать еще впереди!  
Ты, начальничек, факты позорные  
выгребай-ка, не жмись, из печи;  
диссидентские песни задорные  
для народа, поэт, настрочи!

## НА ОСТАНОВКЕ

Низкие тучи рассвет волокут.  
Хмурая оттепель с привкусом псины.  
И проступают на ржавом снегу  
бледные стены жилого массива.

На остановке дежурный сержант  
дымом коптит запрокинутый ворот.

Мимо забора ныряют, шурша,  
желтые фары ночного мотора.

Что же, следи, как печаль моросит,  
как фонари догорают бессильно.  
Боже, как ветер бензином сквозит  
с дальних окраин до сердца России.

Что же, терпи, прислоняйся плечом  
к стойке железной вдвоем с папиросой,  
если на вечном посту обречен  
здесь, на последнем торчать перевозе.

Это ль не мужество - век сторожить,  
в слабые дали глазами вращая,  
здесь, где под матерный скрип сапожищ  
в небе дрожит воробьиная стая.

## ПРОЩАНИЕ С ОКРАИНОЙ

Разопьем из горла. Подобьем, что ли, старые бабки  
среди чертовой тары, наваленной за магазином.  
На любом пустыре, где вчера еще снега охапки,  
ныне чучело жгут, окатив из ведра керосином.

Как печальна весна. Узнаю тебя, северный климат.  
Догорает огонь и таинственно жизни свеченье.  
И последние мистики Малой Грузинской и Химок  
все еще одобряют печально мои сочиненья.

Все же в ноги судьбе я ни разу не падал, как турок.  
Был в строю рядовым, студиозусом и обормотом.  
И с людьми расставался, делил на затяжки окурков.  
Изменял ремеслу и выруливал за поворотом.

Вот я весь на виду. Как мне век ни сворачивал шею,  
никого не хочу называть, даже партию, сукой.  
Ничего не боюсь, лишь тебя, дорогая, жалею.  
Дай-ка выпьем вина, посидим перед новой разлукой

на задворках Москвы, на расшатанном ящике тощем,  
на окраине, где был и я по ранжиру обломан,  
где не знаю зачем для березовой серенькой рощи  
из себя, как бурлак, все же выволок доброе слово.

\* \* \*

О, дай мне Бог, когда-нибудь  
среди вымершей округи  
вино с самим собою дуть,  
дотягивать окурки.

В приемнике послушать речь,  
и сторожем при даче  
вполглаза жар в печи стеречь  
и бок шерстить собачий.

Чтобы в прокуренных насквозь  
корявых моих пальцах  
пускал дымка я на авось  
колечки и овальца.

Чтобы грибами плащ пропах,  
и снова детство пахло  
на замусоленных полях  
у жизни моей дряхлой.

И долго будет дождь бурлить,  
и дом скрипеть в суставах.  
Дай, Господи, гнездовье свить,  
где б волком выть под старость.

И только слезы оботру  
упрямой пятернею  
перед дрожащим на ветру  
рассветом и травую.

## ПРИЯТЕЛЮ

Полукровка. Что-то в этом  
есть от топота коня.  
В полуночных топках ветер  
так твердит названия  
всероссийских полустанков,  
посуливших вечный кров,  
где в мальчоночке на санках  
ты признать себя готов.

Полукровка. Над вагоном  
полумесяц и звезда.  
Что-то в этом вне закона,  
вне загона и стыда.  
На любой попутный транспорт -  
только паспорта клочки.  
Ошалели от цыганства  
твои черные зрочки.

Что за чертова сноровка,  
как, прикусывая ус,  
даму черви, полукровка,  
покрываешь, словно туз;  
как, в застиранной сорочке  
запивая анальгин,  
ты натянешь злые строчки  
на гвардейские колки.

Поукровка. Недотрога.  
Городская маета.  
Одиночество, как деготь,  
налипает в угол рта.  
И привычное лекарство  
выдаст, мелочью звеня,  
продавщица вместо царства  
и арабского коня.





SHEIN

ВИКТОР КОКЛЮШКИН

**Блеск**

Маленький роман

*Виктор Коклюшкин родился в 1945 году в Москве утром. Детство провел, бегая по крышам и гоняя голубей. Возможно, отсюда привычка чаще смотреть в небо, а на суету жизни свысока. Любимый цветок - тот, который пробивается сквозь асфальт.*

*Посвящается всем!*

## НАЧАЛО

В Риме было жарко, в Лондоне - дождливо. И я поехал в Париж.

Ах, Париж, Париж!..

Компания у нас в купе подобралась незатейливая: поручик лейб-гвардии гусарского полка Глебов, студент университета Никита Скворцов, редактор еженедельника "Губернский вестник" Водовозов-Залесский и я.

Студент большую часть пути молчал и бил мух логарифмической линейкой, редактор, тихо поскуливая, читал рассказ "Каштанка", а мы с поручиком Глебовым играли в шашки.

Играть с поручиком было трудно, потому что он вместо съеденных мною шашек, ставил на доску пробки от бутылок, фантики, спичечный коробок и портсигар с монограммой "Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай".

Студент сразу невзлюбил поручика и, когда кончились все мухи, недобро поглядывал на его затылок.

На станции "Н-Товарный" дверь купе неожиданно открылась, к нам вошел жандармский ротмистр Ворошесев и принялся обыскивать Скворцова.

Студент стоял бледный, а на пол из карманов сыпались брошюры, воззвания, револьверы, динамит и глобус, где все острова и континенты были окрашены в красный цвет.

### *Глава первая "Взрыв"*

Ротмистр Ворошесев любил женщин и не любил революционеров. А те и другие не любили его в равной степени. И за что его любить: вислоносый, как индюк, красноглазый,

как кролик, да еще в голубом жандармском мундире он своим видом, словно предвосхищал скорое появление абстрактной живописи.

Женщины ему нравились: блондинки, брюнетки, шатенки, худенькие, полненькие...

По воскресным дням он ходил утром в церковь, а вечером в публичный дом. И там, и там его принимали уважительно. Правда, в церкви отец Никодим всегда норовил обделить Ворошеева благословением. У них были свои счета. А хозяйка заведения мадам Буфф при его появлении надевала на швейцара Егора паранджу.

Среди прочих клиентов Ворошеев выделялся вкусом и несусветными претензиями: он требовал, чтобы ему говорили "Мой любимый", "Я без тебя жить не могу!", после чего долго представлял себя любимым и, если представить не удавалось, уходил с гордо поднятой головой.

В сущности он был глубоко несчастный человек, о чем не подозревал, так как подозревал всех других.

Ворошеев сидел в своем кабинете и читал доносы, которые были отпечатаны на бланках, куда вписывалась только фамилия. Бланки пачками раздавались агентам и осведомителям, многие из них были неграмотные, ставили вместо фамилии крестик, но виновных все равно находили.

Бланки употреблялись разные: про политические заговоры, грабежи, подлоги, убийства. На самом видном месте в кабинете висели образцы, заполненные на Стеньку Разина, Емельяна Пугачева и студента Скворцова.

Ворошеев по утрам читал сначала доносы, потом газету "Жандармские новости", потом смотрел на портрет императора, придавая лицу верноподданное выражение, и только потом принимал агентов.

Сегодня доносы были скучные, как осенний дождь. А один фальшивый, это осведомитель дворник Поликарп писал на себя, чтобы получить побольше денег. Ворошеев взял "Жандармские новости" и с интересом погрузился в чтение статьи "Укоротим руки", но тут скрипнула дверь, и в кабинет вошел агент 3-й категории по кличке "Муха". О нем можно сказать: он был умный и хороший, осенью носил га-

лоши. Летом белую рубашку, полотняные штаны. Он не злился, не ругался, встречным людям улыбался. Он был добрый и хороший только внешне, а внутри - черной злобой напоенный, жуткой страстью опьяненный, он готов был все на свете очернить и утопить!

Звали его Агафон Тихонович Пестряков. Он вытащил из-за пазухи бомбу и положил на стол.

- Что это? - спросил Ворошеев.

- Бомба, - сказал Пестряков, - через пять минут взорвется.

\* \* \*

Губернский город Н. славился своим умеренным климатом и источниками минеральной воды, известной под названием "Н-ская".

В летнее время к источникам приезжали именитые особы, известные артисты, ученые, из дальних уголков России брели сюда калеки, юродивые. Строем, с вениками приходили солдаты местного гарнизона, по команде скидывали исподнее, обрушивались в водоемы.

По воскресеньям у центрального водоема играл духовой оркестр. По вечерам слышались гармошки, балалайки, крики "За что?!", "Наших бьет!", полицейские свистки и колотушка сторожа Демидова - седобородого старца, бывшего иеромонаха, разуверившегося в религии, потому что никак не мог победить свою плоть. Он даже когда смотрел на святые лики в церкви, видел обнаженные женские тела, очень от этого страдал, боролся с самим собой и умер в 1932 году, оставив после себя колотушку, тулуп и 127 детей разного пола и возраста.

Ближе к железнодорожной станции располагался сам город: булыжные мостовые, ядреный запах навоза, куда не глянешь - церкви, а рядом с тобой - кабак.

24 августа того года в городе Н. царило необычное волнение: когда карета генерал-губернатора проезжала мимо жандармского управления, в нее бросили бомбу.

Губернатор ехал к зубному врачу, заранее съезжившись от страха, поэтому испугался мало. Осколками булыжника ему в трех местах продырявило цилиндр и выбило больной зуб. Кучер Серафим, как только бомба взорвалась, крепко зажмурился, поэтому все осколки пролетели мимо него, перебили построжки, оглобли, изрезали сбрую, и лошади, получив неожиданную волю, рванули в свою конюшню.

Удивительное это было зрелище: губернатор, сидящий на мостовой и держащийся за щеку, облако пыли и мусора, опускающееся вниз, и две перекошенные от испуга физиономии, выглядывающие из окна второго этажа жандармского управления.

Губернатора и кучера тут же окружила толпа, полиция начала наводить порядок: свистки, зуботычины, крики, зашныряли в толпе сыщики и бойкие мальчишки, откуда-то появился пьяный мастеровой, оравший: "Всех поубиваю к такой-то матери!" Интеллигенты жались кучкой: поблескивали пенсне, слышались слова "Равенство...", "Братство...", "Господа, я ничего не знаю!"; на перекрестке Губернской улицы и Бычьего тупика появилась орава лобазников в тяжелых фартуках и с засученными рукавами, с противоположной стороны подходили фабричные рабочие. И чем бы все это кончилось, если бы не...

Вопль "Солдаты!.." прорезал уличный гомон. Солнце вмиг зашло за тучу, захлопнулись в домах рамы и ставни, хрустнуло под чьей-то подошвой пенсне, упала и покатилась женская соломенная шляпка, и - опустела Губернская, лишь две испуганные физиономии у стекла в окне второго этажа. И печатный шаг солдатский все ближе и ближе...

Полковник Рьянов всегда избегал смотреть правде в глаза, поэтому шел с закрытыми глазами. Первый залп громыхнул, как майский гром. Зеркальная витрина "Колбасы Ипатьева" разлетелась вдребезги, рухнула к ногам губернатора сбитая влет ворона, нежно и кротко чмокнули пули колокола Сретенского собора. И тут же в пожарной части на каланче взвился вымпел, распахнулись широкие ворота, рванули битюги грудью вперед, запрыгали на колдобинах бочки, мужественно напряглись лица топорников...

Кучер Серафим давно порывался бежать, да как побежишь, если во время взрыва кушак намотался на ногу его высокопревосходительства?

Но уж коль засвистели над головой пули, выбирать не приходится. Припустился Серафим без оглядки, только и слышал, как сзади что-то колотится о булыжник и вскрикивает.

### *Глава следующая "Прозрение"*

В городе Н. губернатором был немец. Жена его княгиня Мария Георгиевна, урожденная Горшкова, тоже плохо говорила по-русски. Она сначала выучилась французскому, потом английскому, потом немецкому, а когда дошла очередь до русского, ей было уже шестнадцать, и ее мечты и мысли были заняты совсем иным.

Детей - Гришеньку, Наташеньку, Александру и Кириллу воспитывали гувернеры - немцы, французы и англичане, поэтому дом губернатора в городе Н. был как бы маленькой Западной Европой в беспредельных просторах России.

Губернатор долго ломал голову: если будет война, то с кем? И если с Германией, то за кого тогда он? Ему было жалко расставаться с Россией, он уже привык просыпаться пополудни, до обеда зевать и бродить в шлепанцах на босу ногу по комнатам. Он уже привык к пожарной каланче, на которой сушилось белье брандмайора Орлова, привык к многочисленным престольным праздникам, когда ешь и пьешь во имя святых великомучеников, и главное - ах, какое это блаженство! - к минеральным источникам. Бывало, полежит в ванной день, и такое ощущение, будто стал на день моложе!

Звали губернатора Густав Августович Гольц. Немецкая строгость в чертах лица его была уже основательно размыта российской простотой, и от этого внешность Густав Августович имел исключительно приятную. Сочинительством он не занимался, новых порядков не выдумывал и слыл

оттого в столице человеком государственной мудрости и надежности. Думать он в служебное время исправно старался по-русски, а поскольку по-русски он понимал плохо, то думал мало. А на подчиненных он или хмурил брови, или топал ногой, и его отлично понимали.

В тот день, 24 августа, губернатор так хмурил брови, что они опускались ниже носа. И так топал, что в конце концов не сдержался и пустился в пляс.

Перед ним стояли: жандармский полковник Ерофеев, полковник Рьянов, брандмайор Орлов, купец первой гильдии Колотилов, банкир миллионер Бурилло, священнослужитель о.Никодим, редактор "Губернского вестника" Водовозов-Залесский и жандармский ротмистр Ворошеев.

Знаки различия трепыхались на мундирах, ряса у священнослужителя вздувалась, как парус. Водовозов-Залесский, нарочно надевший черный фрак, теперь жалел, потому что даже фрак побелел от страха. Купец Колотилов лысел и худел на глазах, еще недавно он входил в залу толстым гривастым увальнем, а сейчас - тощий и перепуганный, суетливо поддегивал штаны, чтобы они не свалились.

Разве что банкир миллионер Бурилло вел себя достойно, да и к губернатору (Густашке) он пришел не потому, что звали, а больше из любопытства: хорошей оперетки в городе нет, цирк уехал, в драматическом театре вчера Отелло спьяну вправду задушил Дездемону, и теперь в помещении (сообразно новейшим достижениям английской криминалистики) повсюду выявляли отпечатки пальцев - скука!

Пляска губернатора означала: вприсядку - вот до чего довели! Руки в стороны - вот такая беда грозит нам всем! Руки в боки - вы меня еще не знаете! Прыжки с поворотом - как прикажете доложить Государю Императору?! Четка - выражения, не употребляющиеся в печати.

У ворот гоголем прохаживался кучер Серафим. На кафтане новенько поблескивала медалька. В голове роились дерзкие мысли: была ли такая у Суворова? И кто теперь должен первым здороваться, он или околоточный?



\* \* \*

- В результате, - диктовал и ходил из угла в угол ротмистр Ворошеев, - установлено, что взрывоопасный предмет, в дальнейшем именуемый бомбой, был изготовлен неизвестным лицом... "Харей",- мысленно поправляя себя ротмистр, - и предполагался для умерщвления высокопоставленной особы, а обнаружен был в бане...

Агент 3-й категории "Муха", высунув язык, старательно записывал слово в слово.

Эх, сколько судеб пестряковских передумал Ворошеев в первую бессонную ночь! Представлял его и утопленником, и сгоревшим на пожаре... На крышу даже среди ночи полез, кирпич раскачивал над входом в жандармское управление, так с кирпичом в руке и пришлось спускаться - вспомнил, что, кроме Пестрякова, и он тоже в эти же двери входит! Была крамольная мысль объявить Пестрякова сумасшедшим, но в России испокон веков к мнению сумасшедших прислушивались внимательно.

"Подкупить! Подкупить подлеца! - думал Ворошеев, ворочаясь под утро в мятых простынях. - Дать ему сто... двести... А он тебя ровно за двести один и продаст!"

Казалось, выхода не было, казалось, надо было каяться и просить у губернатора помилования хотя бы в долг. Но, слава Богу, жид один надоумил справить "Мухе" новые документы, что, мол, Тимохин он Иван Иванович, на службу поступил через день после взрыва. А кто ж ему, черту косоротому, поверит, что он Пестряков, если документы его старые в печку бросить?!

Если бы Ворошеев так не любил жидов, он бы его расцеловал! Но стоило ротмистру подумать об этом, как тут же влепил советчику пощечину и потом жалел, что руку отшиб.

Получив новые документы, "Муха" тоже успокоился и к месту и не к месту повторял: "Меня когда на службу-то определяли, аккурат после взрыва..."

- Написал? - спросил Ворошеев, останавливаясь за спиной Тимохина.

- Так точно, вашескобродие.

- Подай сюда.

Ворошеев перечитал написанное - как будто складно. Но одного не хватало. Од-но-го! Виновника!

\* \* \*

В последнее время Ворошеев мог думать только о бомбе. В бане вот уже три дня сидела засада: дюжина голых полицейских с утра до вечера стегала себя вениками, намыливалась, смывалась...

Два раза Ворошеев лично приходил в баню, правда, не раздевался - брезговал. Выливал на мундир шайку воды, крикал, оглядывался. А что тут увидишь? Да эти еще дурни держиморды поначалу вытягивались голопузые и честь отдавали. Тьфу, никакой конспирации!

Накануне опять вызывал полковник Ерофеев, смотрел, не мигая, своими маленькими глазками, молчал, душу выматывал. Знал, что человек сам себя сильнее запугать может. Но и Ворошеев тоже не промах, знал: верный способ успокоиться - считать мысленно деньги. Тогда и выражение лица учтивое, и в глазах серьезность.

### *Глава следующая "Лица за фикусом"*

Аристарх Иванович Кашеваров шел по Губернской. И такое у него было впечатление, что она, подлая, выползает у него из-под ног.

Вчера засиделись у Водовозова-Залесского, говорили о судьбах России, поэтому пили исключительно водку. Сегодня пенсне на носу Аристарха Ивановича сидело косо, а в глазах стояла боль тихая и глубокая, как вода в омуте.

Аристарху Ивановичу было тридцать лет, обычно он выглядел на 29, а сегодня - лет на девяносто. Он был адвокатом, но всю жизнь защищал только себя. Покойный родитель оставил ему 2-этажный дом в Кургузом переулке и

13 тысяч годового дохода, от которых Аристарх Иванович сначала хотел отказаться из-за цифры "13".

Батюшка его покойный занимался торговлей: по весне наполнял н-ской минеральной водой бочки и обозами отправлял во все концы России. Не ведал только покойный, что возчики, лишь выезжали за город, воду выливали, чтобы ни лошадей, ни себя понапрасну не мучить, ехали порожними, а наполняли бочки уже при въезде в тот или иной пункт назначения из местной речонки или, случалось, из придорожной канавы. От этого у потребителей н-ская вода считалась особо целебной: так, в Твери пользовались ее при расстройстве желудка, в городе Згунь (у них мыловаренный завод) считали, что нет ничего полезнее при запорах и тягостных мыслях. А москвичи добавляли ее в керосин, от чего лампы горели ярче, но иногда взрывались.

Трактир Хвостова стоял на Губернской улице прямо посередине, чтобы никто не мог его ни обойти, ни объехать. Редко кому удавалось проскользнуть мимо, но и того ловили проворные половые, предлагали отведать севрюжью уху, налимы потроха, грибочки-ядрышки, икру такую-сякую-всякую, ну и для аппетита, что пожелаете - рябиновой, можжевеловой, на огурцах настоенной, на тыквенных семечках, на солнце на подоконнике, но особенно хороша наливочка "Хвостовская" - на слезе сиротской, вдовьей, в подвале темном ни один год выдержанная. Такой наливочки хряпнешь, и аж шея вытягивается то ли от страсти, то ли сама в петлю лезет.

Хороши бывали также бекон, расстегаи, расплюи, копчености всякие, маринады, но лучшее, что было в трактире, это, конечно, самовар. Огромный, как удивление, сопящий, как паровоз или даже как кит, потому что было в нем что-то живое и кипятик он отдавал, как кровь свою. Жара от него в трактире была невероятная, бывало, зимой и печи не топили. Куда он потом подевался, этот самовар? Уже при Советской власти, в 25-м году, председатель горсовета Иван Терентьев искал - хотел электростанцию сделать на самоварной тяге - не нашел. И позже любители старины -

коллекционеры искали, сколько старух обошли, чего только им не предлагали, а самовара не смогли сыскать. Узнали только, что самовар был медный, а вода в него заливалась холодная...

Кашеваров вошел в трактир, а его ждут уже с подноском. А на подносике бокальчик специальный опохмелочный - емкость в самый аккурат, вес нулевой, прочность, - выделанный в свое время из дамасского клинка капитана Полосухина.

История клинка-бокальчика проста и поэтична: много лет назад молодой юноша Салтык полюбил красавицу Зульфию. Любовь юноши была столь велика, что смотреть на него приходили люди из дальних стран: тянулись караваны из Бухары, Египта, Александрии, привозили хлопок, урюк, тесьму... Так в городок, где жил юноша, попал кусок железной руды. Но сколь велико было чувство юноши Салтыка, столь было оно и безответно. И тогда влюбленный решил убить себя, чтобы хоть этим доставить радость своей избраннице.

Восемь дней и ночей ковал он клинок, придавая ему гибкость стана возлюбленной, остроту ее взгляда и прочность отказа. На девятую ночь, когда клинок был готов, возлюбленная Салтыка вдруг заболела и умерла.

После этого о судьбе клинка ничего неизвестно вплоть до второй половины XIX века, когда капитан Семеновского полка Полосухин выиграл его в карты у поручика Пуха. На спор, что сталь дамасская, поручик заложил клинок в пушку и выстрелил. Хоронили Пуха со всеми воинскими почестями.

Хозяин трактира Хвостов получил клинок от капитана на ярмарке в Нижнем Новгороде. До сих пор Хвостов вздрагивает, вспоминая, как снежным утром к нему в трактир вошел совершенно голый заиндевший человек с клинком в руках и попросил взамен опохмелиться и штаны.

Поначалу клинком рубили мясо на кухне, но потом стали замечать: то мясо костлявое, то с тухлинкой... И тогда Хвостов решил, от греха подальше, сделать из клинка бокальчик. И что удивительно, хоть трактирщик и не знал

историю любви юноши Салтыка, но бокальчик получился на редкость какой-то крутобокий, изящный, притягательный.

Аристарх Иванович опорожнил бокальчик, сел за столик под фикусом и почувствовал себя, словно в какой-нибудь Флоренции. С другой стороны растения, пряча лица за широкими листьями, сидели двое.

Кашеваров наполнил стопку, наколол на вилку грибочек, вздохнул и... перекрестился. В Бога он не верил, потому что однажды в юности совершил нехороший поступок, ждал кары небесной и не дождался, но перед трапезой крестился всегда для аппетита.

Те двое за фикусом пили чай. Один из них, глядящий исподлобья даже на баранки, был старый разбойник Чашников (кличка "Чашка"). Мальчонкой еще он попал к Дубровскому, был в каторге, бежал, опять гремел кандалами. На волю вышел, когда уже ни соратников, ни крепостного права.

Второй - Клюквин, человек идейный, из дворян. Кончил, как он говорил, два университета. То есть взорвал. Лицо у него было, словно он поджидает, когда ему удобнее схватить вас за горло. Роста он был высокого, но сутулый, потому что прятал лицо. Его разыскивали по всей России. Было арестовано три тысячи Клюквиных, а его так и не поймали. Впоследствии его поймают ЧК, и о дальнейшем жизненном пути Клюквина уже ничего неизвестно.

- Позор! - шипел Клюквин. - Лучшие люди уже действуют, а мы?! Сидим, сложа руки!..

Чашников убрал свои кулаки под стол, моргал виновато.

- Истинные сыны народа не жалеют своих жизней, а мы распиваем чай!..

Чашников подавился баранкой, закашлялся.

- Интересно, что они ставят своей целью? - гадал Клюквин. - Какая у них программа?..

"Прог-рам-ма... - думал Чашников, - перерезать всех богатеев, вот те и вся программа! Пустить им кровь по всей Руси-матушке, и - вся идеология! А то напридумывали чер-те что, прости Господи!"

Чашников потянулся к баранкам, но руку не донес, мурашки рассыпью пробежали от поясницы до затылка. Кожей почувствовал старый разбойник - следят!

Половой Щиплев наблюдал в щелочку из посудомойки. Все было подозрительно - звуки, запахи. Особенно фикус, самовар и господин под фикусом. Уж очень радостно он ел, несмотря на то, что в городе третий день траур по выбитому зубу губернатора. Как-то не по-нашему он ел: без жадности, на брюки и на пол ничего не ронял... И раньше Щиплев встречал этого господина и теперь с ужасом убеждался, что он и раньше вызывал у него подозрения.

Ладони зудно чесались. "К деньгам!" - возбужденно думал осведомитель Щиплев. И не знал он, простофиля, что супружница его Елизавета каждое утро, когда он еще спит, натирает ему ладони солью, чтобы побольше брал чаевых.

"Чашка" сидел, напряженившись, по количеству и размеру мурашек пытаясь определить силу опасности. Клюквин соображал: "Сдает старикан - вон как долго за баранкой тянется!"

Хлопнула входная дверь, и в трактир с конским топотом ввалилась толпа полицейских. И не успел "Чашка" отдернуть руку от баранок, не успел Клюквин выхватить револьвер, как схватили они зазевавшегося Кашеварова и поволокли к выходу.

- А мы без-дей-ству-ем!.. - застонал Клюквин и обхватил голову руками, словно хотел оторвать ее и швырнуть вслед полицейским, как бомбу!

### *Глава следующая "Молчи, грусть, молчи!.."*

Губернский город Н. располагался между трех холмов в пологой впадине, сделанной метеоритом "Колочий" в 1799 году. Название Н. дал ему лично император, а основание положили любопытные, сбежавшиеся посмотреть.

Тюрьма в городе Н. находилась в центре, рядом с кладбищем и меблированными комнатами. И как на кладбище

и в мебелированных комнатах, в тюрьме тоже были места для избранных. Студент Скворцов сидел в камере-люксе: окно в два раза меньше обычного, прутья в три раза толще, но, главное, все стены камеры были уклеены портретами Государя Императора вперемежку с картинками обнаженных женщин. Заключенного пытались сломить на сексуальной почве и сразу сделать верноподданным (Ворошеев додумался!). Сидящему тут давали вволю есть, пить, подбрасывали игральные карты, папиросы. Самое возмутительное, что в камере была вторая койка, застеленная атласным одеялом. Садиться на нее запрещалось, но каждый час (строго по часам!) входил надзиратель, откидывал одеяло и внушительно смотрел на крахмальную простыню и на бесстыдные картинки на стенах.

Многие заключенные сходили с ума и представляли себя женщинами, двое повесились, а один - Кустанаев Федор Трофимович, мещанин, проходящий по делу об удушении жены, заснул вдруг летаргическим сном.

Начальник тюрьмы Акулов Спиридон Дмитриевич - покладистый и незлобивый, но очень любящий свою работу, встретил Скворцова, как доброго знакомого, даже отпечатки пальцев снимать не стал, пересчитал только, все ли пальцы на месте. Пожаловался, что дочка на выданье, а с женихами в Н-ске негусто. Словом, попенял студенту.

К вечеру, как ни жмурился Скворцов, картинки на стенах начали делать свое глумливое дело. Повсюду ему уже мерещились женские груди, спины... Единственное спасение - смотреть в лицо Государя Императора. А когда смотришь в императорское чело и молчишь, уже чувствуешь себя рабом. Этого вы добивались, коварные искусители?! Люди без чести и совести!

Скворцов уткнулся в подушку, сжал зубы, и - слезы выступили у него на глазах: от подушки пахло духами! И не простыми, дешевыми, а какими-то нагло зовущими. А посреди подушки (до чего додумались, изверги!) волосок, светлый, длинный, вьющийся...

Скворцов полез под койку. Здесь, под металлической сеткой с трухлявым матрацем, он почувствовал себя поспокойнее, но (и тут палачи постарались!), когда глаза привык-

ли к потемкам, обнаружил женский чулок, рассыпанные шпильки...

Зов природы лихорадкой пробежал по телу, взбунтовал кровь, но... путь ему преградили совесть, ответственность, долг перед партией.

И вылез студент Скворцов из-под койки, и подошел он к столу, и взял он в руки оловянную ложку...

Смотрел с портретов на него Государь Император, пялились бесстыжие продажные молодухи, а он, сидя на корточках, упорно точил ложку о каменный пол, делая из нее холодное оружие, чтобы навеки остудить горячую молодую кровь.

Слезы застилали взор - никогда не будет у него сына и не будет дочери, никогда не прижмет он к груди внука и не скажет, показывая на старую пожелтевшую фотографию: "А это твой дедуля..." Никогда его правнуки не пойдут в школу с новенькими тяжелыми ранцами и не будут учить историю СССР - государства, пока не известного, далекого и желанного.

Но вот ручка ложки острая, как голландская бритва. Расстегнул Никита ремень, и упали брюки, как знамя. И взмахнул он ложкой, и - острая слепящая боль обожгла разум и тело, и теплое полилось по ногам...

Даже император на портретах прикрыл глаза, даже бесстыдницы на картинках скабрзных отвернулись.

Загремел засов, вломились в камеру надзиратели, прибежал тюремный фельдшер, портной Николай с иголкой и нитками, начальник Акулов с инструкцией, запрещающей самовольное членовредительство, да поздно, умер студент Скворцов Никита, скончался, а дух его, потосковав немного над бездыханным телом, вылетел в открытую дверь.

\* \* \*

Кашеварова - не велика птица - поместили в полулюксе: никаких женских портретов, просто на столе рюмка, бутылка, закусочка кое-какая немудрящая, лист бумаги чистый и карандаш. Хочешь выпить - напиши предложение, и рюмка твоя.



...К обеду подали горячее: борщ украинский со свиной, утку с рисом, фиг с маслом, обсыпанный жареным луком, жбан квасу поставили. Вилку дали, ложку, китайские палочки на всякий случай (если шпион китайский). Разве тут устоишь?! Взыгрался аппетит у Аристарха Ивановича, и писал он весь день и всю ночь, как заведенный. В алфавитном порядке выкладывал он на бумагу фамилии друзей и знакомых, сам выдумывал пароли, явки, и быть бы ему скоро на свободе, не поставь он под номером седьмым Акулова Спиридона Дмитриевича.

Последнюю (отходную) рюмку и соленый огурец принес ему старший надзиратель Гмырь уже в карцер.

### *Глава следующая "Все люди - братья"*

Весной н-чане называли свой город "наша маленькая Венеция". Источники разливались, как реки, а река Подколотная (названная в честь бывшего полицмейстера) выходила из берегов аж за горизонт, откуда волной пригоняло пустые ящики с иностранными надписями, сломанные реи. Однажды северным ветром пригнало льдину с белым медведем. Несчастное животное очумело взирало на горожан и даже не делало попытки доплыть до берега - наверное, боялось.

Керимка пришел в Н. поводырем слепца Захария. Умный был слепец, ясновидящий. И поводырями у него были мальчонки смбшленные: Митька Селиванов - купец в Ярославле, Мирон Подручный - урядник в Казани, Николка Гуслин - в газетах статьи печатает. Татарское племя Захарий не жаловал: иноверцами да басурманами их кликал, а вот к Керимке маленькому привязался. Нашел его в степи, видимо, с коня упал. Плачет маленький комочек, скулит, вздрагивает. Взял его Захарий в свои теплые большие ладони - крохотная душа, а живая...

Понял, конечно, старый, что нашел татарчонка: и запах от тельца крутой, и косточки под кожицей вроде те же, аи как-то так устроены, что сразу чувствуется - татарчонок, басурманчик.

Долго бродили они по земле-матушке, христарадничали, мыкались, вольным воздухом дышали, особенно когда есть было нечего. И привели их пути-дороги в Н. И тут слепой старец взволновался шибко. "Чую, - говорит, - Керимушка, дуновение из земли идет, как из чрева гнилого. Ох, - говорит, - чую, быть беде!"

Сказал и умер в одночасье. Лег на пригорке лицом к солнышку, вытянулся в струночку и покинул мир тихо, как виноватый.

До вечерней зари копал Керимка могилу, молча, сжав зубы. Если слеза выкатывалась, вдавливал пальцем ее обратно. Ни о чем не думал, копал. Очнулся, когда углубился метров на восемь. И неспроста очнулся, а почувствовал вдруг, что земля шевелится у него под ногами, да и не земля это вовсе, а комья какие-то. Набрал Керим этих комьев в суму нищенскую, вылез на свет божий, засыпал яму, а старца схоронил на бережку под ракитой. И только когда воткнул в могильный холмик крестик, из веточек связанный, не сдержался и завыл в голос на всю округу, и смолкли птицы, и окрасила серое небо новая утренняя заря.

\* \* \*

Жандармский полковник Ерофеев сидел в специальной комнатке для приема тайных агентов. Чтобы никто не знал, где она находится, строили ее слепые.

Склонив упорную голову, Ерофеев изучал дело редактора Водовозова-Залесского. Либеральничать стал газетчик: пожарную каланчу критиковал, а ведь это самое высокое сооружение в городе - об этом мог бы подумать! К тому же построенное без единого гвоздя, хоть и кирпичное.

Много, много неприятностей! Еще черт племянничка принес - поручика Глебова! Жениться обалдуй вздумал. Да как его, козла, женишь, если он вместо целебной н-ской воды коньячище чуть не суповыми тарелками хлещет!

И тут, в управлении, рутина, бюрократия, за бумажкой не видят преступника! Сколько раз бывало, прибежит

сыскной: в груди горячо, в мыслях путано, побыстрее бы рассказать, поделиться, выплеснуть! А пока у секретаря на прием запишется, бланк доноса в трех экземплярах заполнит да подпишет у начальников, да пока в очереди посидит, только и скажет, войдя в кабинет: "Здравия желаю..." Эх, Русь, казалось, берешь ты от передовой заграницы все хорошее, но куда дойдет это хорошее через наши длинные версты в глубинку, дотащится до обыкновенного губернского города, считай, что и не было ничего нового вовсе. Одна блажь, фиглярство и претензии.

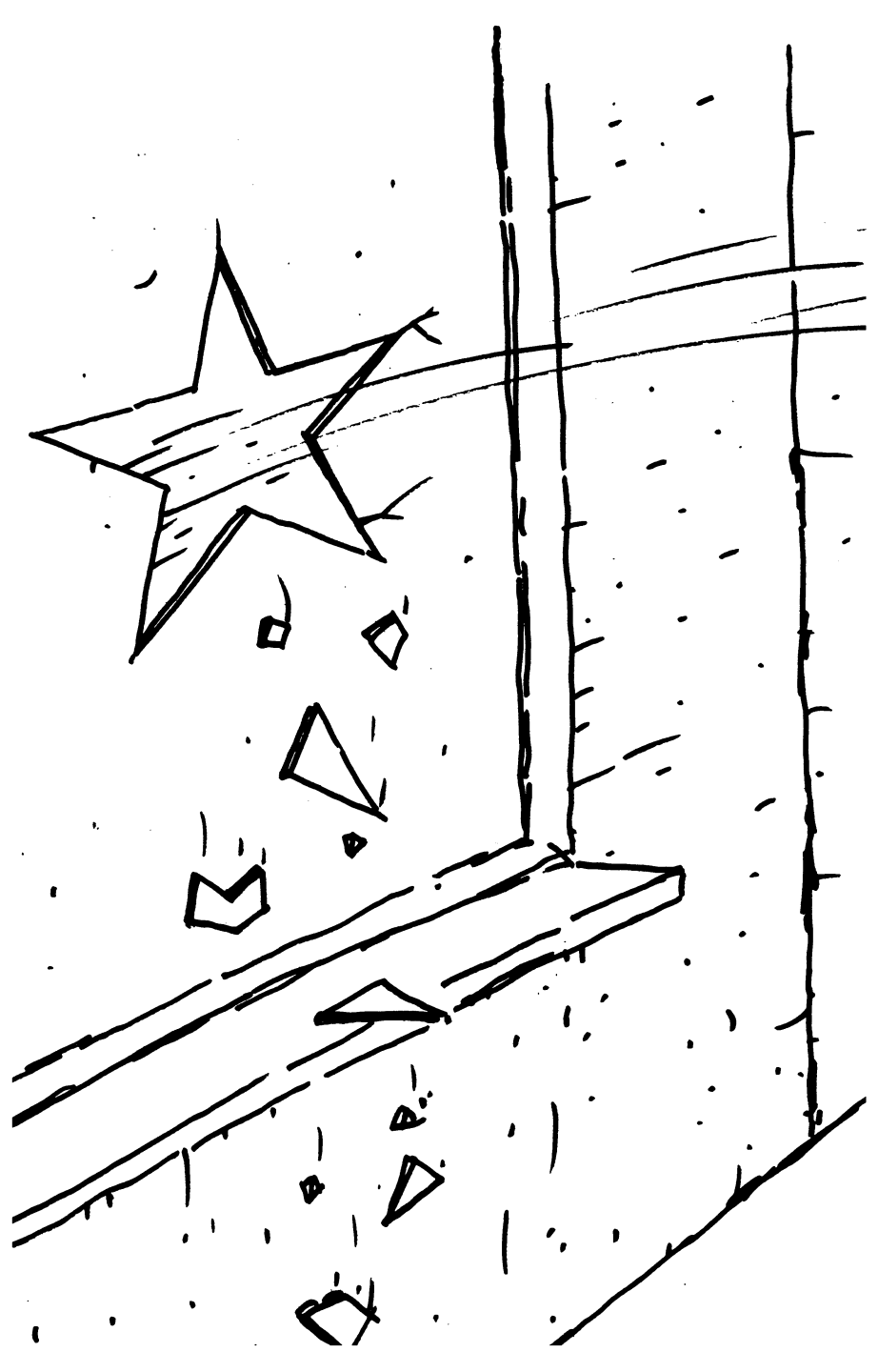
Старуха Митрофановна пришла в полночь. Закутанная в рванье, злая, как пес, 24 августа сразу после волнений начала она рыскать по городу: слушать, что люди говорят, наблюдать, что они делают, - не сходилось одно с другим! Губернскую улицу вдоль и поперек сорок раз своей клюкой простукала и - нашла-таки!

Вынула старуха из-за пазухи грязную тряпицу, развернула, и шмякнулся на полированный инкрустированный столик комочек.

Вставил Ерофеев в глаз монокль: что это?!

Светится, а если подуть - разговаривает, кинуть - взрывается, погладить - песни поет, кипятком ошпарить - синет и замерзает, в замерзшем состоянии - хрупкое, в нагретом - тянется, ударить - охает и скрипит, плюнуть - обижается. По весу напоминает металл, по цвету - воду, по запаху - еловую шишку. Но если нюхать долго и старательно, чем-то этот запах начинал напоминать запах минеральной воды н-ской...

Митрофановна сидела в углу, дула на блюдечко с коньяком, щурилась ласково - теперь-то уж точно ее к званию представят. Тридцать лет она в службе, и одна мечта - получить звание мужчины, именоваться почтительно Митрофанычем, пить с мужиками в кабаке водку, таскать за косу свою бабу, а по престольным праздникам выходить с гармошкой и орать: "Хас Булат удалой, бедна сакля твоя!.."





*Глава следующая "Забывтая книга"*

В Париже я остановился в гостинице "Тверь", в последующем переименованной в "Калинин". Здесь было много соотечественников: молодой живописец Ружнин, который думал, что, как только приедет в Париж, сразу научится рисовать; пожилой беллетрист Шмакин, который писал роман в письмах на родину с просьбой выслать денег, обещая отдать, когда его письма после смерти будут опубликованы.

На втором этаже в двух смежных комнатах жили сестры-близняшки Падчерицины. Одна была старая дева, а другая - наоборот, из-за чего происходили постоянные скандалы, так как мужчины путали их и то получали пощечину, то поцелуй.

На третьем этаже большую угловую комнату занимал купец Парфенов, торговавший пенькой и лыком. Часть товара он хранил прямо в номере, и частенько ностальгическая грусть гнала обитателей на третий этаж вдохнуть родной запах, вспомнить детство...

На четвертом этаже, на подоконнике, квартировал какой-то офицер. Какой именно, сказать трудно, потому что он пропил не только казенные деньги, но и знаки различия. Выгнать его боялись, потому что он, если к нему приближались, кричал: "Заряжай!", а от этих русских чего угодно ждать можно.

Еще выше, в мансарде, обитал некто Пламень. Он не говорил никому, кто он такой, но все знали, что он платный агент царской охраны Еремей Алексеевич Грызлов, направленный сюда для изучения причин Великой французской революции. Вкрадчивый в движениях, осторожный в разговорах, постоянно прикрывавший на левой руке наколку "Ерема", он держался особняком, надолго уходил куда-то, после чего от него устойчиво пахло перегаром и парфюмерией.

"Первая причина французской революции, - доносил он в департамент, - что все участники говорили по-французски".

Доложили Государю Императору. "Нам это не грозит", - заметил он будто бы.

Номер мне достался с окном, выходящим в глухую темно-коричневую стену. Только уезжая, я понял, что это была штора. Когда я отдернул ее - огни, оживленная улица, но... чемоданы были уже упакованы, в кармане лежал билет.

А тогда, в первый день, раскладывая вещи, я обнаружил в шкафу книгу. Старинная, на каком-то непонятном языке...

Зашел спросить, как я устроился, художник Ружнин. Искусство живописи понятно без перевода, и я попросил его перевести мне картинку на первой странице. И был крайне удивлен, услышав, что речь идет о городе Н. И далее: "Метеорит "Колючий" падал необычно, он как бы вскрикнул, прежде чем удариться о землю..."

Остаток дня я неотвязно думал о загадочной книге. Вечером у сестер Падчерициных, куда по обыкновению все собирались на вечерний чай, я спросил:

- А кто до меня занимал этот номер?

Все заспорили и спорили бы до утра, не будь купца Парфенова. Он развернул большую амбарную книгу и с удовольствием произнес:

- У меня здесь все-о учтено... Все-о! Вот... сатраница сорок один: астроном Андрюшин...

- Но ведь книга написана не по-русски? - напомнил я.

- Вот и нас удивляло, - сказала старая дева, разливая чай, - что вроде русский, а говорить по-русски у нас учился...

### *Глава очередная "Не в свои сани не садись!"*

Осенью, когда не было надобности сторожить источники, сторожа с колотушкой Демидова отправляли сторожить кладбище. Демидов любил эту работу. Он бродил по аллеям, останавливался у памятников, читал надписи, эпитафии и разговаривал с покойниками.

- Вот вы, ваше высокопревосходительство, - обращался

он к серому камню могилы генерала Гривнова, - изволили меня в позапрошлом годе дураком обозвать. Сами вы дурак, господин генерал!

Побеседовав с одним покойником, он шел к следующему: ругался, философствовал, вспоминал молодость, балагурил, а у могилы юнкера Юркина, убитого три года назад на дуэли, вздыхал, читая эпитафию: "Когда я руку поднимал, я убивать не собирался, я справедливости желал, но вот - в могиле оказался".

Было на кладбище и несколько загадочных могил. В последнее время по ночам из них доносились стоны, стук, а иногда - глухие ругательства. Бывший иеромонах обходил их стороной, издали наблюдая, как раскачиваются из стороны в сторону темные кресты.

Ему, конечно, и в голову не приходило, что это Клюквин и Чашников пробиваются в сторону тюрьмы, чтобы спасти Аристарха Ивановича Кашеварова.

Кашеваров сидел в карцере, вспоминал камеру полулюкс, вздыхал. Вспоминая, что понаписал, вздрагивал... Эх, судьба! За что ты швырнула сюда, в сырость и мрак, Аристарха Ивановича? Чем он хуже Водовозова-Залесского, брандмайора Орлова, чем он хуже тех многих образованных людей, что по всей России пьют сейчас водку и говорят о свободе? Не подозревая, что пьющий уже не свободен... Что он сделал такого опасного, если он вообще ничего не делал?!

Теперь Кашеваров ждал от жизни чего угодно. И дождался - однажды ночью пол в углу под парашей обвалился, и оттуда показалась мокрая голова.

- Собирайтесь, - сказала голова.

Кашеваров, привыкший в тюрьме быстро выполнять все приказания, покорно и торопясь, полез вниз.

- Вот вы и на свободе, - сказал голос, когда они оказались в крошечной тьме. - Ползите за мной.

Аристарх Иванович встал на корточки и пополз вперед, больно ударяясь спиной о кости мертвецов и корни деревьев.



\* \* \*

Вечерело. Край парижского неба рдел над крышами стыдливым румянцем.

Я брел по улице Сен-Мишель к себе в гостиницу, сжимая в руке таинственную книгу, расшифровать которую так пока и не удалось.

Париж!.. Я стремился сюда, чтобы побыть одному, поразмышлять о смысле жизни, хотелось разработать какую-нибудь теорию, например: о непротивлении добру. И вот вместо этого я все время проводил теперь с книгой.

Погруженный в свои невеселые мысли, я неожиданно столкнулся в дверях гостиницы с незнакомцем в пенсне, сквозь которое смотрели испуганные глаза, выдававшие в нем жителя Вятской, Тульской, в крайнем случае Н-ской губернии.

- Кашеваров, - представился он.

- Неужели тот самый?! - ахнул я.

- Нет, - поспешно сказал незнакомец, - другой.

А вниз спускались уже наши соплеменники. Они спешили посмотреть на новичка, вдохнуть от его одежд запах российских дорог, узнать новости, занять денег.

Получасом позже мы все сидели у сестер Падчерициных, пили чай, слушали рассказы Кашеварова о России. Беллетрист Шмакин читал свое последнее письмо. Пришел с подоконника и пел под гитару офицер. Интересно рассказывал про цены на пеньку и лыко купец Парфенов. Словом, вечер провели чудесно.

Сестры Падчерицины - одна в глухом черном, другая в красном декольтированном платье - заботливо потчевали гостей. Причем, когда веселая и разбитная сестра наклонялась, все мужчины, как один, отводили взгляд от ее бюста и начинали подчеркнuto ухаживать за ее суровой родственницей, от чего на щеках у той цвели две алые розы румянца, и она, поглядывая в зеркало, думала встревоженно: "Уж не чахотка ли это?!"

Не веселился только тайный агент Пламень, он же Грызлов, он же сволочь. Плотноядно улыбаясь, смотрел он

на Кашеварова; облизывался, когда тот говорил о свободе духа, запоминал, когда тот называл фамилии и адреса.

### **Глава очередная "С козырями на руках"**

Играли у полковника Рьянова.

Когда метал Водовозов-Залесский, всегда выходили "бубны" козыри, и на него смотрели многозначительно и с сожалением. Когда сдавал поручик Глебов - красные сердечки "черви", тут все снисходительно ухмылялись. У полковника Рьянова получались "пики", а брендмайор Орлов, как ни тусовал колоду, вечно у него были "крести", что вызывало у игроков недоумение и раздражало.

Сели за игру с вечера. Рьянов играл, как воевал: то на смерть бьется из-за копейки, то тыщу ни за что просадит. Водовозов мудрствовал: твердил, что выигрыш его не интересует, скрипел зубами, когда проигрывал, карты свои вскрывал под столом, предварительно поплевав на левый ботинок.

Поручик Глебов с истинно гусарской лихостью швырял на сукно деньги, в чужие карты заглядывал чаще, чем в свои, курил, пил, икал, извинялся.

Брендмайор Орлов шел на взятку, как со шлангом в огонь, внутренне напрягаясь и мысленно прощаясь с жизнью. Когда выигрывал, удивлялся; если проигрывал, тут же обещал себе, что больше за карты никогда не сядет.

К полуночи все проигрались в пух и прах. Игра приобрела отчаянный характер. Рьянов решился и поставил на кон свое слово офицера, Водовозов-Залесский - убеждения, брендмайор - свое исподнее, а Глебов - портсигар с монограммой и имение матушки.

И все проиграли, только брендмайор остался при своих.

\* \* \*

Еще недавно было бабье лето, и бабы, и барышни, и дамы ходили с тайной надеждой на что-то... Еще недавно го-

род пылал листвою, хоть пожарных вызывай, а теперь... Серый день, серые мысли.

А если серо и слякотно не только в природе, но и в душе? А душа молодая, и она жаждет!.. Ну что нужно ученому - какой-нибудь микроскоп и козьявка, чтобы не спать ночей, чтобы срываться с постели от молодой жены и бежать в кабинет записывать каракулями новую формулу.

Поэту нужно вдохновение, землепашцу - дождь или солнце, а поручику Глебову нужны были деньги! Деньги! Деньги!

Это философ понимает, что за деньги не купишь дружбы, любви, таланта и покоя, а молодому поручику, имеющему карточного долга 87 тысяч, - что ему ваш опыт и сантименты? Он думает, что солнце встает только для того, чтобы напомнить о долге, а луна - чтобы отсрочить кошмарный долг до утра.

Утром, когда над Н. еще курились туманом пары минеральных источников, поручик открыл дверь жандармского управления. Был он сам не свой, поэтому поначалу его не узнали, поколотили и обещали тут же выпустить, если все расскажет. Но вовремя появился дядя.

- А ты, - спросил он строго, - что здесь делаешь?

Развел поручик руками, понуро склонил голову. Отступили посторонние, исчезли.

- Ладно, - сказал дядя, - пойдешь к отцу Никодиму, скажешь, что от меня, он тебе невесту найдет. Ступай! Да выведай у него ненароком: не слыхал ли чего об камнях таинственных, что сверкают, болтают и взрываются?..

\* \* \*

Никто в городе Н. не знал тайн больше, чем отец Никодим. Он знал, кому и с кем изменяет жена купца Колотилова, знал, от кого родился второй сын у губернатора (от губернатора!), знал, сколько ежегодно тратит миллионер Бурилло на содержание примадонны (ни шиша!).

На исповеди женщины отчего-то с большой охотой посвящали его в свои тайны, и он потом, ночью, долго ворочался и, случалось, не мог заснуть до утра.

С Ворошеевым о. Никодим враждовал, потому что тот однажды с жандармской прямокой покаялся, что переспал с его женой. Отец Никодим отпустил ему этот грех, дома отколошматил свою супружницу до полусмерти, и в тот же день сам поехал каяться в ближний Троице-Введенский монастырь к настоятелю отцу Гермогену, который сказал, что это вовсе и не грех, и что если все, кто лупцует своих жен, будут к нему приезжать, то у него свободной минуты не будет. "И потом надо помнить о всепрощении!" - напомнил он.

Возвращался о. Никодим в таратайке веселый, по пути останавливался, собирал букет, а как вошел в дом, как увидел свою попадью, наклонившуюся над открытым сундуком, так этим букетом и... Прости его Господи!

Бренча шпорами, поручик Глебов размашисто вошел в церковь, широко перекрестился на пышнотелую даму, молящуюся в углу, и прошел в алтарь к отцу Никодиму.

- Батюшка, - просто и с чувством сказал поручик, - жениться хочу: пусть косая, пусть рябая, лишь бы денег было побольше!

- Не богохульствуй, - молвил о. Никодим.

- Я ж с серьезными намерениями - мне много надо!

- Не богохуль...

Поручик склонился к уху священнослужителя и горячо зашептал что-то, для большей убедительности ударяя себя кулаком в грудь, а потом батюшку.

- Хорошо, - поторопился согласиться о. Никодим, - пойдешь в Калашный ряд, найдешь собственный дом Бурилло. А невесту твою зовут... Таня.

### *Глава следующая "Аленький цветочек"*

Миллионер Бурилло внешне походил на директора гимназии: осанистый, важный, в золотых очках. А еще тем, что носил в кармане блокнотик и всем ставил в него оценки. Поговорит с кем-нибудь, достанет блокнотик и запишет туда, к примеру: "Сидорчук - "пять". Жена скажет что-ни-

будь невпопад, он достанет блокнотик и запишет: "Н.Ф. Бурилло - "два".

Весной, когда расцветали яблони, Иван Васильевич представлял годовой балл и определял себе друзей и врагов. А служащих повышал или понижал в должности.

Детей у Ивана Васильевича не было. Сначала он грешил на жену, потом на горничную, потом на кухарку, потом на Софью Ильиничну Орецкую, а потом понял, что судьба обделила его этой благодатью, и взял из сиротского приюта девочку Танюшу, полагая, что, если будет сын, он быстро промотает папино состояние, а когда дойдет до внуков, то...

По средам Бурилло принимали гостей. "Бурилловские среды" славились обильным угощением и либеральными высказываниями. Здесь можно было встретить весь цвет интеллигенции Н-ска, а также частенько и ротмистра Ворошсева, он приклеивал себе фальшивую бороду, надевал парик, но всегда забывал снять жандармский мундир. Гости в его присутствии замолкали, и Ворошсеев, чтобы их спровоцировать, сам начинал громко ругать царскую фамилию и существующие законы. Вдосталь наругавшись, он с удовольствием ужинал и уходил с чувством исполненного долга.

Общество обычно собиралось веселое. А гостям, которые не нравились Бурилло, он давал в долг и больше их не видел.

Стол сервировался на пятьдесят персон, и согласно оценкам в блокноте перед гостем ставился тот или иной прибор: хрусталь, стекло, олово... Иван Васильевич строго следил за соблюдением порядка и сам раскладывал перед приборами таблички с фамилиями.

Сегодня, кроме всех прочих, ожидался приезд известного петербургского поэта. Иван Васильевич ждал его, стоя у окна и взирая на проходящих мимо арестантов. Это гнали по этапу из Н-ского острога в далекую Сибирь друзей и близких Аристарха Ивановича Кашеварова.

Но вот показались и гости.

Поэт пришел с огромной свитой.  
Был он лохматый и небритый.  
Ступал нетвердо и икал.  
И все к чему-то призывал.  
То проповедовал любовь,  
То говорил о днях грядущих.  
Ах, если б видел его Пушкин!..  
А впрочем, черт с ним, с тем поэтом,  
Не будем говорить об этом!

Ивану Васильевичу поэт очень понравился. Он достал блокнотик, чтобы поставить ему "пять", и неожиданно написал:

Слова сложились в предложение,  
Но это не стихотворение,  
Стихотворенье - это то,  
Что где-то в сердце глубоко  
Живет и плачет и страдает,  
А человек - не понимает.

Минут шесть он изумленно смотрел на написанные им строки, затем прошел к столу, выпил водки и отправился спать.

Утром Бурилло купил типографию и "Губернский вестник" вместе с Водовозовым-Залесским.

\* \* \*

Некоторые женщины торопятся отдать тело, некоторые - душу. Танюша Бурилло к своим 17 годам готова была отдать и то и другое, но кому?

Девушка с мечтательными большими глазами стрекозы, но похожая на кузнечика, она была на редкость впечатлительной и чувствительной натурой: хрустнет под ее башмачком веточка, а она уже представляет, как где-то на далеком африканском континенте кого-то заковывают в кандалы. Увидит на улице плотника с топором и представляет, как он дома хлебает щи, а жена, подоткнув подол, полощет на речке белье.

Читала она мало, но времени за книгами проводила много. Она прочтет первую строчку "Был теплый вечер..." и представляет теплый вечер, тарантас, пылящий по проселочной дороге, пьяных мужиков, косолапящих по обочине, и приказчика Федьку в поддевке и картузе, уводящего белошвейку Марусю в молодой густой ельничек.

Она была некрасивая, но добрая, и, когда Бурилло давал ей денег, все раздавала бедным. Она предварительно меняла деньги на самую крупную купюру, а потом отдавала ее кому-нибудь из бедных. И тот сразу становился небедным и уже свысока смотрел на бледные Танины щеки и за ее спиной с сожалением говорил: "Да кто ее такую возьмет!.."

Танюша сидела на крыльце и кормила бездомных собак. Собаки знали ее доброту и паслись вокруг 3-этажного особняка стаями.

Поручик Глебов полчаса пробивался сквозь собачьи тела и, когда предстал перед девушкой, был весь в собачьей шерсти и взмокший. Отряхнувшись, он стал смотреть на Таню томным, прожигающим взглядом.

Не только Таня, но и собаки почувствовали волнение и подались назад. На колокольне церкви Вознесения гулко ударил колокол.

- Это стучит мое сердце, - сказал поручик.

Самая маленькая из собак тявкнула и заскулила.

- Я готов на все, - сказал поручик, - на нищету, позор, разжалование в подпоручики, но прошу вас: будьте моей!

Если заря занялась раньше, то сейчас солнце взошло второй раз и осветило Танюшу изнутри, зажгло ее глаза, зарумянило щеки и сделало движения плавными, гордыми, величественными. Она поднялась с крыльца, как царица, и двинулась навстречу Глебову.

"А ведь красивая баба!" - удивленно подумал он.

Свадьбу сыграли во вторник. Поручик сам себе кричал: "Горько!" - целовал всех женщин подряд, а Таня в белом подвенечном платье смотрела на него счастливыми глазами.

Иван Васильевич Бурилло оценил зятя в сто тысяч убытка, которые дал за дочкой в приданое. Чтобы избежать

лишних расходов, он на следующее утро напечатает в своем еженедельнике сообщение, что Англия якобы напала на Россию, и к вечеру все воинские подразделения покинут город. Лишь Глебов останется, потому что газет сроду не читал.

### *Глава очередная "Темная ночь"*

Преставился старец слепой Захарий, и будто ослеп Керимка.

Много дней ходил он по городу Н., тыкался в запертые ворота, в спины прохожих, в животы городских, ночевал, где придется, а чаще - в бане. За ночь парная не успевала остывать, подложит мальчонка под голову березовый веник, укроется шайкой и - лежит до утра с открытыми глазами, вспоминает старца Захария, слова его, что все люди братья. А к утру только забудется, каменя в суме начинают колготиться, всегда они к рассвету волноваться начинали, словно на работу торопились. Так, не выспавшись, не помывшись, уходил Керим в город. Милостыню ему никто не подавал - уж больно молод и взгляд дерзкий, на работу не брали. И в бане ночевать в последнее время стало не с руки - засада!

Вот и набрел как-то Керим на заброшенную конюшню. Услышал ржание, открыл дверь, увидел старика смеющегося. Это "Чашка" сам себе анекдоты про генерала рассказывал. Да так смешно он смеялся, что и Керимушка невольно засмеялся. Подружились они: мальчик татарский и старый разбойник "Чашка". И настолько крепко, что скучать начинали, даже если один по нужде в сторону отходил. Ну и показал Керимушка разбойнику каменя свои волшебные, рассказал, где нашел их, совета попросил, как дальше ему быть...

\* \* \*

Стрелки часов показывали 100. Была глухая ночь. Изредка с реки доносились короткие взвизги и всплески.



Это топился и никак не мог утопиться Петр Семенович Гмырь - старший надзиратель Н-ской тюрьмы.

Он не мог утопиться, потому что очень любил жизнь, он входил в воду по колена, взвизгивал и выбегал обратно на берег.

"Вода холодная, - оправдывался он, - была б потеплее, я б с превеликой радостью!"

Петр Семенович Гмырь, 1863 года рождения, нерусский, неженатый и жадный, был надзирателем по призванию. Еще в детстве, когда другие мальчишки играли в лапту или в бабки, он запирал в чулан курицу или кота и вышагивал у двери с палкой наперевес. А в школе больше любил арифметику, потому что тетради в клеточку. Самоубийством он решил покончить после побега государственного преступника А.И. Кашеварова. Профессиональная гордость не позволяла ему поступить иначе, но и жить хотелось тоже, и он бы, наверное, долго еще мучил воду в речушке Подколонной, если бы вдруг... не услышал голоса.

К реке приближались двое: один, судя по голосу, был стар и неоднократно судим. Второй среднего роста, красив, юн и значительной физической силы, развитой в нем сказаниями о богатырях.

У ракиты они помолились, юноша страстно, со слезами, старик нетерпеливо. Затем поднялись выше и там, на холме, стали что-то выкапывать из земли. Петр Семенович пригляделся, ничего не увидел и от этого вообразил черт знает что! Разволновался и сделал неосторожное движение.

- Кто здесь?! - быстро спросил старый.

- Это голавль играет, - ответил из-за куста старший надзиратель.

Незнакомцы успокоились и продолжали копать. Но вот наконец они выволокли что-то тяжелое (вроде как рыбу в мешке, но откуда в земле рыба?!) и поволокли это тяжелое вниз к телеге.

Конь заржал. Как-то нехорошо заржал, дико. Гмырь взялся натягивать сапоги, шинель. Не было ему теперь иного пути, как выследить лихоимцев!

*Глава следующая "Странный человек"*

Утро в типографии "Губернского вестника" начиналось обычно с разговоров. Печатник Гамза всегда рассказывал, сколько он накануне выпил и с кем подрался, а наборщик Бассейнов - о несправедливости существующего строя и произволе царизма. Слушали их с одинаковым интересом. Затем из конторы прибегал мальчишка посыльный, приносил рукописи в набор. Теперь все они были стихотворные, и автор у всех был - Иван Бурилло.

Типографские не раз обсуждали это нововведение. Гамза уверял, что во всем виноваты евреи, а Бассейнов говорил о прогнившем самодержавии. Спорили обычно долго и сходились на том, что царь сам еврей! И все англичане и немцы - тоже евреи! А наемники скинулись по копейке и отправили ученика Ванюшку в Ясную Поляну узнать у графа Льва Николаевича Толстого, как жить дальше и можно ли есть говядину, если на нее не хватает денег.

"Губернский вестник"... Бурилло печатал его теперь на мелованной бумаге тиражом в миллион экземпляров, и сам же скупал весь тираж, чтобы он не залеживался на полках.

Даже губернатор Гольц побаивался теперь Бурилло, потому что тот, встретив кого-нибудь, с ходу начинал читать стихи. Многие уверяли его, что они глухонемые, но он все равно не отставал, пока слушатель не падал без чувств.

\* \* \*

Ночью эскадрон гусар ночевал во рту ротмистра Ворoshеева. Устроили засаду в трактире Хвостова, поэтому пришлось напиться. Пакостно, гадостно и мерзко было не только во рту, но и в других органах тоже. Надо было опохмелиться, да нельзя - предстояло идти с докладом к полковнику Ерофееву.

Ерофеев не употреблял спиртного, боялся, что потом потеряется, и его не найдут. Маленький рост давал, конеч-

но, и некоторые преимущества, так террорист Клюквин дважды собирался стрелять в него, но опасался промахнуться.

Нюх на спиртное был у Ерофеева поразителен. Сколько раз, бывало, он спрашивал урядника Мелентьева: "Пил?" - и никогда не ошибался.

Делать нечего, намазал ротмистр сапоги ваксой, не для блеска намазал, для запаха и - пошел.

Ерофеев нынче был не в духе, губернатор требовал гарантий, что покушений больше не повторится. На что Ерофеев отвечал, что "гарантия" - слово нерусское, мужикам не понятное. И предлагал губернатору обнести его дом высоким забором и поставить по краям сторожевые вышки. Гольц не хотел и возмутился.

Необычно задумчив был Ерофеев нынче. Смотрел в упор на ротмистра, а видел камушек волшебный. Так и маячил он у него перед глазами: переливающийся, грустящий, поющий, шишкой пахнущий, а если как следует понюхать - водой н-ской минеральной...

Чувствовал Ерофеев, что в камушке этом великая тайна, но... какая: полезная для государства, а значит, и для него, или опасная? Сегодня все утро смотрел в таблицу Менделеева, с особым подозрением глядел в пустые клетки и чувствовал - страх! В пустых клетках могло таиться все!

- Ну что еще? - встретил он Ворошеева тоном человека, который знает в двадцать раз больше.

- Пропал старший надзиратель Гмырь... - доложил ротмистр и прикрыл рот ладонью, от чего та незамедлительно позеленела.

- Еще? - спросил Ерофеев тоном человека, который решил терпеть до конца.

- В городе появился подозрительный неизвестный...

- Один пропал... другой появился, - задумчиво повторил Ерофеев тоном человека, который выше обыкновенных земных понятий, - значит... значит, общее количество горожан не уменьшилось...

А в городе Н. действительно появился подозрительный субъект. Одет он был на первый взгляд обыкновенно: цилиндр, шинель, лапти. Удивляли, разве что, его манеры:

говорить всем "вы", а женщинам целовать не только руки, но и щеки, уши, спины, ноги... Звали его мистер Х, и был он антерпренером цирковой труппы.

Сама труппа собой ничего особенного не представляла. Среди прочих артистов можно было выделить, пожалуй, чародея Иохима Гурмана, безошибочно предсказывающего судьбу всем желающим, а именно: "Все там будем!"; силача Викулу, бывшего себя гирей по голове и говорившего, что не больно; и, конечно же, Маргариту Горохову, выступавшую с дрессированными мужьями. Мужей было трое. Поговаривали, что один из них вовсе и не муж, а любовник, но кто - по скудости обличительных черт определить было трудно.

Выступала труппа в балагане на базарной площади. Народу набивалось обычно много, и, когда силач Викула уставал себя бить, его охотно били другие, Иохиму Гурману, который обычно успевал спрятаться, предсказывали его судьбу, что он-то там точно будет, и скорее других, а Маргарите охотно помогали гонять по манежу ее супругов. Особенно нравилось публике, когда муж Терентий с рублем в зубах прыгал сквозь горящий обруч.

На выступлениях своей труппы мистер Х никогда не присутствовал, зато его часто можно было видеть в трактирах и кабаках, где он внимательно прислушивался к разговорам, а чтобы лучше было слышно, щедро угощал всех водкой.

Обитатели парижской гостиницы "Тверь" с удивлением опознали бы в нем нерусского астронома Андриюшина.

### *Глава следующая "Прозрение"*

Муха села на стекло и стала чесать лапки. Отец Никодим наблюдал минут пять, ожесточаясь и сжимая кулаки. Затем взял полотенце, свернул жгутом, треснул по мухе и высадил стекло. Не полностью, по краям остались острые осколки, на один из которых и села муха и стала потирать передние лапки, как бы говоря: "Так, хорошо, одну пакость уже сделали!"

Отец Никодим смотрел на нее, играя желваками. "Скотина, - думал он. - Распустили вас, сволочей!"

Чувство собственного достоинства не позволило ему продолжить поединок с насекомым, он надел пальто, шляпу, галоши и вышел на улицу. Он шел, пряча от прохожих глаза.

"Сейчас, наверное, на диван села, - думал он. - Скотина!"

Отец Никодим - в миру Григорий Иванович Катущин - был человеком слабым и растерянным. Когда у него случалось хорошее настроение, он хотел сделать людям что-нибудь хорошее (но не делал), а когда плохое - ох, тогда он мечтал, чтоб все провалились в тартарары! Глаза у него были печальные, а если задумывался - умные. Жалко, задумывался он мало.

Первый робкий снежок запорошил город Н. На окраине, где жила беднота, его было пожиже, а в центре - погуще. А вокруг дома губернатора уже горбатились маленькие сугробы.

Отец Никодим споро вышагивал по Губернской. Изпод черного пальто бабьей юбкой полоскалась ряса. Свежий снежок прилипал к галошам, оставляя темные следы. О. Никодим шел к учителю географии Никифорову узнать кое-что для себя полезное, зело его занимающее.

Учитель географии Никифоров очень любил домашних животных, дома у него жили тараканы, мыши, крысы, а на окнах висели клетки с канарейками, щеглами, кроликами... Отец Никодим ценил и уважал учителя Никифорова за то, что тот со всем, что ни скажет гость, соглашался. А учитель Никифоров ценил и уважал о. Никодима за то, что тот приходил к нему в гости, потому что никто больше к нему не ходил. Встречал он отца Никодима всегда радушно, только просил: "Вы уж, будьте любезны, поосторожнее - на тараканчика какого не наступите".

Домик учителя, одноэтажный с одной колонной, располагался как раз напротив магазина дамского платья. Когда-то в витрине магазина стоял женский манекен с огромным бюстом, и отец Никодим, бывало, проходя мимо, думал: "Вот бы мне такую попадью: и статная, и молчаливая, и - не изменит!" Впрочем, однажды манекен пропал. Горожане

строили по этому поводу разные планы, а сторож Демидов - бывший иеромонах, только улыбался и после работы торопился домой.

Хозяин встретил гостя, как всегда, с большим почтением. Отец Никодим снял шляпу, пальто, стянул галоши, взял в охапку и прошел в комнату.

- Вот ты думаешь... - начал он.

- Думаю, - согласился учитель.

- Да ты подожди, не перебивай! Вот ты думаешь, почему у нас так много безобразий?

- Почему? - искренне заинтересовался Никифоров.

- А потому, - вдруг изрек отец Никодим, - что народ в церковь часто ходит!

Тут даже Никифоров опешил.

- Нагрешат, подлецы, - объяснил отец Никодим, - покаются и - опять грешат с чистой совестью: грабят, пьянствуют, прелюбодействуют!

- Да вы, батюшка, революционер! - изумился учитель Никифоров.

- Не революционер, а пособник, верно, - я же им грехи-то отпускаю...

Из угла с каким-то вразумительным достоинством вышла крыса и внимательно посмотрела на отца Никодима.

- Да, - подтвердил ей отец Никодим, - своими устами способствую делам богомерзким!

Учитель Никифоров погладил крысу, и было видно, что, глядя ее, он сочувствует гостю.

- А недавно дошли до меня вести, что водится в нашей земле такое, что на "вы" отзывается, на "ты" обижается, твердое, как орех, холодное, как ледышка, а когда нагревается - светится, будто адским пламенем... Вот и не знаю, врут ли чаем или просто обманывают, или действительно существует такое? Ты ученый, как ты думаешь?

- Я?... - Никифоров задумался. - Я думаю, если такое и может быть, то за границей: у них и культура древнее, и университетов больше. В Риме, думаю, надо искать или в Греции...

- Что ж, возможное дело... - согласился о. Никодим и засобирался домой.

Учитель Никифоров его проводил, подумав о чем-то, достал со шкафа глобус, сдул с него пыль и - отпрянул: вся территория Российской империи была густо усыпана точками городов и населенных пунктов! Будущее великой страны как бы наглядно явилось перед ним, и он, зачарованный, забыл обо всем на свете! И о том, что точки эти оставили мухи.

### *Глава очередная (крохотная) "Гмырь не сладется"*

Вот уже седьмые сутки продолжал преследование таинственных незнакомцев старший надзиратель Гмырь.

Он похудел, оброс, истрепался. В деревнях сердобольные бабы подавали ему хлебушка и молока. Сам он не просил, вид у него был просящий.

В селе Окаемове незнакомцы поменяли телегу. Старая обгорела и сильно воняла целебной и-ской водой. Поликарп Семенович опасался выдать себя, поэтому близко не подходил и лиц не видел, один раз слышал, как старик сказал: "Жизнь! Неужели для этого страшного дела произвела ты меня на свет божий?!" А мальчишка переспросил: "И впрямь ничего-ничего не останется?.."

Ночевать незнакомцы останавливались в избах побогаче. Гмырь ночевал в канавах. По солнцу он определил, что двигались они очень далеко. Ночами, лежа в канавах и глядя в холодное небо, он грел себя мыслями о своем светлом будущем и своем возможном прошлом: "Возможное дело, если б утоп, щука ухи б у мене отъела и нос. А вот узнаю, кто эти те, и что они куда, тогда вообще!"

А незнакомцы поутру садились на телегу и везли свое что-то дальше.

### *Глава следующая "Светит, да не грет"*

Танюша Глебова-Бурилло зачала в первую ночь. Весь день она теперь шила распашонки, чепчики, а вечерами, покачивая живот, пела колыбельную:

Что случилось, что случилось?

Кошка мышкой подавилась.

Надо кошке меньше есть,

Сохранять живот и честь.

*(Автор И.В. Бурилло).*

Глебов пропадавал то в заведении мадам Буфф, то его видели с балериной заезжей оперетки Эльвирой Швидко, говорили, что в трактире Хвостова каждый вечер для него поет цыганский хор Саши Корякина, и что он платит им не за песню, а за каждую умильную слезу.

Но Таню это не смущало. Что бы ни сделал муж, все ей казалось необычным, замечательным и достойным восхищения.

Кормилица Зоя ходила гулять с Таниным животом к источникам. Играл духовой оркестр, барышни, укутав лица в меховые воротники, озорно поглядывали на встречных молодых людей, детвора каталась на салазках... И Таня тоже радовалась жизни и замечала, что тут, у источников, движения ребенка в животе становились мягче, и сам он рос не по дням, а по часам, будто торопился на волю, чтобы о чем-то предупредить свою матушку.

Деньги имеют ту особенность, что чем их больше, тем они быстрее исчезают.

Как осенью роняет лес багряный свой убор, так и 100 тысяч приданого осыпались красными червонцами, желтыми рублями... Еще вчера деньги раздражали тем, что не помещались в карманах, а сегодня... Хотел в ресторане "Марсель" поручик Глебов швырнуть в лицо "человеку" пачку кредиток, сунулся в бумажник, а там, кроме подкладки, ничего нет!

Первой его мыслью было застрелиться, второй - застрелить кого-нибудь и отобрать деньги.

Из двух зол он выбрал меньшее.





Меблированные комнаты "Россия" держала вдова полковника Корзухина Мария Питилимоновна Швах. Полковнику Корзухину она досталась с прочим трофейным имуществом во время Крымской кампании 1855 года. Приглянулась она полковнику - этакая ватрушка заграничная, и главное: по-русски не понимала ни бельмеса, и он смело мог в ее присутствии говорить о военных тайнах и ругаться.

Русскому языку мадам Швах училась у своего супруга, поэтому употребляла в своей речи исключительно армейские выражения: "Аллюр", "Равняйся, смирно", "Как стоишь, скотина!" и другие. Особенно ей нравились мужчины, умеющие скакать верхом и стрелять из пистолета. Этим она готова была отдать все. И отдавала.

Российское офицерство знало ее слабость, и в меблированных комнатах постоянно квартировал полк отборных молодцов. Германия неоднократно направляла ноты протеста по поводу сосредоточения воинских сил. Это льстило Его Императорскому Величеству, и царь подумывал организовать подобные бастионы по всей территории Российской империи.

Осуществить свои планы ему не удалось. Впоследствии в архивах была обнаружена записка: "Было бы неплохо...", но что помешало царю закончить, так и осталось неизвестным.

Жуткую бессонную ночь провел поручик Глебов. Мадам Швах тянулась к нему с объятиями, а он ходил по комнате необычно задумчивый, строгий.

Трудно сказать, как бы поручик Глебов проявил себя во время боевых действий. Скорее всего, он бы спяну оказался в тылу неприятеля и с громкими криками "Ура!" начал бы приставать к женщинам; а может быть, поднял упавшее знамя и только после боя разобрался бы, что оно чужое; а может, вынес бы из сражения раненого командира, как не раз выносил его из ресторана "Марсель".

Мадам Швах тянула к нему влюбленные руки и шепта-

ла: "К торжественному маршу!.. Справа, в колонну по одному..." - а он хмурил брови и вышагивал из угла в угол, заставляя себя решиться на задуманное.

Банк "Бурилло и К<sup>о</sup>" располагался, конечно же, на Губернской улице. У банковского подъезда, как водится, лежали два мраморных льва. У левого морда была вызывающе хамская (поговаривали, что скульптор ваял, глядя в зеркало), а у другого, с отбитым ухом и выщербленным глазом (телега ломовика наехала), вид был виноватый, словно ему стыдно за своего собрата.

У входа в банк поручик Глебов надел черную маску, попросил прохожего завязать тесемки и смело вошел в дубовые двери.

Служащий банка Прохоров - старенький и с большой оттопыренной нижней губой, потому что часто мусолил палец, пересчитывая деньги, - как только поступил в банк 30 лет назад, каждую секунду ждал, что вот сейчас откроется дверь и войдут грабители. Он ждал так долго, что, когда увидел Глебова, слезы радости выступили на глазах старика.

- Стреляю без предупреждения, - предупредил Глебов.

- Не надо, - попросил Прохоров, - все, что я знаю, я скажу, а знаю я мало.

- Считаю до трех, - предупредил Глебов. - Раз, два, три, четыре, пять, шесть...

- Банк обанкротился, - сказал Прохоров. - Мне самому жалованье не платят. Поэзия... поэзия проклятая погубила! Вместо доходов сплошные убытки.

Послышались шаркающие шаги, и появился сам Бурилло. В одной руке он держал счета, в другой - листок бумаги.

- Дмитрий, что тут происходит?

- Вот, грабют... нас, - доложил Прохоров.

Бурилло покорно глянул на грабителя и протянул ему счета.

- Это все, что у меня осталось...

Обескураженный поручик взял счета и отступил к двери.

- Это из последнего... неопубликованного, - произнес хозяин с печалью. И продекламировал:

Налейте чашу поплней,  
Насыпьте в нее яду.  
Я выпил горечь прежних дней  
И в гроб спокойно лягу.

Куда несет меня волна  
Нелегкого призвания?  
Забывать, заснуть бы навсегда  
От боли и отчаянья.

Но вот приходит новый день,  
За ним другой и третий...  
И позади крадется тень,  
Как призрак из столетий.

Екнуло сердце у поручика Глебова. "Как про меня написано!" - подумал. Хотел выстрелить для остротки в потолок, но... дрогнула рука, и попала пуля прямо в молодое гусарское сердце. И пискнуло оно болью, и увидел на миг Глебов всю свою жизнь, и была она такая маленькая, такая незначительная, как игрушечная.

Тело поручика Глебова было доставлено для опознания в городской морг. Нескончаемой чередой двигались мимо женщины, дети, старушки, многие узнавали в нем мужа, отца, сына, но не останавливались, а торопились дальше.

И только Танюша Бурилло, как вошла, как увидела... прошептала искусанными губами: "Милый ты мой..." - обняла его холодные в нательной рубахе плечи, поцеловала крестик на шее, глаза поцеловала, полежала на груди его, затем поднялась с колен, отряхнула машинально юбку и... да, да, на глазах у всех вывела из морга маленького мальчику лет 2 - 3, с тщательностью одетого, причесанного, в новеньких хромовых сапожках. У входа она оглянулась, положила ладонь на голову мальчику и тихо сказала: "Прощайся с папочкой, Глебушка".

Все, кто наблюдал эту сцену, а здесь находились и полковник Рьянов, и Водовозов-Залесский, и брендмайор Орлов, и, конечно, жандармский ротмистр Ворошеев, и многие-многие другие, все были поражены и простояли в молчании минут пять. И только после этого стали расходиться и все норовили в одиночку, и бегом, бегом...

На следующее утро в дорожном платье, провожаемая лишь собаками и кормилицей, бережно ведя одетого в дорожное мальчика, Танюша Глебова-Бурилло покидала город.

Иван Васильевич Бурилло вышел на крыльцо проводить, помахал рукой, достал свой блокнотик, всем поставил "пять", а поручику Глебову, подумав, даже "5+".

Отпевал усопшего отец Никодим, подпевал ему цыганский хор Саши Корякина.

А Танюша Ивановна повезла своего мальчика в Европу обучать наукам, хорошим манерам и - любви к родине. Потому что, где еще научишься ее любить, такую непутевую, как не за границей!

### *Глава очередная (крохотная, но важная) "Счастье"*

- Нет, ты представляешь, Керим, нашу землю, - мечтал "Чашка", - где нет ни богатых, ни бедных, вообще никого нет! И только робкая травка пробивается на очищенную почву, только первые червячки и птахи небесные, и солнце светит с неба на всю эту благодать, и ангелы, если они есть, а они есть, Керим, я верю, они резвятся в голубом небе с чистыми душами убиенных праведников и страдальцев, они показывают им обновленную землю и говорят им: а все это сделали святые Керим и Степан Чашников!..

Керим плакал горячими татарскими слезами. Всхрапывал конь и косился на поклажу. Рвал на груди рубаху "Чашка", семенил за телегой Гмырь, стараясь все запомнить, и... тоже плакал, потому что уверен был, что, когда старик говорил про души праведников и страдальцев, это он говорил и про него тоже.

Катилась телега, подпрыгивая на меридианах и параллелях в сторону далекую, место тихое, срединное. Вез конь Абрек поклажу страшную, дикую, людей отчаянных и мечту их грандиозную - заложить поклажу страшную в самую середку земного шара и взорвать его к чертовой матери! Во имя будущего счастья.

### *Глава очередная "Дом с привидениями"*

В Н-ске было все, что бывает в губернских городах, в том числе и дом с привидениями.

Дом этот много лет назад построил граф Лбов для своей любовницы Элеоноры Блистательной. Весь второй этаж занимала кровать; первый - гостиная. А в подвале был кабинет, где граф в темноте подсчитывал расходы.

Фасад здания украшали лепные картинки из любовной истории графа и Элеоноры: первая встреча, первый поцелуй руки, первое объятие и т.д.

Однако Блистательная недолго прожила в этом доме, потому что однажды (как уж это получилось?!) на фасаде появилась еще одна сценка, изображавшая любовницу графа в объятиях молодого корнета. Граф не смог вынести позора и скончался через шесть лет в своем имении на восемьдесят седьмом году жизни. Особняк тогда же был продан с аукциона и достался купцу Колотилову.

Колотилов распорядился сколоть с фасада все шаловливые картинки и оштукатурить заново. Но после ремонта картинка проявилась опять, и плюс к ним сценки, изображавшие уже купеческие тайны. Тогда Колотилов решил совершить хороший поступок, чтобы и он отобразился на фасаде, долго мучился, орал на родных и близких, что они его не понимают, не ценят, и... в конце концов оставил особняк на произвол судьбы, а себе построил новый.

Рельефы на фасаде сразу покоробились, потрескались, как-то обнажилась сущность отношений покойного графа и обманувшей его женщины. Например, в "первом поцелуе руки" получалось, что Блистательная показывает старому волоките кукиш, а он внимательно принимает.

И вскоре все забыли о доме, хоть и стоял он в центре города, рядом с торговыми рядами и пожарной каланчой.

В последнее время в особняке начали происходить странные вещи: по ночам слышались глухие удары, в окнах горел свет, и не от керосиновых ламп, не от свечей шел он, а будто луна светила из окон на улицу, - холодный, синий свет...

Агент "Муха" два дня ходил вокруг дома кругами, прислушивался, приглядывался. В полночь, когда луна зашла за пожарную каланчу, поднялся по ступенькам и заглянул в замочную скважину.

Он увидел освещенное голое помещение, шахтерскую клеть, вагонетки, транспарант на неизвестном языке. Сверху, со второго этажа, спустилась Маргарита Горохова с мужьями, все в шахтерских касках, брезентовых робах. Прибежал откуда-то Иохим Гурман, расстелил на столе чертеж.

Из подвала поднялся мистер Х с силачом Викулой. Мистер Х был озабочен, чем-то подавлен. Викула внимательно рассматривал булыжник.

Иохим Гурман стал что-то убежденно им объяснять. "Муха" прислушался. Слов разобрать было нельзя, он приставил к скважине ухо. Говорили не по-нашему, как-то горланно и коротко, будто друг другу отдавали военные команды.

"Муха" слушал встревоженно и внимательно и не уследил, как с той стороны вставили ему в ухо ключ и начали поворачивать. Должно быть, открывал силач Викула, потому что он легко крутанул агента вверх ногами и толкнул дверь так сильно, что припечатал агента к стене, как фреску.

"И все это за тридцать рублей плюс одежда!" - подумал "Муха", он же Тимохин, он же Пестряков.

Он провисел до утра, и только когда взошло солнце, отлепился и тихо сполз на ступеньки. Последние мысли у него были плоские: о новом зимнем пальто, которое теперь достанется свояку, о грыже, которую так и не успел вырезать...

\* \* \*

В последние дни ротмистр Ворошеев стал особенно лют, даже девицы в заведении мадам Буфф жаловались - кусаться начал. А все творческая неудовлетворенность - Кашеваров сбежал, Скворцов выскользнул из рук, "Чашки" - след простыл, Клюквин, судя по всему, что-то жуткое замышляет, потому что совсем пропал. И в кабинете Ерофеева все время какие-то странные разговоры происходят, вроде бы никто не входил к полковнику, а прислушаешься, там: бу-бу-бу, хлоп-хлоп-хлоп, гы-гы-гы... Не иначе, заговор! Как же он раньше не догадался! И фамилия у Ерофеева странная - Еро-фе-ев... Ев-ро-пе-ев... А может быть, Евреев?!!

Подкараулил ротмистр удобный момент и, когда в кабинете опять забубнили, резко распахнул дверь.

"Извините..." - только и успел сказать, изумленный. Что-то яркое, живое мелькнуло в руке у жандармского полковника, и... куда спрятать - некуда! - сунул Ерофеев это в рот и... проглотил. И забурчало что-то у него в животе жалобно, и смолкло, и вытянулось лицо в испуге, и в глазах мелькнуло что-то, словно птица какая улетела в глубь души.

### *Глава следующая (малюсенькая) "В ногах правды нет"*

Уже черт знает какие сутки надзиратель Гмырь преследовал таинственных людей. Изголодался, оброс шерстью, откликался на кличку "Шарик". Многого постиг, многое понял, но мог теперь только лаять и скулить.

"Чашка" за это время сильно сдал: разбойные, окаянные очи его погасли, глядел старичком тихим, благообразным. Встречные старухи просили: "Благослови, батюшка", - он осенял их крестным знамением, потом долго смотрел на свои персты, вздыхал, плевался.

Керимка за время пути повзрослел, стал задумываться. Однажды спросил "Чашку": "А почему люди делают другим плохо, ведь это же нехорошо?..."

Катилась телега, косил испуганным глазом, всхрапывал конь; брехала и выла по ночам невесть откуда взявшаяся собака Шарик.

### *Глава очередная "Ваше здоровье, господа!"*

По Губернской улице, пряча лица в поднятые воротники, шли, крадучись, друг за другом бомбист-террорист Клюквин, жандармский ротмистр Ворошеев и мистер Х.

Они вошли в трактир Хвостова и сели за стол под фикусом.

Народу в зале было немного. В углу, обнявшись, сидела парочка: бывший иеромонах Демидов и манекен из магазина дамского платья. Демидов жарко обнимал манекен и ревниво поглядывал вокруг.

Чуть поодаль, у окна, сидел обанкротившийся банкир Бурилло и, глядя на запотевшее от самовара стекло, сочинял стихотворение:

"Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь лежит..."

Стихотворение ему не нравилось, как ему казалось, мало в нем было проникновенности, глубины и строчек.

Ближе к двери сидел агент Митрофаныч и внимательно слушал исповедь молодого расхристанного человека. Сквозь слезы тот рассказывал: "Мои покойные родители: граф Лбов и кордебалет ростокинского театра очень меня любили..."

Хозяин трактира Хвостов, возвышаясь за стойкой, зорко поглядывал за половыми, заводил сломанный граммофон и, чтобы никто не догадался, что он сломанный, сам пел громко: "Степь да степь кругом, путь далек лежит..."

Оказавшись за одним столом, Ворошеев, мистер Х и Клюквин делали вид, что интересуются только выпивкой и закуской, поэтому пили все трое много.

Клюквин после каждой рюмки мрачнел и бил кулаком в стол, рюмки подсакивали, сидевшие подхватывали их и выпивали. Ворошеев прикладывал палец ко рту и говорил: "Тыс-с... государственная тайна!" А мистер Х подливал им,



а в себя опрокидывал механически и даже не морщился, и даже не кричал, что-то в его движениях было холодное, расчетливое.

Вскоре Ворошеев стал забалтываться и разглашать служебные секреты. "Камни, - бормотал он, - с-сволочи, разговаривают, как люди! И сажать их тогда к-как людей!" Клюквин, мрачный до черноты, сверкал яростными глазами, бил в стол, рюмки подпрыгивали.

Мистер Х жадно прислушивался к речи Ворошеева, правое ухо у него покраснело и вытянулось трубочкой.

- Аб... аб-наглели! Даже к-каменья р-разговаривать стали! Всякая с-скотина права голоса требует!

Мистер Х аж дрожал весь.

- Ну?! Ну?! - подначивал он Ворошеева и подливал в рюмки.

- В Сибири сгно-ю-ю! - завыл ротмистр, покачнулся и ухватился за плечо Клюквина.

Клюквин вне себя вскочил и выхватил револьвер. Сторож Демидов заслонил манекен грудью, хозяин трактира Хвостов спрятался за самовар, самовар потускнел и закапал из краника, половые бросились на пол, агент Митрофаныч вмиг выскочил за дверь и засвистел в свисток, несчастный сын кордебалета закричал: "Ма-ма!.."

- Пушкин!.. Лермонтов!.. Теперь вы хотите убить меня!.. - дерзко выкрикнул Бурилло.

Клюквин выстрелил в Ворошеева, но еще раньше, буквально секундой, тот упал со стула. Пуля взвизгнула от обиды и улетела в посудомойку, отрикошетила от чугунной сковороды, перелетела в швейцарскую, там обнаружила под кроватью осведомителя Щиплева и впилась ему в тело, продырявив сзади штаны.

Щиплев заголосил так, что попадала посуда, поднялись в воздух со столов скатерти, облетел фикус, починился сам собой граммофон и дико запел из большой трубы: "Имел бы я золотые горы да реки полные вина, все отдал бы за ласку взора, чтоб ты владела мной одна!.."

Мистер Х подхватил распластавшегося и уже похрапывающего под столом ротмистра и поволол к выходу. Навстречу им ломилась толпа городских...

На следующее утро тело ротмистра Ворошеева было обнаружено в городской бане. Голое, закутанное в чистую простыню, оно лежало на лавке и глядело в сырой потолок остановившимися стеклянными глазами. Заглядывая ему в глаза, каждый видел свое отражение, морщился, крестился и торопливо отходил.

В тот же день вспыхнула пожарная каланча. Как потом рассказывали очевидцы, пожар начался с кальсон брендмайора Орлова, развешанных на каланче для просушки, затем перекинулся на вымпел и охватил все здание. Кирпич, сделанный из местной глины, горел весело, словно того и дожидался.

Пожарные выводили перепуганных лошадей, выкатывали повозки, выносили обмундирование, а брендмайор Орлов смотрел на бушующий огонь, как Наполеон на пожар Москвы, и думал: "Плохая примета!.."

Этой же ночью крыса Гоша покинула город Н. Лишь учитель географии задул лампу и вытянулся под скупым холостяцким одеялом, она вышла из своей норы и по-английски, не прощаясь с тараканами, мышами и прочими, покинула дом.

Вслед за Гошей, сначала поодиночке и неохотно, а потом, под утро, шеренгами пошли и другие крысы. Сторож Демидов рассказывал, что их было так много, что казалось, будто мимо двигается сама булыжная мостовая.

### *Глава последняя "Пришла весна..."*

Однако странная весна выдалась в том году в Н-ской губернии. Снега вроде было много, а когда растаял, река Подколodная не вышла из своих берегов. Не было в том году ни белых медведей на льдинах, ни ящиков с иностранными надписями... И что самое печальное - источники! Н-чане даже и не заметили, как ушел, испарился из города их дух минеральный, не взбулькивали они больше, не пенились по краям кружевами, а превратились в простые лужи.

Поползли по городу слухи. А ползают они по своим

тропинкам. И вот уже в доме у о. Никодима за завтраком высказывалась его попадья более чем революционно: "Иноверцы виноваты, - говорила она убежденно, - опаскудили землю своим пришествием, вот и ушла святая вода!.."

А в доме его высокопревосходительства генерал-губернатора Гольца как-то больше улыбок и наглости появилось в глазах лакеев, дескать, наш-то допрыгался - ему, сукину коту, источники доверили, а он!..

Сам губернатор со свитой неоднократно приезжал осматривать лужи, а что там увидишь - грязь одна. Не знал он, на что подумать, и сообщил в Санкт-Петербург депешей, что рад и далее верой и правдой служить царю и отечеству.

А террорист Клюквин уже более не таился. Ходил по улицам открыто, сверкал глазами, щелкал зубами, говорил верным людям: "Пора..."

\* \* \*

Лошадь пала под Игаркой, телега под Усть-Кержачом, оглобли несли до реки Анадырь, там бросили.

Шарик в пути окончательно озверел и одичал, прибился к стае волков. В жуткой схватке, вспомнив все, чему его учили в полицейской молодости, перегрыз горло вожаку и занял его место в стае.

Стая еще долго преследовала "Чашку" и Керима. "Чашка" стрелял в них из револьвера, и только когда кончились патроны, волки отстали. "Теперь все равно пропадут!" - думал вожак Гмырь, он же Шарик.

Каменья нести было уже не под силу и их оставили в охотничьей зимовке. Лишь когда отошли версты три, вспомнили, что идти-то вперед без каменьев нет проку, но возвращаться не стали - пути не будет!

Они шли, шли и вышли наконец к морю. Длинные внушительные волны накатывали на берег.

Долго и мучительно вязали плот, а когда он был почти

готов и "Чашка" затягивал последний арестантский узел (это когда делается петля для шеи), подул внезапный ветер, да такой силы неведомой, что, где вода, где небо, где жизнь, а где уже смерть, - не разобрать!

Подхватило плотик волной и унесло вместе со старичком Чашниковым в тьму бушующую, кромешную, в память добрую.

А юноша Керим остался на берегу. Он метался, кричал. Порывался кинуться вслед, но волны отшвыривали его назад, словно хотели сказать: "А ты куда?! Не в свои дела не суйся!.."

## ЭПИЛОГ

Я стоял на смотровой площадке Эйфелевой башни, смотрел на парижские крыши, и мне вдруг начинало казаться, что там вдалеке, за крышами, если приглядеться, я увижу желтое пшеничное поле, зеркально мелькнет извилистая речка, а если приглядеться еще зорче - светлое завтра своей страны...

Карман пальто оттягивала неизвестная книга. Она будто оттягивала мне душу. Немец проявил бы упорство и все-таки расшифровал ее, американец - продал, итальянец, благоговей перед тайной, отнес в Ватикан, папуас Новой Гвинеи проделал бы в ней дырочку и носил на шее, радуясь красоте невозможной, а я вытащил ее из кармана и, облегчая душу, кинул вниз.

Но... что это?! Книга раскрылась, взмахнула крыльями обложки и полетела, полетела вдалеке. А я вместо облегчения в душе почувствовал пустоту, которую быстрее хотелось чем-то заполнить, но чем? Чем?!

**ПУТЕВОДИТЕЛЬ.**  
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  
**Храма Христа Спасителя**  
**В МОСКВЕ.**



Составил А. В.

Книга распространяется по подписке.  
Наши реквизиты Вы найдете на страницах  
альманаха "КОНЕЦ ВЕКА".

ЭДУАРД ЛИМОНОВ

# Когда поэты были молодыми

*Кругой замес хваток шпаны и привычек богемь, абсолютного индивидуализма и пиетета перед государственностью, лихой российской отчаянности (не бэ, прорвелся!..) и невероятной литературной работоспособности (опускаем почетный ряд рабочих профессий) - вот Эдуард Лимонов в первом приближении. Родился в городе Днепрпетровске в 1943 году в семье лейтенанта НКВД; вырос на харьковской окраине; в Москве стал поэтом, известным в нешироких, но знающих цену поэтическому слову кругах. В 1974 году, с "подачи" КГБ, уехал. Написанный в городе Нью-Йорке первый его роман "Это я - Эдичка" (1979) вызвал шок, в диапазоне от ненависти до восхищения, и - был переведен на семь языков. Лимонов - единственный русский писатель-эмигрант, живущий исключительно на литературные заработки. Право первой публикации рассказа "Когда поэты были молодыми" он любезно предоставил редакции "Конец века". Роман "Это я - Эдичка" откроет серию книжного приложения к нашему альманаху.*

В 1969 году поэт был ужасающе молод и снимал комнату на первом этаже трехэтажного дома на Открытом шоссе. На Открытое шоссе возможно было попасть, сев на Преображенской площади в старый трамвай. Проехав мимо нескольких госпиталей и пустырей, трамвай и прибывал на это самое шоссе. Что было дальше, куда исчезал трамвай после, в какие земли держал путь, поэт так и не выяснил, поскольку в то загадочное направление никогда не углубился. Сказать "не рискнул углубиться" было бы неверно, ибо не риск удерживал поэта, но полное отсутствие любопытства к топографии окраин. Выросший на окраине провинциального Харькова поэт навек нажил себе комплекс провинциала. Драмы его предполагаемой будущей жизни всегда разворачивались в его воображении в неудобных, но живописных старых домах и сырых вековых дворах центра города. Даже Преображенская площадь в понимании поэта была окраиной, Открытое шоссе было суперокраиной, а дальше трамвай шел уже в Сибирь.

В те времена поэта звали "Эд" и "Лимон". Жена поэта - Анна Моисеевна Рубинштейн - крупного калибра красивая женщина с внушительным задом, заслужившим ей лестное, по мнению поэта, но очень нелегальное прозвище "Царь-жопа", называла поэта - "Лимонов". Несмотря на молодость, упрямый и целенаправленный поэт вызывал, очевидно, у окружающих определенное уважение, потому они и называли его по фамилии. Основным занятием поэта в те времена было образовывать внутри себя стихотворные ситуации, доводить эти ситуации до созревания, дожидаться момента, когда каждое стихотворное нагноение само лопнет, как прыщ, и тогда быстро размазать выплеснувшееся по бумаге. Еще возможно сравнить деятельность поэта тех времен с активностью радиста, засланного в тыл врага. (Приемник вживлен в самое тело радиста, и он разгуливает по миру трепещущий, бодрствующий и всегда готовый к принятию сообщения оттуда).

Сообщения прибывали часто, но нерегулярно. Между сообщениями поэт пил вино, беседовал и ругался с друзьями. Посещал квартиры поэтов и мастерские художников. Читал книги и рукописи. Напивался до бессознания, чаще всего с поэтом Владимиром Алейниковым и его женой тех лет Наташей Кутузовой. С художником Игорем Ворошиловым. С другом своим Андриюшкой Лозиным. С еще сотнями персонажей - представителями роскошной и необычайно многообразной в те времена московской фауны. В задумчивости лицезрел из окна комнаты на Открытом шоссе находившиеся как раз напротив, за оградой госпиталя, двери морга. Естественно, двери морга и плачущие родственники у дверей заставляли поэта думать о вечности, смерти и других нехороших, но неизбежных вещах. Забегая вперед, следует сказать, что поэт не однажды волею судеб поселялся вблизи моргов столицы нашей родины. В следующий раз, через каких-нибудь пару лет, судьба поселит его на Погодинской улице и опять подсунет ему под очи ясные злополучные двери, ведущие в холодное подземелье.

Поэт только что написал поэму "Три длинные песни" и был очень грустен. Довольно часто опустошившийся вдруг поэт (набирающий силы для нового нарыва), любой поэт, не только наш, чувствует себя грустно после записи большого сообщения оттуда. Грусть поэта усугублялась еще и тем, что подруга его Анна находилась в то лето в Харькове. Старый раввин Зигмунд Фрейд констатировал бы цинично, что юношу мучала половая неудовлетворенность, что желание женщины было причиной грусти и меланхолии поэта. Но шуточки старого раввина все более выходят из моды и внушают все меньше доверия; ограничимся тем, что только упомянем и о подобном объяснении грусти поэта как об одном из возможных.

21 августа поэт почувствовал, что очень заболел. Проснувшись в грубо мебелированной комнате, принадлежащей хромому человеку по имени Борис, даже сквозь крутое похмелье поэт смог понять, что опухшие вот уже пару недель по неизвестной причине десны его опухли еще больше. Опухли до такой степени, что, когда поэт



встал и, прислушавшись, убедившись, что ни единого члена передовой советской семьи Ивановых нет дома, вышел на общую кухню голый и попытался выпить стакан воды, оказалось, что ему больно глотать воду. Опухоль, очевидно, распространилась глубже в горло. Поэт выплюнул воду. Кухонная раковина на мгновение наполнилась бурой жидкостью - как гнилое болотце, зараженное неизвестной плесенью. "Е... твою мать!" - воскликнул поэт вслух. Только ругательство могло выразить степень его озабоченности. Ему давно уже было больно есть, но в первый раз он почувствовал, что ему больно пить. Пройдя в ванную, где вечно шипело обрывком синей ленточки газовое пламя под горелкой, напоминающей не то эмалированный сверлильный станок, а скорее всего машину для автоматического разрезания трупов, поэт поглядел в зеркало. Зеркало, заляпанное детьми Ивановых (мама Нина и папа Дима были исключительно аккуратны), отразило опухшую физиономию, подобные лики возможно во множестве встретить у пивных ларьков. Типичный представитель московской фауны, поэт еще не отдалился от народа настолько, чтобы не исповедывать народных предрассудков и не впадать в народные крайности. Разомкнув губы и четырьмя пальцами обеих рук раздвинув их широко, как мог, поэт поглядел на свои десны.

Бледно-розовые обычно, нынче они выглядели желто-зелеными. Мягкими складками десны опустились далеко на зубы, да так, что передние два зуба верхней челюсти выглядывали в мир только несколькими миллиметрами. "Е... твою мать! - еще раз выругался поэт. - Кошмар!" Как все не болеющие или недостаточно болеющие люди, заболев, поэт не знал, как себя следует вести. За две недели до этого, когда опухшие десны впервые привлекли его внимание, он решил отнестись к проблеме метафизически: забыть о ней. Такой метод отношения к болезни назывался "Метод имени великого русского художника Недбайло". Присутствуя однажды при том, как Великий Русский художник-сюрреалист неловко вывалил на руку кипящую бурую жидкость, называемую "кофе", и не принял тотчас никаких мер, какие следует предпринять при ожоге, как то: не намазал ру-

ку постным маслом, не приложил к ожогу разрезанную свежую картофелину, даже не подставил руку под струю холодной воды, не пописал на руку, - поэт был поражен, даже остолбенел от неожиданности. "Коль, - заметил поэт, - пропадет рука на х... Сделай что-нибудь!"

"Не х... ей не будет до самой смерти", - заверил сюрреалист приятеля. Силою воли я заставлю себя забыть об ожоге. Как йог. Даже волдыря не будет". Поэт недоверчиво хмыкнул тогда, в знак недоверия покачал головой и поглядел вопросительно на подругу Великого Русского, здоровенную рыжую девку по кличке Бабашкин. Бабашкин - была фамилия известного советского футболиста. Сюрреалист привез подругу из Сибири. Бабашкин поднесла указательный палец к виску и покрутила пальцем. Движение сие символизировало ее отношение ко многим сумасбродным идеям и поступкам Великого Русского. Она считала своего Кольку гениальным, но чокнутым человеком. Однако когда через неделю поэт опять посетил мастерскую Колькиной матери на Масловке, у стадиона "Динамо" (Колькина мать была заслуженная советская художница, рисовала цветы, а не кишки и мутировавшие тела, как ее сын - сюрреалист Колька, насильственно оккупировавший ее мастерскую), и увидел Колькину руку, то обнаружил, что лишь чуть более темное, чем кожа, пятно указывает место, где нормальным образом должна была бы обнаружиться рана, густо покрытая противоожоговым кремом и бинтом.

Первоначально поэт попытался применить к своим деснам именно Колькин метод. С опухшими деснами, повторяя про себя, что ему не больно, он проводил Анну в Харьков. На Курский вокзал, откуда поезд за ночь домчит ее до Харькова, к маме Циле Яковлевне и осколку прошлого века бабушке Бревдо. Анна решила отдохнуть от безумной и полуголодной жизни, которую они вели в Москве вот уже два года. "Пойди к врачу, Эд, - сказала Анна, садясь в поезд. - Не будь идиотом. У тебя инфекция, заражение десен. С этим не шутят. Пойди!"

К доктору поэт не пошел. Он жил в Москве без прописки, следовательно, не мог воспользоваться услугами

бесплатного медицинского обслуживания по месту жительства, как все нормальные обитатели Москвы, ее шесть миллионов законных сынов. Он был одним из... может быть, миллиона незаконных сынов. Правда, он мог посетить частного врача, но визит стоил бы ему денег, которых у поэта не было. Он и так надрывался, доставая необходимые ежемесячно тридцать рублей для отдачи их хромому Борису. Еда и алкоголь были куда более мелкими проблемами, чем квартирная плата. Справедливости ради следует сказать, что около этого времени родители поэта, не одобрявшие его профессии и образа жизни, стали высылать ему 25 рублей в месяц. Родительское жертвоприношение всегда оказывалось кстати, и, получая его на Главпочтамте "до востребования", поэт всегда был счастлив. Впоследствии неблагодарный забудет об этом скромном, но постоянном участии родителей в его поэтической судьбе и будет утверждать, что это против их воли он стал поэтом и писателем.

Увы, вместе с позитивными вкладами в его судьбу: уже упомянутые 25 рублей и унаследованное от отца умение работать руками - строгать, пилить, обращаться с металлами (умение, вылившееся в своеобразную форму - поэт сделался подпольным портным благодаря навыкам, унаследованным от отца, а не от матери... поэту передались и кое-какие предрассудки его родителей. Нелюбовь и недоверие к докторам было одним из предрассудков. "Шарлатаны! - утверждал отец. - В особенности прописывающие лекарства. Никогда не пей мерзкие таблетки, сын. Только в крайнем случае. Сукины дети, сегодня вдруг открывают, что таблетки, которыми человечество пользовалось четверть века, были ошибочно рецептированы". Исключение отец делал только для хирургов. Фаворитизм по отношению к хирургам объяснялся просто: отец отца поэта, дед Иван Иванович, учился в школе вместе со знаменитым впоследствии советским хирургом Бурденко.

Но вернемся к деснам поэта. С опухшими деснами, ежесекундно потрагивая их кончиком языка, он в три ночи, отстоящие друг от друга, - 14, 17 и 19 августа - написал поэму "Три длинные песни". После написания поэмы он на-

правил все освободившееся внимание на себя и констатировал, что метод Великого Русского художника оказался неприменим к его деснам. Жевание макарон с парой кружков колбасы, обычная пища поэта, сделалось еще более болезненным и мучительным процессом. По совету случайных собутыльников в пивной поэт стал много раз в день полоскать рот раствором марганцовки. Пейзаж рта поэта после каждого полоскания можно было сравнить разве что со свежим разрезом сквозь сложную вязь коровьих кишок, когда синие жилы тесно сплетены с пылающими срезами мышц. "Слабо Великому Недбайле-сюрреалисту изобразить такое", - вздохнул поэт, разглядывая свой рот после марганцового полоскания.

Десны поэта продолжали увеличиваться в размерах и выглядели все более злоеце. Грязная бурая кровь постоянно сочилась из них, и каждый плевок поэта был зеленовато-алым. "Сдохну еще на х....." - опасливо подумал поэт и обратился за советом к друзьям. Поэт Алейников предложил добавить к марганцовке несколько столовых ложек соли. "Соль, Эдька, старое чумацкое средство. Пусть выщипет всю заразу... И энергичное полоскание..." - энергичный Володька издал булькающий звук. Он был постоянно энергичен в те годы. Его энергия подкреплялась свежими порциями алкоголя, принятыми в течение дня.

Ворошилов приказал Лимонычу открыть рот. Они сидели у Алейникова на кухне. Дело происходило в далеко отстоящем от Открытого шоссе районе города, неподалеку от проспекта Мира, в двухстах метрах от знаменитой мухинской скульптуры "Рабочий и колхозница", в просторечии называемой "Чучела".

"У тебя, Лимоныч, цинга, - уверенно резюмировал осмотр Ворошилов. - По латыни называется с к о р б у т. Следствие недостатка витаминов. Ты фрукты жрешь? Лук нужно жрать, Лимоныч. И чеснок. Витамин "С" купи. Капусту еще кислую хорошо жрать".

Поэт не поверил, что у него цинга. Такая жуткая средневековая болезнь ассоциировалась у него с арктическими ледяными просторами и никак не вписывалась в атмосферу красивой и пышно-зеленой столицы нашей родины в

августе. "Какая на х... цинга, Игорь. Заражение наверняка, вирус..."

"Доставлял Лимонов даме запретные удовольствия, - съязвила присутствовавшая поэтесса Алена Басилова. - Как ее зовут?"

Поэт застеснялся. Несмотря на только что написанную эротическую поэму, он был, в общем, не очень еще испорченным юношей.

Наташа Алейникова дала ему гранат, и поэт, кривясь от боли, съел его весь. Едкий сок впивался в раны, и десны болезненно чесались. Их хотелось разодрать ногтями... Володькины родители жили в Кривом Роге, каковой город находился еще на полтыщи километров южнее Харькова. У родителей Володьки были сад и огород. Именно в августе Володька, Наташа, Ворошилов, наш поэт и еще кто-нибудь из многочисленных друзей Володьки ездили на Курский вокзал встречать криворожскую посылку. Родители Алейникова передавали с проводником пять-десять ящичков разнообразных плодов криворожской южной земли. Плоды прибывали в различных видах: в виде варений, маринадов, свежие фрукты, сало, украинская, в жиру, колбаса, кабачковая домашняя икра в больших стеклянных банках. Банки ценились дороже самой икры, их следовало сберегать после съедания содержимого и отправлять в Кривой Рог с проводником. Гранат не был криворожским плодом, но от Кривого Рога до Кавказа, чьим плодом был гранат, было рукой подать. Гранат в Кривом Роге стоил в десять раз дешевле, чем на московском Центральном рынке.

На следующий день поэт последовал советам сразу всех друзей. Он добавил соли в марганцовку, и "верное чумацкое средство" заставило его стонать и плакать от боли. Но, желая положить конец медленному гниению своего тела, поэт вытерпел огонь во рту. Он отправился в овощной магазин, где купил луку, чеснока и кислой капусты, и в аптеку, где приобрел полоскание для рта и витамин "С" в таблетках. Возвратившись из похода, он занялся полосканием рта двумя жидкостями, аптечной и чумацкой марганцовкой, и поеданием лука, чеснока и кислой капусты. Он очень устал от этих активностей к концу дня.



SHEIN

Верные средства не подействовали. 21 августа наступило резкое ухудшение. Очевидно, было уже поздно применять народные средства и витамины. Может быть, нужен был хирург. Может быть, он умрет? Кошмар! Поэт закрыл рот, чтобы не видеть кошмара. "Может быть, у меня сифилис? - подумал поэт. - Сифилис рта? Но где я мог его подцепить?" Единственная случайная связь, которую он позволил себе в отсутствие подруги Анны, не включала в себя обсасывание полового органа партнерши, но ограничивалась традиционным и даже несколько старомодным совокуплением. Существует ли сифилис рта, и, если да, каким путем он передается? Цинга? Поэт открыл рот. Бурая кровь постоянно присутствовала во рту, сочась из десен. Может быть, они наконец набухли, как прыщи, и теперь их можно выдавить, опустошить, залить одеколоном, и назавтра они подсохнут и заживут? Поэт взял чистое полотенце, осторожно наложил его на десны и надавил. Боль перекосила лицо, из глаз выкатились слезы, лоб и щеки и даже затылок взмокли от вязкого пота. Он отнял полотенце от десен и разглядел его. Кровавые отпечатки десен. Он заглянул в зеркало и увидел, что рисунок ткани полотенца отпечатался на деснах, как в меру жидкая грязь сохраняет на себе следы прошедшего человека. Перед глазами, наплывая одно на другое, появились мутно-белые, как табачный дым, кольца. Поэт закачался и стукнулся коленом о край ванной. Именно в этот момент он понял, что у него, должно быть, высокая температура. На кухне, в одном из ящичков буфета соседней, должны, как обычно, находиться бинты, вата, йод, не нужные ему таблетки всех мастей и термометр. По странной иронии судьбы соседка Нина, чистенькая бл. . . тая женщина, похожая на не известную поэту известную советскую актрису (так утверждала Анна, сам поэт редко посещал кинотеатры), была медсестрой. Увы, поэт не мог обратиться к соседке за помощью, в описываемый период ссора временно разделила соседней. Поссорились женщины - Нина и Анна. Ни поэт, ни вполне благожелательный и красивый, как и Нина, преждевременно седой инженер Дима ссориться не умели.

Поэт нашел в ящике буфета соседей термометр и на десять минут лег в постель, ожидая приговора ртутного столбика. За десять минут он решил, что именно он станет делать, если температура окажется выше 38 градусов. Он примет горячую ванну и пройдет пятнадцать километров быстрым шагом. Игорь Ворошилов, выросший в маленьком уральском городе Алапаевске, обычно применял этот радикальный народный метод против сильной простуды. Но, может быть, он подействует и против цинги, или какая там зараза свила гнездо у него во рту.

"Ни х... себе! - воскликнул страдалец, поглядев на термометр. - 39,2! Почему же я не почувствовал такой высокой температуры сразу при пробуждении?.. Потому что ты занят своим ртом, который болит у тебя открытой раной постоянно и поглощает все твое внимание, - ответил он себе. - Вчера ты заснул только после того, как выпил полбутылки водки". Поэт встал. И побрел в ванную. Открыл краны...

Он допил оставшиеся в бутылке водки двести граммов и, чувствуя, что сейчас потеряет сознание, вошел во вздымающиеся над горячей ванной пары, содрогаюсь, опустился в кипяток, при этом вспомнив какого-то римского императора, кажется, Тиберия, лечившегося от покрывающих его тело язв серными ваннами. "Может быть, и мне следовало бы полоскать мои язвы серной водой? Но где ее взять..." Он полежал в горячем ужасе, сам удивительно холодный до момента, когда ему стало казаться, что сейчас он потеряет сознание. Выступив одной ногой из ванны, он не смог поднять вторую ногу достаточно высоко и упал. Белые кольца дыма превратились в непроницаемые дымовые круги. Взаимно зацепляясь, круги стаяй летающих тарелок порхали на месте бледно-зеленой стены.

Он все же встал и - о, железный поэт! - взялся за осуществление следующего этапа варварски-скифского курса лечения. Он надел шерстяной свитер на голую грудь. Затем рубашку. И еще голубую рубашку. Он надел самые толстые темно-синие брюки, тяжелые башмаки для осени, габардиновый черный пиджак, оставшийся у поэта от тех благополучных времен, когда он работал в Харькове ста-



леваром. Он повязал вокруг горла шарф и вышел в пылающую печь московского августа. Жители Открытого шоссе, в большинстве своем одетые в рубашки с коротким рукавом и платья вовсе без рукавов, с любопытством поглядели на невероятно бледное существо в черном пиджаке, неверной походкой устремившееся вдоль трамвайных рельсов, ведущих к Преображенской площади. "Больной, наверное, паренек, - сочувственно сказала одна старуха другой. - Нынче все раком больны. Даже молодежь".

Отец-офицер сообщил как-то поэту, что солдат на ученье при полной боевой выкладке шагает со скоростью шесть километров в час. Следовательно, два с половиной часа соответствуют ворошиловским алапаевским километрам. За пятнадцать минут дошагав до Преображенской площади, поэт последовательно промочил больным потом свитер и первую из рубашек. Вступив во взаимодействие с давно не стиранным свитером, пот образовал вокруг поэта кисловатый неприятный запах. Поэт как бы шел в тухлом облачке. Но так как он был поэтом современным, *поэтом-моди*, кисловатый запах его не смутил и даже обрадовал своей подлинностью. Следует сказать, что наш поэт не был автором, обожающим старомодные мимозы-розы, он с удовольствием упоминал в своих стихах пролетарский тройной одеколон, экскременты, пыль и грязь. Красивостям поэт предпочитал подлинности.

На Преображенской площади выли по-звериному сирены автомобилей и троллейбусов, и по всей линии рельсов, ведущих от Преображенки в Измайлово, стояли на странной перспективе средневековых художников до Джотто одинаковые, не уменьшаясь с дистанцией, двухвагонные трамваи. И звенели. У переднего из трамваев лежало человеческое существо и вопило. Женщина. Одна нога женщины была похожа на вспоротый ножом рыбий трупик, развалившийся на две половины, странно белый и почти бескровный. Поэт тяжело глядел несколько минут на чью-то жизнь, бьющуюся в муках у его ног, и не испытал даже малейшего приступа жалости и гуманизма. Лишь желание

впитать в себя происходящее, чтобы позднее использовать в одном из стихотворных произведений.

Уходя от криков, он двигался как бы в вате. Воздух встречал его лоб и тело сопротивлением, не чувствуемым здоровым человеком.

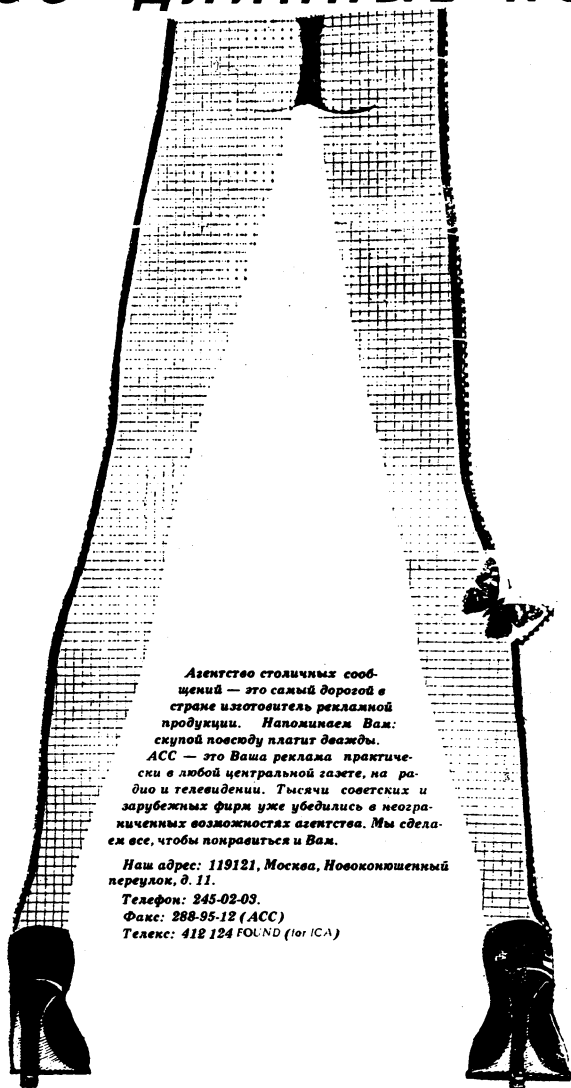
Целью своего путешествия он выбрал квартиру своего друга Андриюшки Лозина. Туда, за проспект Мира, за единственный в своем роде памятник архитектуры - акведук времен царицы Екатерины, вздымающийся над гнилой речушкой Яузой, можно было добраться за полтора часа. Однако, решив строго придерживаться ворошиловского рецепта и именно пятнадцати километров, поэт нуждался еще в часе ходьбы. Потому с Преображенки поэт на полчаса углубился в город и, сверившись с часами, еще полчаса шел обратно на Преображенку. И только после этого поэт свернул, вместе с несколькими грязными грузовиками, в зеленые окраины. Мимо частных жалких огородов, мимо небольших живописных старых заводов вышел он на финишную прямую. Цивилизация посетила эту часть Москвы давно, пробыла здесь недолго, и потому жалкие заводишки исчезли в рощах и садах, обитатели невысоких зданий развели под окнами огородики, пристроили курятники. По деревьям двигался он, помня о скорости и напрягая все свои силы. Промокла еще одна рубашка, и стал намокать пиджак. Десны постепенно исчезли из сознания, так как боль во всем теле и забота о том, чтобы тело двигалось, заняли все сознание мокрого пешехода.

В гастрономе рядом с домом Андриюшки он купил бутылку водки. Протягивая ему бутылку, продавщица сказала: "Ты видел себя сегодня в зеркале, паренек?" Паренек кивнул.

Дверь открыл Ворошилов. Похожий на рыбу камбалу, поставленную на хвост, Игорь сменил поэта на почетной должности ближайшего приятеля и квартиранта Андриюшки. "Лимоныч, бля, ты, как смерть! Андриюха, посмотри, на кого он похож! Ни кровиночки в лице!"

Бородатый Андрей с кистью в руке вышел в прихожую: "Что с тобой, Лимоныч! На х... ты в таком состоянии разгуливаешь по улицам... Хочешь коньки откинуть?"

# У АСС—ДЛИННЫЕ НОГИ.



*Агентство столичных сообщений — это самый дорогой в стране изготовитель рекламной продукции. Напоминаем Вам: скупой повсюду платит дважды. АСС — это Ваша реклама практически в любой центральной газете, на радио и телевидении. Тысячи советских и зарубежных фирм уже убедились в неограниченных возможностях агентства. Мы сделаем все, чтобы понравиться и Вам.*

*Наш адрес: 119121, Москва, Новокопешенный переулок, д. 11.*

*Телефон: 245-02-03.*

*Факс: 288-95-12 (АСС)*

*Телекс: 412 124 FOUND (for ICA)*

## МИМО ТАКИХ НОГ ВАМ НЕ ПРОЙТИ!

"У него цинга", - сказал Ворошилов.

"Открой рот", - попросил Андрюшка.

"Я три часа к вам шел, через всю Москву", - объяснил поэт. И открыл рот.

Фельдшер Лозин подтвердил, что Ворошилов прав, у поэта во рту цинга. И что сегодня уже поздно, но завтра он поведет поэта к знакомому доктору. У фельдшера Андрюхи было множество знакомых докторов, потому что мама фельдшера была доктор и в настоящее время находилась в Бухаресте на должности доктора советского посольства. До этого мама работала доктором в советском посольстве в Пекине. Андрюха, которого мама еще в нежном возрасте запихала в фельдшерскую школу, медицину не любил, он хотел быть художником. В описываемое время он несколько ночей в неделю ходил на малолюдный заводик недалеко от дома и спал там, безуспешно ожидая, что когонибудь из рабочих окатит горячим маслом или раздробит палец машиной. Увечья случались редко, и сэкономленный от увечий спирт Андрюха приносил домой. Его с удовольствием поглощал сам Андрюха и его друзья и квартиранты.

"Нужно очень стараться, чтобы заболеть цингой в Москве, да еще летом, - констатировал Андрюха совсем невеселым тоном. - Боюсь, что придется тебя госпитализировать. Слишком далеко зашла болезнь. Почему ты не позвонил мне, Эд?"

"Я надеялся, что пройдет, - сказал поэт. - Думал, х . . . я, ничего страшного..."

"Бля, нельзя быть таким мракобесом, - молодая борода Андрюшки выглядела сердито, фельдшеру было всего двадцать лет. - В один прекрасный день, Эд, ты как-нибудь протянешь ноги..."

Поэт пожал плечами. Он был на несколько лет старше Андрюшки, и возможность протянуть ноги, теоретически понятная ему, практически не волновала его воображение. Пренебрежение же здоровьем было распространено среди подвально-нелегальной, неофициальной фауны Москвы тех баснословных лет. Через пару лет их общий друг Виталий Стесин (он и познакомил поэта с Андрюшкой) ско-

вырнул прыщ и лежал себе один на Луковом переулке с заражением крови и температурой 41 градус, не подозревая о том, что у него заражение крови. Случайно зашедший к нему общий приятель доктор Чиковани обнаружил умирающего дурака и, вызвав "скорую помощь", отправил художника в больницу. И тем спас ему жизнь...

Бутылку водки он объявил личной бутылкой. И выпил ее всю сам, немилосердно обжигая бедный свой рот. Ворошилов и фельдшер выпили, разбавив водой, бутылочку спирта. Пришел поэт Алейников и еще один тип - Володька Воронцов, и вся компания решила отправиться на Всесоюзную Сельскохозяйственную Выставку пить пиво. Большая, на сотни посетителей рассчитанная пивная на открытом воздухе (голубая, деревянный шатер-помост, похожая на эшафот) привлекала молодежь открытым воздухом и еще тем, что грубо нарезанные куски костистой воблы очень часто бывали в наличии. "Ты, Эд, оставайся. Попспи..." - Андрюшка с жалостью оглядел поэта, провалившегося в кухонный стул.

- "Не, я с вами", - поэт встал, покачиваясь. Длинные и не очень чистые волосы поэта были распарены и мокры, свитер, рубашки и потный пиджак липли друг к другу, и глупейший шарфик сбился, прилипнув к горлу. Растрепанный, больной поэт напоминал, может быть, другого поэта, но французского - месье Исидора Дюкаса в ночь загадочной смерти его. Ребята взяли пару бутылочек спирта, Ворошилов и Алейников подхватили поэта под руки, и вся компания вывалилась в знойный тропический день.

Возле скульптуры "Чучелов" они сошли с трамвая. По необъятным асфальтовым полям, накаленным и размягченным за лето, они дошли до входа в "мечту пьяного кондитера", в советский Диснейленд, на территорию Сельскохозяйственной Выставки. Каждая советская республика имеет там свою пагоду, и республики вот уже десятилетиями соревнуются в изобретательности и оригинальности во внешнем и внутреннем убранстве пагод. Помимо пятнадцати республиканских пагод, храмы животноводства, зерновых культур, храмы культур фруктовых и огородных возвышаются на территории. Подобно ацтекам, приходят

советские граждане на ВДНХ поклоняться пшеничному колосу и кукурузному початку. Статуи быков, оленей и лошадей украшают территорию. Но красивее и милее всех сооружений для маленького отряда, продвигающегося между пагод и тенистых больших деревьев ВДНХ, был шатер, пивной голубой храм.

Они провели на территории советского Диснейленда несколько часов до самого закрытия. Они выстояли вначале в длинной и широкой муравьиной очереди вместе с сотнями таких же, как и они, энтузиастов и приобрели каждый по восемь (!) кружек пива и по паре порций костистой воблы на вэдээнховских тарелках. Затем они с боем добыли себе места у края эшафота. Таким образом, они могли спрыгивать с эшафота, когда было желание, и в несколько прыжков достигать ближайших колючих зарослей. Юноши наши предпочитали удовольствие писать на открытом вольном сельскохозяйственном воздухе неудовольствию писания в пивном туалете. Поэт Алейников утверждал, что туалет воняет гнилыми креветками.

Поэт настоял на том, чтобы и ему налили спирта в кружку с пивом. Он вознамерился или умереть, или выгнать из себя болезнь. Посему он жевал обильно костистую вяленую рыбу, анестезированный алкоголем, не чувствуя боли, но зная, что крупные и мелкие кости вонзаются в его истстрадавшийся рот.

Приятели смотрели на него без чувства сострадания, ибо этой молодежи чувство сострадания было неведомо. Самому старшему, Ворошилову, было 28 лет, Алейникову - 23, Воронцову и Андрюшке по двадцать. В таком возрасте юноши жестоки, они преспокойно умирают, если хотят. Дорожить жизнью люди начинают в среднем возрасте, ибо, чтобы дорожить ею, нужно к ней привыкнуть. Компания шумно дискутировала достоинства спонтанной, пост-экспрессионистской живописи Володьки Яковлева. Они примирились на том, что, хотя эта школа, или направление, или манера, в какой работает Яковлев, не относится к самому авангардному (идиот в Москве знал, что авангарден поп-арт и гиперрсализм), Володька Яковлев, бесспорно, гений. "У Володьки расстояние от сердца до холста вот такое", - Во-

рошилов поставил кружку и изобразил, какое небольшое расстояние отделяет Володькино сердце от стола, заваленного отходами пиршества - клочками рыбьей шкуры, папиросными окурками, кусками мятой газеты. Две сизые ладони Ворошилова и расстояние между ними, просвет, в котором помещались пивная кружка и кусок ворошиловской рубахи неопределенного цвета, и были последним микропейзажем, увиденным поэтом, прежде чем уйти в бессознание. Очнулся он от вибраций. Тело его вздрагивало от непонятого происхождения тупых толчков. Открыв глаза, он различил несколько ног, пара босых и пара - обу-тых. Босые ступни были большие и уродливые. Ворошиловские, догадался он. У Андрюшки руки и ноги были некрупные. До него дошло, что он лежит на полу. Голос Андрюшки спросил участливо: "Ты жив, Лимонов?" - "Жив". - "А как твой рот?"

Он с ужасом вспомнил, что у него есть язвенный и кровоточащий рот, и судорожно обвел языком внутренности рта. Ничего не почувствовал. Ошеломленный, он молчал. Опять провел языком во рту, нажимая уже сильнее. Ничего. "Ни х... не чувствую", - выдавил он испуганно.

"Ты вчера на х... отключился. Как мертвенький", - произнес ворошиловский голос, и одна уродливая ступня потерлась о другую.

"Он, конечно, ни х... не помнит", - сказал Андрюшка.

"Я жрать хочу", - сказал поэт. Неожиданно для самого себя.

"Давай, я сварю тебе манную кашу. Кашу легко глотать и жевать не нужно", - Андрюшка был сторонник каш и молочных продуктов.

"Лимоныч вчера воблу жрал", - сказал Ворошилов.

"То вчера. Вчера он и салат из колючей проволоки мог сожрать".

"Кашу хорошо, - согласился поэт. - С маслом". И, поднявшись, он пошел в туалет. В зеркало он, однако, побоялся взглянуть и, отлив, вернулся в угол, где он, оказывается, лежал на Андрюшкином матрасике. Андрюшка не любил спать на постели и предпочитал коротенький матрасик, ко-

торый он по желанию перемещал из комнаты в комнату, и спал иногда даже в кухне. Рядом с матрасиком стояли за-грунтованные холсты. Черный пиджак поэта валялся на гряде тюбиков с краской. В отсутствие матери Андрюшка превратил большую комнату в ателье. Поэт хотел было поднять пиджак и повесить на спинку стула или на Андрюшкин мольберт, но обнаружил, что поход в туалет отнял у него все силы. Посему он повалился на матрасик и мгновенно уснул.

Андрюшка разбудил его, поставив ему под нос тарелку с кашей. "Как собаке", - сказал поэт. Он с большим аппетитом, однако, съел две тарелки и, согрев желудок, опять уснул. Никакой боли во время поглощения каши он не почувствовал.

Проснулся он еще через сутки. Было раннее утро. Андрюшки не было, в соседней комнате на кровати Андрюшкиной мамы, выставив из-под простыни длинный средневековый нос, храпел Ворошилов. Вокруг кровати на полу лежало с десятков раскрытых книг. Ворошилов имел странную манеру читать сразу несколько книг. На босых и очень грязных ступнях Игоря, проникнув из-за отдуваемой ветром занавески, прыгало солнце.

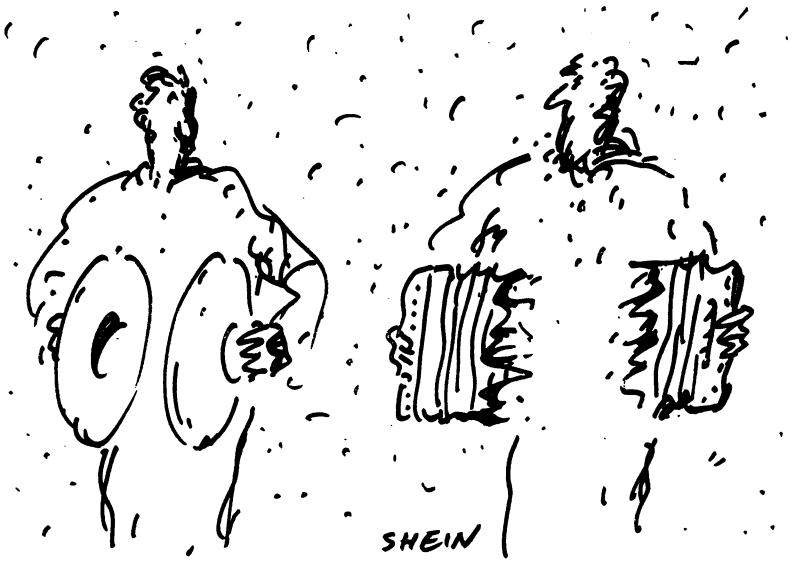
Поэт отправился в ванную и, встав перед зеркалом, раскрыл рот. Он не побоялся сделать это, так как, что бы он ни увидел в своем рту, боль исчезла. Он уже подавил на десны через щеки, проснувшись, и ему не было больно. Пальцами он растянул углы рта...

Идиллическая картина открылась ему в зеркале. Зловеще желто-зеленые еще 21 августа, утром 23-го десны его стали розовато-белыми. Появились зубы! Маленькими скалистыми пиками они выступали из десен. Воспаленные ранее поверхности осели, и даже маленький язычок в глубине гортани был красно-веселым и спокойным. Самая крупная опухоль, спереди, оставлявшая 21-го от двух передних зубов лишь пару миллиметров, не успела, разумеется, исчезнуть совсем, но подтянулась вверх. Поэт с удовольствием закрыл рот, принял душ, надел, с неудовольствием, но с чувством осмысленной необходимости, одну рубашку, свалил потные тряпки и испачканный краской пиджак в



Андрюшкину аэрофлотовскую сумку и, не разбудив Ворошилова, пускавшего заливистые носовые трели, вышел в оказавшееся удивительно свежим утро. Может быть, пришла осень.

Еще через три дня опухоли во рту совершенно исчезли, и глупая болезнь, должно быть, по ошибке попавшая в Москву, удалилась в родные арктические просторы и накинута на обычных жертв, оленеводов, вероятно.



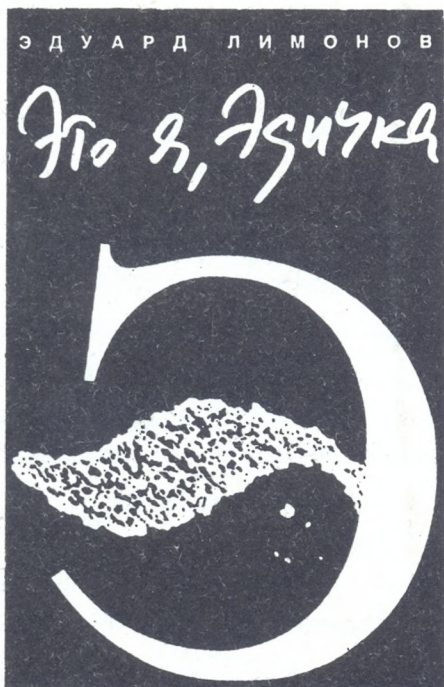
## СОДЕРЖАНИЕ

От редакции.....	3
Василий АКСЕНОВ. В поисках грустного беби .....	5
Анатолий ГОРЮШКИН. "Нам страшно жить..." .....	113
Александр РОСЛЯКОВ. Сучьи петли.....	115
Иван КРЫЛОВ. Алкид .....	155
Смута новейшего времени или Удивительные похождения Вани Чмотанова .....	157
Олег ПАСКЕВИЧ. Во многом знании многие печали .....	205
"Я не люблю, когда меня пытаются..." .....	225
Виктор КОКЛЮШКИН. Блеск. Маленький роман .....	249
Эдуард ЛИМОНОВ. Когда поэты были молодыми .....	301

Подписано в печать 09.01.91. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 10 п. л. Усл. печ. л. 16,8. Тираж 50 000 экз. Зак. 72. Цена 7 руб.

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства ЦК Компартии Белоруссии. 220041. г. Минск, Ленинский пр-т, 79.





Редакция литературного альманаха "КОНЕЦ ВЕКА" заключила договор с писателем Эдуардом ЛИМОНОВЫМ на публикацию романа "Это я - Эдичка", нашумевшем во всем читающем мире! Знакомя с талантливым произведением, предупреждаем: детям до 18-лет читать роман не рекомендуется! Взрослые, будем соблюдать правила цивилизованного общества!

Книга распространяется по подписке. Наши реквизиты Вы найдете на страницах альманаха "КОНЕЦ ВЕКА"!